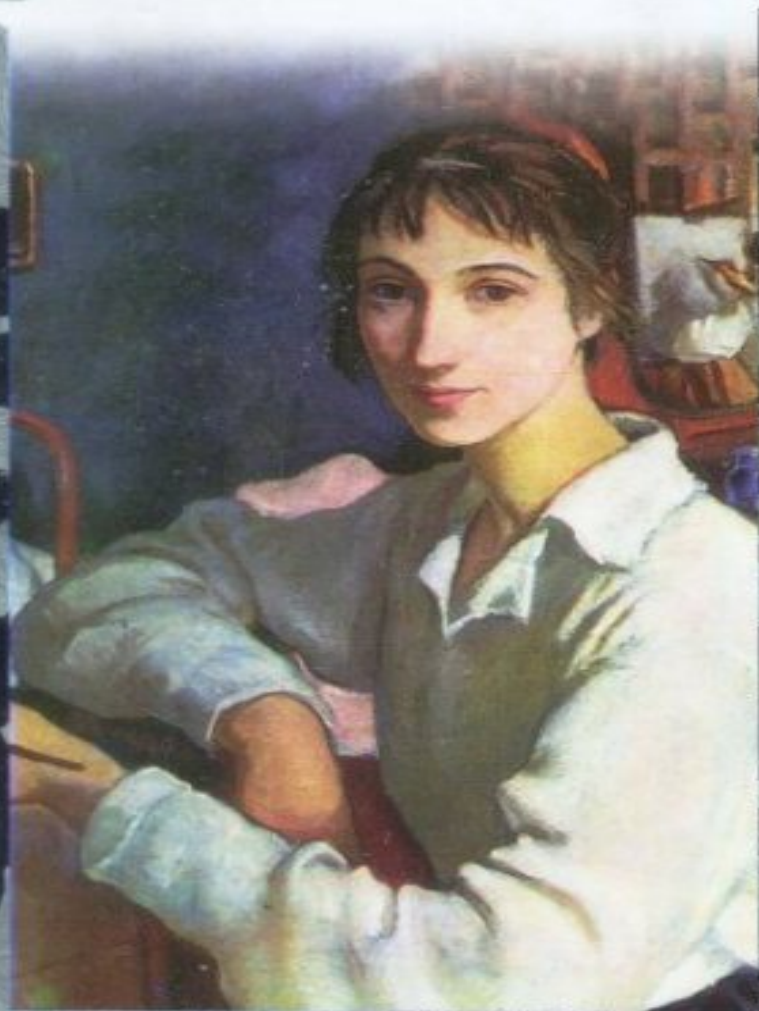


ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Ольга ШУМЯЦКАЯ



ТЕТКИНЫ
ДЕТКИ

Девушка из неблагополучной, бедной семьи, выросшая без отца, выходит замуж и попадает в огромное, шумное семейство. Здесь свои обычаи, свои сложные правила. Здесь люди любят друг друга, хотя время от времени семью сотрясают скандалы. И теперь Татьяне предстоит стать своей, понять и полюбить новых родственников («Теткины детки»). Как же не похожи бывают женские истории — веселые или грустные, узнаваемые или невероятные, они — отражение нашей жизни во всех ее проявлениях («Ключи от счастья»).

- [Ольга Шумяцкая](#)
 - [ТЕТКИНЫ ДЕТКИ](#)
 - - [1965–1975](#)
 - [1975–1985](#)
 - [1990–1995](#)
 - [КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ](#)
 - [КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ](#)
 - [ПАРОЧКА](#)
 - [ЕРШИК](#)
 - [БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК](#)
 - [ПРЕДЛОЖЕНИЕ](#)
 -
 -
- [notes](#)
 - [1](#)



Ольга Шумяцкая

Теткины детки

Роман, рассказы

ТЕТКИНЫ ДЕТКИ

Роман

ТЕТКИНЫ ДЕТКИ

Роман



Маме и папе...

Сначала казалось — страшно.

Семья была большая, шумная, чужая. По вечерам за столом собиралось человек пятнадцать — двадцать. Со всех концов Москвы приезжали дядюшки и тетушки, племянники и племянницы, родные и двоюродные, близкие и далекие. Громко пели украинские песни и — тихо, плотно прикрыв дверь в общий коридор, — еврейские, местечковые. Они все были из еврейских украинских местечек и привыкли жить кучно и тесно. Когда к столу совсем ничего не было, свекровь резала большой батон и вынимала из буфета банку засахаренного прошлогоднего варенья. Время от времени в проходной комнате у белой кафельной печки — единственном теплом месте — обнаруживались иногородние родственники. Тогда свекровь пекла пироги, с утра накрывала стол, звонила из темного закутка у кухни, там на стене висел телефон, похожий на гигантскую черную муху, с тяжелой, как гантель, трубкой.

— Нюра, ты слышишь? Приехал Даня из Киева! Сонечка? Это я, Муся! У нас Дора из Ревды!

Хлопали двери, приходили и уходили люди.

— Едут рижане, — объявляла свекровь.

«Рио-де-Жанейро», — чудилось Татьяне.

— Завтра будет проездом Сара из Магадана! — кричала свекровь в трубку.

«Сара с Мадагаскара», — шептала Татьяна.

Сама она нигде не была — ни в Ревде, ни в Магадане, ни в Киеве. А уж в Рио-де-Жанейро и подавно. Названия знала из школьного курса географии и повторяла про себя с каким-то молитвенным благоговением. Когда в клубах морозного пара или летней томительной испарине в дверь вваливались чужие люди, в воздухе пахло дальними странами. Люди сгружали в угол коричневые чемоданы, похожие на растрескавшийся шоколад «Аленка», серые самострочные мешки с детсадовскими и пионерлагерными цветными надписями, вышитыми нитками мулине: «Эдик А., 3-й класс», «Соня Д., подготов. групп.». Отряхивались, осматривались, требовали немедленно горячей воды, мыла и полотенца, потом долго плескались в общей кухне под краном, и фыркали, и стонали от удовольствия, и кричали через коридор, что надо срочно разобрать чемодан, потому что домашняя колбаса с чесноком уже сутки как в дороге, а ей это вредно. И торт — чудный «Киевский» торт, безе просто шелк, а крем, вы не поверите, ни капли маргарина! — немедленно выньте и поставьте на холод, а варенье ничего, варенье переживет, что ему сделается! И входили в комнату, голые по пояс — мужчины в старых линялых галифе, женщины в черных толстых суконных юбках — вот что удивительно, даже в жару, даже в жару! — и сагиновых бюстгалтеров с большими белыми костяными пуговицами, чуть-чуть пожелтевшими от старости. И это удивительно, еще более удивительно, потому что тут вам и соседка Марья Львовна, известная блюстительница нравов, и лысый Толька из угловой комнаты, известный на всю округу бабник и охальник, и полная кухня любопытных глаз, пристально следящих за каждым неловким движением, и уши, приклеенные к замочным скважинам в надежде на необдуманное слово — и вот вам, белые бюстгалтеры всем напоказ, и ладно только бюстгалтеры, еще и пуговицы, почему-то олицетворяющие для Татьяны мучительный стыд телесного разоблачения в присутствии чужих людей. Пуговицы

она воспринимала как печать этого стыда, поставленную на самом видном месте. Но ничего не замечалось. Ни осуждающие взгляды Марьи Львовны, ни похотливая Толькина улыбочка. Шли по темному коридору, с полотенцами на плечах, встряхивая мокрыми волосами, словно после вечернего деревенского купания. И свекровь — та самая свекровь, которую Татьяна боялась до озноба, до сжатых кулачков, до побелевших костяшек пальцев, — свекровь хохотала, бросалась на шею, душила в объятиях так, как умела только она, — ни ойкнуть, ни вздохнуть, — чмокала в щеку и подводила к Татьяне.

— Это наша Танечка! А это...

Даня, Дора, Сара, Моня... Родственники. Теперь и ее, Татьяны, тоже. Родственников Татьяна боялась, сбивалась со счета, путалась. У них-то с мамой почти никого не было. Единственная тетка — мамина сестра-близняшка — приезжала из деревни раз в пять лет, и в их крошечную комнатенку на Сретенке забегали разве что Татьянины подружки.

Как они остались с мамой вдвоем, Татьяна помнила. Это совсем недавно было. Татьяна тогда училась в последнем классе. Шел 62-й год, в школах уже несколько лет как ввели совместное обучение, и на двадцать три девчонки приходилось пять парней. Петька Завалишин — рыжий до боли в глазах — влюбился в нее сразу. Он к ним как раз в выпускной год пришел. В нее вообще сразу влюблялись. Учительница истории сказала как-то, что у нее глаза как на фаюмском портрете. Что такое фаюмский портрет, Татьяна не знала, но слова запомнила и вечером, лежа в кровати, долго вертела в голове. Слова казались мягкими, уютными, фланелевыми, чуть-чуть отдающими пармской фиалкой. Татьяна как будто пробовала их на вкус. Так вот, Петька. В тот день Петька впервые пошел ее провожать. Нет, не так: в тот день она впервые разрешила Петьке себя проводить.

— Пойдем, — сказала у подъезда, — поднимешься, чаю выпьем.

Они поднялись. Бабушка сидела в кресле у окна. Сухие руки, лежащие на подлокотниках, слегка дрожали. Увидев Татьяну, бабушка шевельнула тонкими подкрашенными губами. Высокая, волосок к волоску, прическа «а-ля Помпадур» — «помпадурой» звала ее Татьянина мать — качнулась в знак приветствия. Татьяна подошла, таща Петьку за собой. Бабушка ласково посмотрела на них, вздохнула и умерла. Татьяна закрыла ей глаза и пошла звонить матери, на фабрику.

— Тебя ждала, — сказала мать. Выдвинула ящик комода и вынула оттуда старый коричневый пуховый платок с дырками вместо ажурного рисунка — повесить зеркало.

Так они остались вдвоем.

А Петька что. Петьку Татьяна потом видела всего раз на встрече друзей, лет через тридцать после окончания школы. Поинял, стерся, Татьяна с трудом его узнала. А он — он посмотрел на нее угрюмо и пробормотал что-то о глазах, которые никакое время не берет. Это к вопросу о фаюмском портрете. Сама-то Татьяна считала, что глаза у нее как чернильные кляксы.

Последние годы, когда бабушка уже не вставала, Татьяна с матерью вынимали ее по утрам из кровати, надевали белоснежную блузку, синий саржевый костюм, сооружали на голове «помпадуру» и подносили маленькое зеркальце. Бабушка смотрелась в зеркальце, тонким, сухим пальчиком тщательно разглаживала морщины на вельветовом от старости лбу, проводила по тонким губам помадой, пуховкой — по впалым щекам, будто сделанным из мятой рисовой бумаги, и кивала: можете идти. Они шли: Татьяна в школу, мать на работу, на трикотажную фабрику. Вечером мать первым делом кидалась к керосинке, варила картошку, или пшенную кашу с тыквой — Татьяна особенно любила, чтобы с тыквой, — или

вермишель — бабушка предпочитала «Экстру» — и, роняя по дороге тряпки, обжигаясь, чертыхаясь, несла в комнату. Мясо ели не часто. Если честно, почти совсем не ели. Разве что на день рождения или праздник какой. Однажды матери дали премию, и она решила кутнуть. Зашла в кулинарию, купила три отбивные. Придя домой, сразу кинулась жарить. Хотела успеть к Татьянинному приходу. Но тут бабушка крикнула что-то своим высоким птичьим голосом, мать бросилась на зов. Вернувшись, обнаружила на кухне соседскую девчонку Нинку, которая хватала отбивные со сковородки и торопливо засовывала в рот. Увидев мать, Нинка отскочила в сторону, на секунду замерла, прыгнула обратно и цапнула оставшуюся отбивную. Прожевав, она осуждающе посмотрела на мать и сказала как бы в никуда, в пространство:

— А говорят, им есть нечего! Говорят, на одну зарплату живут! Офицерские-то жены!

Офицерской женой была мать. Татьяна — офицерской дочерью. Бабушка — офицерской матерью. Татьяниной матери Евдокии Васильевне ее оставил отец, когда ушел к другой.

— Вот, — сказал, — Дуся, ухожу. Поживешь пока с мамой.

Мать кивнула. С чужой мамой она прожила семнадцать лет.

Как это произошло, Татьяна не помнила. Об уходе отца знала со слов матери. Еще знала, что в отца пошла масть и чертами лица. В детстве мать подолгу вглядывалась в ее лицо, протягивала руку, чтобы погладить по голове, но никогда не гладила. Татьяна выросла и стала думать, что отцовские гены, столь резко проявившиеся в ней, не давали матери любить ее так, как обычно любят родители своих детей. И привыкла считать себя недолюбленной.

Она помнила высокого человека в гимнастерке. Помнила, как пили чай из розовых фарфоровых чашек, похожих на лепестки диковинного цветка. Чашки бабушка вынимала из буфета раз в году — когда на пороге появлялся тот самый высокий человек в гимнастерке. Еще Татьяна помнила, как горели бабушкины щеки, как, повернувшись к высокому человеку, она заглядывала ему в глаза, как гладила широкую мужскую руку с папиросой, зажатой между указательным и средним пальцами, как суетливо пододвигала пепельницу, как подливала чай, стуча носиком чайника о край чашки. Как появлялась на пороге мать, бледнела, резко разворачивалась и уходила к Белкиным, в соседнюю комнату, и там сидела на чужой кружевной кровати, похожей на торт с меренгами, сгорбившись и закрыв лицо руками. Татьяна шла за ней и стояла рядом, положив маленькую детскую ладошку на седую голову с тощими косицами, собранными на затылке в жалкую корзиночку. Ей хотелось отнять материнские руки от лица и посмотреть, что там, за этими руками, она так отчаянно скрывает.

— Хоть бы яблоко ребенку принес! — глухо шептала мать.

Как-то — Татьяне тогда было лет шесть — высокий человек взял ее на руки, внимательно посмотрел ей в лицо, и Татьяна вдруг узнала в нем отца — по глазам, похожим на чернильные кляксы.

— В зоопарк пойдешь со мной? — спросил отец.

Татьяна кивнула. Ей показалось, что в грудь ей вложили маленький уголек. Этот уголек потом всегда появлялся, когда Татьяна волновалась, и каждый раз ей вспоминался зоопарк.

— Пойду! — шепнула она.

— Вот и хорошо. Завтра и отправимся. Будь готова к пяти, я за тобой зайду.

Он не зашел ни в пять, ни в шесть. В семь мать расплела Татьянины косички, убрала

алые ленты, специально купленные по такому случаю, сняла с нее новые лаковые башмачки, аккуратно сложила выходное платье. Больше Татьяна отца не видела.

Краем уха слышала, как бабушка говорила матери, что отца перевели в другую часть, куда-то на Дальний Восток, и в Москве он долго не появится. А потом она о нем забыла, как забывают дети обо всем, что исчезает из поля их зрения. Мать замуж больше не вышла и после смерти бабушки быстро сама превратилась в старушку. Хотя было ей тогда от силы сорок...

Здесь все было другое. Когда Леонид впервые привел Татьяну в дом, знакомиться с родными, она, оглушенная, не зная, что говорить, что делать, куда смотреть, кому отвечать, шарханулась к книжным шкафам.

— Сколько книг у вас! Как в библиотеке. Надо составить полный список.

Села подальше, в уголок, взяла карандаш, старательно вывела на клетчатом тетрадном листочке: «1-й шкав», «2-й шкав».

Этот «шкав» долго жил в семейных анекдотах. Татьяна злилась, краснела, потом привыкла, сама стала рассказывать как забавный казус. Она вообще быстро пообвыкла. Прижилась. Освоилась — стала своей. Сблизилась с Лялей, старшей сестрой Леонида. Спустя много лет Ляля говорила, что в тот «книжный» вечер Леонид привел ей не невестку, а сестру. Это была правда. Они дружили, как не дружат родные сестры.

На самом деле ни о каком «шкаве» Татьяна не помнила, как не помнила отца. Память ее была выборочной. Все неудобное, неприятное, ненужное, некрасивое проскакивало сквозь нее, как мелкая рыбешка сквозь ячейки рыбацкой сети. Эту способность отбрасывать в сторону камешки, встречавшиеся на пути, и, не оглядываясь, идти дальше, Леонид называл инстинктом самосохранения. Татьяна с ним соглашалась и думала про себя, что бы с ней стало в этой огромной чужой семье, если бы не этот инстинкт. И тренировала память на услужливость. Сквозь плотный туман, устилавший прошлое, к ней пробивались лишь золотые картинки.

Вот широкая квадратная комната о трех окнах. На окнах — кружевные занавески. Цветов нет. Закатное солнце, проходя сквозь кружево, чертит на дубовом полу странные узоры, похожие на детские неуклюжие рисунки. На Сретенке, в их с матерью девятиметровой комнатенке, узкой, как тараканья щель, окно было одно. Голое окно, выходящее на стену соседнего дома. А тут окна выходят во двор. Во дворе — качели, два куста акации, шиповник, песочница, стол, у стола скамейка, выструганная каким-то местным умельцем. Почти дача. В углу комнаты — пузатая белая кафельная печь. Посреди — круглый стол, плюшевая скатерть с длинными кистями. На скатерти — райские птицы с рыжим оперением, ядовито-зеленые листья и малиновые цветы. На Сретенке, в их с матерью комнате, никакого стола не было. Стояли три кровати — ее, материна и бабушкина. Материна и бабушкина — по двум длинным стенкам, ее, Татьянина, возле окна. Кровати занимали все жилое пространство. Оставалось немного места для клетки с белой мышкой, принесенной Татьяной из школьного живого уголка, и маленького фанерного буфетика, где бабушка хранила чашки — те самые, из розового фарфора, похожие на лепестки диковинных цветов. Когда приходили гости — редко, но случалось, — в комнату вносили кухонный стол, предварительно спросив у соседей Белкиных разрешения переставить на их стол керосинку. Тут никаких керосинок не было. На кухне — пять газовых плит. Десять семей — пять плит. Нормально.

Леонид подталкивает ее вперед. Татьяна переступает порог и окунается в медовое закатное марево. Навстречу ей встает женщина. У женщины все высокое — брови, словно две гусеницы сдвинутые в переносице и поднимающиеся к вискам, лоб, убегающий к иссиня-черным волосам, волосы, уложенные на голове короной, большая грудь под вышитой блузкой с воротничком апаш. Женщина вынимает папиросу, крепко, по-мужски, стучит ею о портсигар, сует в рот и большими мужскими шагами подходит к Татьяне.

— Ну, здравствуй! — говорит она хорошо поставленным басом. Папироса подскакивает на губе. — Марья Семеновна! — и протягивает Татьяне мужскую ладонь.

Татьяна сует свою ладошку. Женщина берет ее, встряхивает так, будто хочет выбить девушке плечевой сустав, и усмехается. Из-за ее спины выглядывает женщина помоложе. У нее такие же высокие, резко очерченные, густые украинские брови, и лоб, и грудь, и аккуратный носик, только волосы собраны в тяжелый низкий узел и в глазах — какая-то ласковая приветливая насмешливость. Она выскальзывает из-за спины Марьи Семеновны, закладывает руки за спину и медленно, с важной страусиной повадкой, обходит Татьяну. В белой блузке и синих шароварах она похожа на школьницу, съевшую слишком много булочек.

— Ляля! — строго произносит Марья Семеновна.

Ляля прыскает и останавливается перед Татьяной.

— Значит, пинг-понг... — говорит она.

Потом они часто пили за пинг-понг. Первый тост на годовщинах свадьбы: «За пинг-понг!» На днях рождения — сначала «За здоровье!», потом «За пинг-понг!». Когда Катька родилась — «Ну, за пинг-понг!».

Пинг-понг стоял на лестничной клетке второго этажа. Вся институтская молодежь собиралась там в обеденный перерыв. Татьяна тоже приходила. К институтской молодежи она себя не причисляла. Стеснялась. Институтская молодежь — все сплошь молодые специалисты, будущие кандидаты наук, а она — техник, сидит за чертежной доской, обводит остро заточенным карандашиком чужие умные линии. В пинг-понг Татьяна не играла. Пряталась за спинами. Наблюдала. Считала чужие ошибки. В школе она лучше всех делала подачи, такие кренделя закручивала! Однажды, выглядывая из-за чужого плеча, увидела новое лицо. У лица были кудрявые темные волосы, высокий лоб, смуглые щеки с торчащими скулами и странные глаза — со смехоточинкой. Татьяна загляделась на эти глаза и не заметила, как Валька из планового отдела широко размахнулась и со свистом мазнула ракеткой мимо шарика. Шарик отскочил от стола, срикошетил об стену и упал под ноги лицу. Лицо шарик подняло, внимательно рассмотрело, сделало шаг вперед, растолкало народ и протянуло Татьяне, вжавшейся в стену.

— А сейчас не моя подача, — испуганно прошептала Татьяна.

— Значит, моя, — засмеялось лицо.

Татьяна ухватила шарик и попыталась вынуть его из длинных смуглых пальцев. Но лицо шарик не отпускало, тянуло к себе вместе с Татьяниной рукой и улыбалось.

— А я вообще не играю, — прошептала Татьяна и тоже улыбнулась.

— А я играю, — сказала лицо, выпустило шарик и сжало Татьянину руку. — Леонид.

Шарик немножко попрыгал и укатился под стол. Они не заметили.

Вечером он пригласил ее в кафе. Решили пойти на площадь Восстания, в высотку.

— Что будем пить? — спросил Леонид, когда они уселись за столик.

— Мне — «Буратино», — прошептала Татьяна.

— Ага, «Буратино», значит, — задумчиво сказал Леонид и заказал красного грузинского вина. — А есть?

— Мне мороженое, ванильное, — прошептала Татьяна, краснея. Еще никто никогда не приглашал ее в кафе и не спрашивал, что она будет пить и есть.

— Ага, мороженое, значит, — задумчиво сказал Леонид и заказал цыпленка табака, столичный салат, пирожное «буше». Ну и мороженое, разумеется.

Весь вечер она боялась, что ему не хватит денег.

Когда официант принес счет, она схватила сумочку и поспешно вытащила оттуда маленький черный кошелек с застежкой-бантиком.

— Вот... зарплата... как раз сегодня... — пробормотала она.

Леонид засмеялся, взял у нее из рук кошелек и засунул обратно в сумку.

— Вы, девушка, очень удивитесь, но у меня тоже зарплата... как раз сегодня.

Они вышли из кафе. Только что прошел дождь, и пленка облаков затягивала небо, как глаз старой больной птицы. Парило. От луж поднимался запах мазута.

— Пошли к бульварам, — предложил Леонид.

И они пошли к бульварам. Шли по улице Герцена — Татьяна по краю тротуара, а Леонид по мостовой, держа ее за руку, как держат ребенка, забравшегося на высокий парапет, и загребая носком левого ботинка влажный, серый, свалывшийся, словно старая вата, тополиный пух. Когда вошли на Тверской, над городом встала радуга. В то лето каждый день шли дожди и каждый день небо строило радужные ворота в их новую жизнь.

— Смотри, — сказал Леонид. — Радуга. Это на счастье. — Он поднял указательный палец и начал считать цвета. — Каждый...

— Охотник... — отозвалась Татьяна.

— Желает...

— Знать...

— Где...

— Сидит...

— Фазан. — Вдруг он остановился и повернул ее к себе: — А я завтра утром уезжаю.

— Куда? — растерянно прошептала Татьяна.

— На юг. На месяц. Матушка достала путевку. Она у меня большой профсоюзный деятель.

— Умывальников начальник и мочалок командир?

И испугалась. Была у нее такая особенность: при всей своей огромной стеснительности сказануть иной раз что-нибудь эдакое, чего сама от себя не ожидала. Леонид засмеялся, притянул ее к себе и поцеловал.

— Я привезу тебе гранаты, — посулил он.

— И рубины, — сказала она, и ей вдруг стало легко. Так легко, будто она превратилась в воздушный шарик, наполненный гелием.

— И рубины, — повторил он.

И они обнялись.

Через два дня, выходя после работы из института, Татьяна обнаружила Леонида. Он сидел на крыльце и пинал ногой камешек.

— Я сбежал, — сказал он и протянул ей гранат. — Вот. На рынке купил. На Центральном. Как обещал.

— А как же матушка?

— Матушка испугалась, решила, что-то случилось. Пойдем.

— Куда?

— Как куда? К матушке.

— Как же тебе отпуск дали? — спросила она по дороге. — Ты же в институт только пришел.

— Я в институте год как работаю. Ты что, не замечала?

— Не замечала.

— А я тебя замечал, — сказал он специально беспечным голосом.

И они поднялись на крыльцо.

— Значит, пинг-понг? — спросила Ляля, глядя на Татьяну снизу вверх быстрыми украинскими глазами и покачиваясь с пятки на носок.

— Ляля! — строго повторила Марья Семеновна.

Ляля сверкнула черным глазом, поднялась на цыпочки и вдруг вlepила Татьяне в щеку смачный поцелуй.

— Ляля, Ляля! Ля-ля-ля! — пропела она, побежала куда-то в сторону и вернулась, таща за руку высокого человека с маленькими очками в золотой оправе на тонком горбоносом лице. — Позвольте представить — Миша, мой двоюродный муж!

Татьяна неуверенно улыбнулась, не понимая, надо ли смеяться над этими странными словами или следует все же спросить, что это за штука такая — «двоюродный муж». А Ляля между тем продолжала:

— И целыми днями: «Ляля-Ляля! Ляля-Ляля!» Хоть бы что-нибудь новенькое придумали!

— А вас разве не Лялей зовут? — спросила Татьяна.

— Лялей меня зовут. Но представляешь, как надоедает! Сказали бы, к примеру: «Давай, Катя; тащи чай!»

— Давай, Катя, тащи чай! — сказал Миша, и Татьяна поняла, что пропала.

Она обернулась, как бы прося помощи у Леонида, но Леонида поблизости не оказалось. Тут-то и наткнулась взглядом на многострадальный «многоуважаемый шкав».

Она сидела в углу, склонившись над тетрадным листочком, ломая карандашный грифель о подлое слово «шкав» и глотая обидные слезы, когда дверь тихонько отворилась и в комнату скользнула тень не тень, фигура не фигура, так, мазок серой краски в пространстве. Марья Семеновна поднялась и пошла навстречу тени, протягивая руки.

— А вот и Риночка! — пропела она. Голос ее был сладок и чуть-чуть напряжен. — Проходи, Риночка, садись. Сейчас чай пить будем. Ляля!

— Катя! — тут же отозвалась Ляля.

Но Марья Семеновна посмотрела строго, и Ляля помчалась на кухню.

Чай пили с огромным бисквитным тортом, украшенным ядовито-красными розами. Леонид подцепил самую большую розу и плюхнул Татьяне на тарелку. «Мишку за этим тортом к меховщику гоняли!» — шепнул он, и она снова — в который раз за этот вечер! — поразилась. Какой меховщик? Что за меховщик? Почему к меховщику надо бегать за тортом?

Ляля болтала ложечкой в стакане, бросая на Татьяну быстрые лукавые взгляды. Миша тоже болтал ложечкой, но глядел не на Татьяну, а на Лялю. Он всегда на нее глядел и как бы примеривался — к ее настроению, словам, улыбкам, взглядам. Уловив в ее лице что-то, одному ему понятное, облегченно вздохнул и засмеялся. Ляля потянулась за сахарницей, но

он перехватил ее руку и быстро поцеловал в ложбинку между большим и указательным пальцами. И это тоже поразило Татьяну. Она не знала, что можно вот так просто, за чайным столом, на глазах у всех поцеловать жене руку, а потом долго держать, поглаживая пальцем нежную впадинку, где линия то ли любви, то ли жизни делит ладонь пополам.

Марья Семеновна сидела чуть поодаль — в торце, рядом с Риной, низко склонившейся над вазочкой с вареньем. Ела Рина странно. Не ложку несла ко рту, а лицо к ложке, высоко подняв острые плечики, а голову — наоборот — опуская все ниже и ниже. Взгляд ее из-под плотных подушечек век, заслоняющих глаза, был косой и настороженный. Не то чтобы оценивающий, скорее недоверчивый и выжидательный. Недобрый взгляд. «Может, она в Леонида влюблена?» — подумала Татьяна, и мысль эта потом долго мучила ее. Марья Семеновна подкладывала Рине варенье и приговаривала:

— Ешь, Риночка, ешь. Еще бери, не стесняйся. Тортик бери. Дома-то, наверное, тортик не часто ешь.

Рина краснела, еще больше горбилась, но кивала и тортик брала. На Татьяну Марья Семеновна почти не смотрела. Поначалу сунулась было с расспросами: где, мол, училась, а мама у нас кто, а на какой фабрике. Но Леонид сделал какое-то неуловимое движение, и Марья Семеновна осеклась, замахала руками — все-все-все! удаляюсь! и слова больше не скажу! даже не просите! И села с краю. И обернулась к Рине. И теперь задавала свои вопросы ей, а та жужжала что-то в ответ. «Жужжала» — это Татьяна потом придумала.

«Пошла жужжать!» — усмехалась она, когда Рина начинала играть в Золушку, угнетенную невинность.

Рина действительно говорила тихо и как бы нехотя, с трудом проталкивая слова сквозь плотно сжатые узкие губы. Скажет слово — и молчит. Платишко на ней было унылое, школьное, с заплатками на локтях, а девочка уже вполне взрослая — не школьница, студентка, наверное. Это Татьяна сразу заметила. Еще заметила породу — пудельково-кудельковая. И резкой синевы глаза — глаза, которые Рина будто нарочно прятала за плотными припухлыми подушечками век. Такие веки Татьяна видела впервые. Разговора ее с Марьей Семеновной Татьяна не слышала. Так, шелест какой-то. Доносились отдельные слова: «...мама... отец... а как же ты, Риночка... совсем не дают... уйду... общежитие». Татьяна поняла, что Рина жалуется.

— Риночка у нас будущий педагог! — сообщила Марья Семеновна, подкладывая варенье в Риночкину вазочку. — Будет преподавать русский и литературу.

— Ну, хватит! — Ляля хлопнула ладошкой с коротенькими толстыми пальчиками по столу и поднялась. — Убирайте со стола, играем в карты!

— В карты? — поразилась Татьяна. У них в доме после семейного чаепития никогда не играли в карты.

— В карты, в карты! А то сейчас уснете. В кинга. Миша, тащи колоду! — и быстро смела все со стола.

Играли парами: Леонид с Татьяной, Ляля с Мишей. Рина сидела за спиной Леонида, заглядывала через плечо, шептала что-то ему на ухо, иногда протягивала руку, бралась за какую-нибудь карту и кидала ее на стол. «И чего лезет!» — подумала Татьяна, но через минуту забыла и о Рине, и о шепоте, и о руке, протянутой через плечо Леонида. Ляля объяснила правила. Татьяна выслушала, кивнула и вдруг почувствовала в груди знакомое жжение. Уголек. Только не болезненный, не острый, а горячий и приятный. Она взмахнула рукой, хлопнула картой об стол, и игра пошла.

Если бы в тот вечер Татьяна увидела себя со стороны, то сильно бы удивилась. Азарт никогда не значился в числе ее достоинств. Но тут — и глаза разблестелись, и щеки разгорелись, и волосы растрепались, и...

— Ты чем кроешь! Ты думай, чем кроешь! — кричала Татьяна на Леонида, и искры летели из ее чернильных глаз. — Взятку пропустил, дурак такой! Они же нас обставят, как котят!

Леонид широко раскрывал глаза. Ляля смеялась. Миша поглядывал на Лялю, понимал, что можно, и тоже посмеивался. Марья Семеновна качала головой. Рина сидела с каменным лицом. Татьяна бросала карты и кричала:

— Все! Так я больше не играю! К чертовой матери! — и вскакивала из-за стола.

— А ты ничего! — сказала ей Ляля на прощание. — Я думала, манная каша, а ты ничего, — и вlepила в щеку еще один поцелуй.

— Вот ты ее целуешь, — сказал Леонид. — А я ее, между прочим, тепленькой взял.

— В каком смысле?

— В том смысле, что месяц назад она чуть было замуж не выскочила.

— Это правда? — строго спросила Ляля, поворачиваясь к Татьяне.

— Правда, — прошелестела Татьяна, становясь прежней и чувствуя себя перед Лялей как нерадивая ученица перед строгой учительницей.

— За кого? — еще строже спросила Ляля.

— За курсанта одного. На вечере познакомились... в военном училище, — еще тише прошелестела Татьяна.

— И до чего дело дошло? — Ляля грозно сдвинула украинские брови.

— Ни до чего. С родственниками повел знакомить, — еле слышно прошептала Татьяна.

— Ага! Значит, с одними родственниками ты уже знакомилась.

— Нет, я не знакомилась! Вы не думайте! Я сбежала! — закричала Татьяна, отчаянно пытаюсь оправдаться.

Лялины брови поползли вверх.

— Как так?

— Ну, пока он ключи искал, я и... на улицу. А там... там мама, папа, дедушка... два... бабушка.

— Сколько? Бабушек сколько?

— Одна. Все уже за столом сидели. Меня ждали.

— Еще кто? — продолжала допрос Ляля.

— Тетя Лиза с семьей и дядя Коля... генерал... из Киева... специально приехал. Стыдно... — Голос Татьяны угас.

— Стыдно, — согласилась Ляля. — Значит, дядя Коля. Генерал. Из Киева, — сурово подытожила она.

Татьяна обреченно кивнула.

— Так-так.

— Теперь ты видишь, с кем я связался, — встрял Леонид.

— Ну и правильно! Ну и молодец! — вдруг крикнула Ляля, схватила Татьяну в охапку и закружила по комнате. — Так им и надо! — Она задохнулась, остановилась и тихо сказала Татьяне на ухо: — Ты не бойся, мы с Мишкой скоро съедем. Нам комнату дают.

— Я не боюсь, — прошептала Татьяна.

На улице Леонид просунул ее руку себе под локоть и крепко прижал к боку.

— А ты ничего, — повторил он Лялины слова.

— А Рина... она тебе кто? — спросила Татьяна.

— Двоюродная сестра.

— Двоюродная...

Она не знала, как реагировать на это слово — «двоюродная». Двоюродных у нее не было. Родных, впрочем, тоже. Что такое двоюродная сестра? Сестра? Или все-таки не очень? Как к ней относиться?

Леонид все крепче прижимал ее руку. Подул ветер, тополинный пух, прибитый к земле, вздохнул, поднялся и полетел над Москвой.

Через два месяца Ляля с Мишей съехали.

Когда в кузов запахнули зеркальный шкаф и никелированную кровать с одной оставшейся в живых шишечкой, похожей на лимонку, когда Ляля с Татьяной увязывали в тюк последние простыни, когда Марья Семеновна судорожно засовывала в кастрюльки картошку и тушеное мясо — «и без разговоров, пожалуйста! захотите есть, меня рядом не будет! вот две тарелки и вилка с ножом, кладу наверх, чтоб ты видела! и шофера, шофера накормить не забудьте!», — когда Леонид тащил последнюю связку книг, а Миша переругивался с шофером, который демонстративно смотрел на часы, всем своим видом и лихо заломленной кепкой показывая, что, мол, пора, брат, пора, вы у меня не одни такие... Так вот, когда дело уже шло к отъезду, под акацией появился коричневый человек. Татьяна именно так и подумала: «Коричневый человек». Развинченной танцующей походкой коричневый человек подошел к грузовику, засунул в кузов длинный крючковатый нос, задумчиво почесал лысину и что-то сказал Мише. Шофер плюнул, махнул рукой и залез в кабину. Миша растерянно оглянулся, сделал слабое движение, как бы призывая на помощь бегущего мимо Леонида, но коричневый человек уже был в кузове, уже кричал что-то, размахивая руками и крутя кривым носом, уже скидывал на землю кадку с фикусом, уже тащил из глубины Лялину швейную машинку, уже швырял Мише первый том Большой советской энциклопедии. Миша энциклопедию ловил, складывал стопкой на землю и вид имел совершенно растерянный.

— Ляля!.. — Татьяна кивнула на окно.

— О господи! — тихо проговорила Ляля и вдруг заорала: — Мама! Арик!

Но Марья Семеновна только махнула рукой. Ляля сунула Татьяне пододеяльник и бросилась во двор. Сквозь пыльное стекло Татьяна видела, как Ляля вытаскивает Арика из кузова, как тычет толстеньким пальчиком ему в грудь и губы ее двигаются быстро-быстро, как Арик отмахивается от нее, словно от надоевшей мухи, и лезет обратно, а Ляля хватает его за штаны и тащит вниз, как Миша бежит вокруг Ляли, нервно стаскивает очки, и очки висят на кончике носа, зацепившись дужкой за одно ухо. А Ляля хватает Большую советскую энциклопедию и сует ему в руки, а Арик Большую советскую энциклопедию из Мишиных рук выхватывает и сваливает на землю, а...

— Иди домой! Домой иди! — слышит Татьяна, пробегая с простынями мимо этой троицы.

— Ну вот еще! — фыркает Арик и лезет в кабину. — Если бы не я, у вас бы все горшки побились!

— Если бы не ты, мы бы уже уехали! — кричит Ляля, но Арик ее не слушает.

— Трогай! — командует он шоферу и крутит кривым носом.

Потом таскали вещи в обратном порядке. Энциклопедия, машинка, шкаф, кровать...

Шишечка отвалилась, и шофер, поддав ногой, загнал ее в водосточный желоб. Арик шнырял по двум крошечным полуподвальным комнаткам, новому жилищу Ляли и Миши, крутил носом, чесал лысину, подавал команды.

— Левее! Правее! Да не туда! Сюда! Мишка, бестолочь, я тебе говорю! Что бы ты без меня делал! — кричал он, и Татьяне казалось, что зычный голос забивается в уши, нос, рот, в каждую щель, в каждый угол, в каждый простенок, и в вентиляционное отверстие под потолком, и в трещину на старой фаянсовой кружке, и в прореху на Лялиной простыне.

Потом сидели на полу, на расстеленной Лялей газетке, ели картошку, по очереди засовывая в кастрюльку единственную ложку. Арик хлопнул водочки, и придвинулся к Татьяне поближе, и как бы невзначай положил руку ей на колено.

— Ты бы с девушкой познакомил, — сказал он Леониду.

— Татьяна — Арик, — сухо отозвался Леонид.

— Ого! — Арик посмотрел так, что у Татьяны похолодел низ живота.

И тогда кто-то сказал — шуры-муры.

Татьяна вздрогнула. Ей показалось, что шуры-муры — это то, что сейчас происходит между ней и Ариком, хотя ничего особенного не происходило, только взгляд и эта рука на колене. Взгляд был ей неприятен. Рука тоже. Татьяна поежилась и отодвинулась к Леониду.

— Вы к Шурам-Мурам когда пойдете? — спросила Ляля.

— А что, пора? — сказал Леонид.

— Ну-у, я не знаю, — протянула Ляля. Протянула так, что стало ясно — она-то как раз считает, что давно пора.

Леонид повернулся к Татьяне:

— Вот что, Танька, делаю тебе на этой газете, так сказать, официальное предложение руки и сердца — в трезвом уме, твердой памяти и присутствии независимых свидетелей. Ты как, согласна?

Татьяна поперхнулась, закашлялась, кивнула и маханула рюмку водки.

— Ого! — уважительно сказал Арик.

— А Шуры-Муры — это что? — спросила Татьяна, хватая воздух ртом.

— Шуры-Муры — это наше все, — ответила Ляля, засовывая ей в рот кусок малосолевого огурца.

— Тетки это, тетка Мура и тетка Шура. Твой первый официальный визит к будущим родственникам, — сказал Леонид. — Будут тебя оценивать.

— А вот этот, вот этот — что? — спросила Татьяна, указывая на Арика. Ей уже море было по колено.

— Это — наше горюшко!

Арик хохотнул. Ему, видимо, нравилось быть их горюшком.

— Двоюродный брат, — добавил Леонид.

— От-ткуда?

— Из Мариуполя. Учится тут. После армии. У него там, в Мариуполе, старушка мама и трое братьев. Жуткое дело.

— Это вы, московские мальчики, — вдруг зло бросил Арик, и лицо его рассекла кривая сабельная улыбка. — Это вам все трын-трава. А я дома в бараке жил, на земляном полу спал.

— Да ладно, — примирительно сказал Леонид. — Не петушись. Все на полу спали. Не ты один.

— И м-м-много у в-в-ас-с-с д-д-воюрднх?

— О-о-о! — протянула Ляля. — Давайте-ка, мальчики, несите ее в постель. Пусть поспит часок.

Сквозь дремоту Татьяна слышала их голоса, и смех, и звон ложек, и Лялино «тсс! разбудите!», и Ариковы короткие всхрапы, и тихие шаги Леонида, пришедшего посмотреть, как ей там спится, на никелированной кровати без шишечек. И наконец, Лялин шепот, совсем рядом, возле уха:

— Ты Арика не бойся. Его женят скоро!

— На ком? — спросила Татьяна и уснула окончательно.

Шуры-Муры — тетка Шура и тетка Мура, две старые черепахи — жили за кружевными занавесочками в полуподвальной коммуналке у Курского вокзала. Кроме кружевных занавесочек, в их комнате стояла большая кровать, большой круглый стол и большая фотография на столе. Тетка Шура в молодости в декольтированном платье из алого креп-жоржета («Алого, алого, поверьте, детка, алое — мой цвет! Жалко, фотография черно-белая, не видно!»), так вот, из алого креп-жоржета с бантом на спине (банта тоже не видно). На фотографии тетка Шура изящно подпирает полной рукой массивный двойной подбородок и лупит (Леонид так потом и сказал: «лупит») фарфоровые глазки. Тетка Шура спала на большой кровати с аккуратнейшей стопкой подушек («Девять штук, все одна к одной, перышко к перышку, пушинка к пушинке») под кружевной же накидочкой. Где спала тетка Мура, никто не знал. Татьяна подозревала, что на кухне. Леонид утверждал, что на сундуке в маленьком коридорчике перед комнатой, создающем иллюзию пусть не совсем, но отдельной квартирki. Тетка Шура была девушкой. В молодости имела массу поклонников («Поверьте, детка, я знаю, как обращаться с мужчинами! Мужчины — мой конек!»). Говорили, что за ней ухаживал один морской полковник, красавец, умница, два метра ростом, черный китель, золотые эполеты («эполэты» произносила тетка Шура). Так вот, полковник. Исчез в тот момент, когда тетке Шуре стало дурно по причине невыносимой московской летней духоты и она, упав на кружевные подушки, попросила полковника расстегнуть на пышной девичьей груди алый креп-жоржет («Ах, детка, он так меня любил! Просто не мог справиться с собой!»). Тетка Шура поддерживала внутрисемейные связи. Держала в пухлых лапках все ниточки, жилочки, растрепавшиеся концы, связывала узелочки, накладывала швы, затираала шероховатости, сама себя назначив добровольным семейным приставом. Тетка Шура была великий организатор, координатор и пропагандист. Ни одно семейное торжество не проходило без ее личного участия. Ни одно новое лицо не появлялось в семейном интерьере без ее личного одобрения. Ни один конфликт не разрешался без ее личного вмешательства. Ни одна покупка не делалась без ее личного совета. Семья была ее целью, смыслом, радостью, болью, усилием и отдыхом. Гостей принимала сидя в большом кресле с кружевной накидкой, выпрямив выпуклую, пытавшуюся вырваться из тесного платья на волю, спину, держась за подлокотники пухлыми пальцами с коротко обрезанными полированными ноготками. Тетка Шура не занималась хозяйством. Она осуществляла общее руководство.

Хозяйство вела тетка Мура — копия тетки Шуры в масштабе один к двум. В том смысле, что две тетки Муры как раз равнялись одной тетке Шуре. Тетка Мура бегала из комнаты на кухню и обратно, и снова в комнату, и снова обратно, по-кошачьи ловко и бесшумно перебирая лапками в меховых стоптанных тапках. «А селедочка, а картошечка, а блюдечко с форшмаком, а мяско под кисло-сладким соусом, а пирог из мацы, вы не

пробовали? нет, правда? никогда? ну, как же так, столько лет на свете живете и без мацы! возьмите непременно, называется мацедрай! а рыбка красная, а красная икорка — знакомый из Елисейского устроил! ах, Танечка, вы такая худенькая! что же ты, Ленечка, не следишь!» В прошлом у тетки Муры остались один муж, погибший в лагерях, и другой, погибший на войне. Тогда тетка Мура была совсем девчонкой — двадцать пять лет. Но об этом в семье не говорили. В настоящем у нее были тетка Шура («Такая слабенькая! А все ей надо, все надо! Всем хочет помочь!») и Рина — родная племянница. Ринин отец Шурам-Мурам приходился братом. Рину они вынянчили. «Деточка! Кровиночка!» — так они ее называли.

— Главным образом потому, что деточка много крови выпила, — язвила Татьяна потом, когда уже считала, что имеет право на язвительность. Еще она делала подсчеты. И получалось, что «старым черепахам» в ту пору — пору Татьянинного девичества — было чуть более пятидесяти лет.

Когда Татьяна и Леонид вошли, Рина — маленькая, тощенькая, в унылом школьном платьишке — сидела на подоконнике широкого подвального окна, под кружевной занавесочкой, поджав ноги, сгорбившись и заслонив глаза плотными подушечками век. Чертила пальцем по подоконнику. Поздоровалась, не разжимая губ. Татьяна кивнула и отвернулась. Ей почему-то было неприятно видеть тут Рину, хотя что может быть неприятного? Пришла в чужой дом, к чужим людям, к чужим привычкам, к чужой жизни. Тетка Шура возвышалась в своем кресле, как разбухший после осенних дождей гигантский гриб-моховик. Тетка Мура бегала с селедочкой.

— А я сегодня не завтракала... Да... Сегодня я не завтракала... — тихо сказала Рина, глядя на селедочку.

— Да ну? — насмешливо протянул Леонид, и в глазах его появилась та самая смехоточинка, которую Татьяна заметила в их первую встречу.

— Да-а-а...

Тетка Шура вскинула медвежью голову и затрясла щеками. Тетка Мура уронила на стол тарелку.

— Почему, Риночка?

— Не успела. Мама велела в прачечную, потом по магазинам, потом...

Потом последовал полный список дел с пунктами и подпунктами. Тетка Шура ахнула. Тетка Мура охнула.

— Ну, вы же знаете, маме некогда. У нее же уроки...

— Ты как хочешь, — сказала тетка Шура густым басом, глядя на тетку Муру, — ты как хочешь, но я сегодня же с ней поговорю!

— Только не сегодня!

— Сегодня! Сейчас же!

— Хорошо, сегодня! Только я сама! Ты все испортишь!

— Поговорим вместе. Мыслимое ли дело, гонять девочку в прачечную!

Татьяна подумала, что девочка не такая уж девочка, взрослая вполне девица, и она, Татьяна, тоже и в прачечную, и по магазинам, и за керосином в лавку... Но вслух ничего не сказала. Она была рада, что в пылу спора Шуры-Муры забыли о ее существовании. Она сидела на краешке стула, спрятавшись за спину Леонида, готовая немедленно вскочить и убежать, и не надо ей было ни селедочки, ни икорки, ни мяса под кисло-сладким соусом, ни горы печеного теста со странным именем мацедрай. Эта повинность — делать перед свадьбой родственные визиты — воспринималась ею как наказание. Сама она Леонида с

матерью специально не знакомила. Просто зашли как-то вечером выпить чаю. Купили в ГУМе «корзиночки».

— Вот, мама, — сказала Татьяна. — Это Леонид. Мы «корзиночки» принесли.

— Ну, «корзиночки» так «корзиночки», — ответила мать. — Я вообще-то «картошку» люблю.

— «Картошки» не было.

— Ну, не было так не было. Садитесь.

И они сели.

К концу вечера мать разговорилась, полезла за альбомом со старыми фотографиями, подробно расспрашивала Леонида о его семье, но понравились они друг другу или нет — этого Татьяна так и не поняла.

...Рина сползла с подоконника, отряхнулась, опустив плечи, пошла к столу. Не дойдя, зацепилась рукавом за стул, потянула, шов лопнул. Рина раздвинула подушечки век, поглядела на тетку Шуру, обернулась, поглядела на тетку Муру и прожужжала:

— Вот... порвала... нитки, наверное, сгнили... платье старое... школьное...

— Да ну? — насмешливо протянул Леонид. — А где же красное? А синее? Ну то, с коричневыми пуговицами?

Но тетка Шура уже хваталась за сердце, а тетка Мура тянула из сумки кошелек.

Потом Татьяна часто встречала Рину у Шур-Мур. Рина — маленькая, тощенькая, все в том же унылом школьном платьишке — приходила к ним почти каждый день. Забивалась в уголок под кружевную занавесочку, под широкое подвальное окно, долго сидела, поджав ноги, наконец роняла тихое слово. Тетка Шура хваталась за сердце. Тетка Мура — за кошелек. Рине шили новое платье. Или покупали ботинки. Или отправляли на юг. Когда Рина вышла замуж, появился новый повод для жалоб: она никак не могла родить и боялась остаться брошенной женой. Вновь приходила под кружевную занавесочку, забивалась в уголок, долго сидела, поджав ноги, роняла тихое слово. Тетка Шура хваталась за сердце. Тетка Мура — за кошелек. Рина ехала лечиться. Через четыре года после свадьбы она родила чудного мальчика. Жаловаться стало не на что. Но к тому времени у нее накопилась масса претензий к самим теткам.

— Взяла патент на жалобы за всю семью! — говорила о ней Татьяна.

За столом тетка Мура все подкладывала Рине селедочки, картошечки, рыбки, все гладила по голове, все что-то приговаривала, все жалела. Тетка Шура хорошо поставленным густым басом отдавала приказания:

— Курицы! Положи ей курицы! Ей надо побольше есть мяса! Пусть возьмет помидор! Ей нужны витамины!

И Татьяна подумала, что никто никогда не подкладывал ей на тарелку курицу, никто не гладил по голове, не жалел, не шептал, что она «деточка, кровиночка», никто не думал о том, что она мало ест мяса и ей нужны витамины. Уголек зажегся в ее груди. Кипучая, горькая, несправедливая злость к Рине поднялась и сдавила горло.

Но тут тетка Мура увидела ее пустую тарелку. И началось:

— Вы, Танечка, такая худенькая! Что ж ты, Ленечка, не следишь! Боже мой! Девочке нужно хорошо питаться!

— Положи ей мацедрай! Она никогда в жизни не пробовала мацедрая! — хорошо поставленным басом гудела тетка Шура.

И Татьяне вдруг стало ясно, что ее семья стала больше на двух человек.

Когда они вышли, на улице уже стемнело.

— Завтра к нам приходите, — сказала Рина и, сутулясь, пошла прочь.

Дядюшки и тетушки, племянники и племянницы, братья и сестры, родные и двоюродные, близкие и далекие... Они обволакивали ее своим вниманием и пристальными изучающими взглядами, как обволакивают ватой фарфоровую куклу. Они вынимали ее из привычного гнездышка, разглядывали, ощупывали, оценивали, поворачивали и так и эдак, пробуя на вкус, глаз и слух. А потом снова укладывали на место, обволакивая и — вовлекая. Они вовлекали ее в жизнь огромной семьи с ее сложной иерархией, взгорками и ямами, ссорами и примирениями, шумными застольями и черными плитами Востряковского кладбища. С бесконечными — как течение реки — разговорами, испещренными, словно мрамор прожилками, незнакомыми именами, неизвестными фактами, непонятными словечками, неразборчивыми мотивами. Вовлекали и тем самым позволяли дотронуться до сердца, которое гнало по жилам этого сторукого и стоголового организма кровь — жгучий, всепоглощающий интерес каждого к каждому и готовность немедленно встать на защиту друг друга. Татьяна билась в этих нежных силках и желала быть пойманной. Она училась разгадывать хитросплетения отношений, ловить вскользь брошенные взгляды, подхватывать на лету намеки и недомолвки, учитывать мнения. Она входила в семью Леонида, как входят в комнату с настезь распахнутыми дверями, но за этими дверями угадываются другие — пока закрытые, — а там третьи, четвертые, пятые, и анфиладе этой не видно конца.

Память — услужливая воровка, — украв у Татьяны добрую половину юности, оставила ей именно это — чужие дома. Быть может, оттого, что свой дом был так убого мелок, Татьяна с какой-то болезненной страстностью ощупывала взглядом чужие комнаты, чужую мебель, чужие ковры, чужой быт. И поражалась, как поражалась ежедневно в первые годы замужества. Все здесь было иное — не-привычное, не-правильное, не-знакомое, не-, не-, не-. И люди были иные. Они по-иному говорили, глядели, хлопали друг друга по плечу, садились за стол, они ели другую еду и носили другое платье. Они казались Татьяне марионетками в затяжном спектакле театра кукол, приехавшего из каких-то дальних стран.

Когда они вошли в огромную комнату с высоченными потолками — красные с золотом обои, лепнина на потолке, хрустальная люстра, похожая на ледяную горку в парке Горького, дубовый стол с львиными лапами вместо ног, ковер той нежнейшей пушистости, по которой с первого шага можно отличить настоящего перса от подделки, широкая низкая кровать, стыдливо полузадернутая алой плюшевой портьерой с бомбошками по краю («Как на клоунском колпаке!» — подумала Татьяна), — когда они вошли в эту комнату, женщина быстро встала с кресла и посеменила к ним походкой человека, ни разу в жизни не снимавшего высоких каблучков.

— Капитолина Павловна! — сказала женщина странно искусственным, как будто оперным, голосом и протянула пухлую ладошку. — Можно просто Капа.

— Мы тут все запросто, по именам, — поддакнул Леонид и плюхнулся в кресло, на которое Татьяна боялась даже смотреть.

Это она уже заметила — ну, то, что все по именам. Арик называл Марью Семеновну Мусей. Миша сбивался с Муси на тещу. Тетке Шуре и тетке Муре, как ровесницам, кричали: «Шурка! Мурка!»

— Таня, — сказала Татьяна и взяла шелковые пальчики с острыми кошачьими коготками.

Женщина была удивительная. Такую женщину Татьяна с удовольствием купила бы в «Детском мире», в отделе кукол, посадила бы ее на спинку дивана и любовалась бы издали. Женщина была нестерпимой синева. Ярко-синие фарфоровые глаза под ярко-синими ресницами, ярко-синее шелковое платье с узким лифом, почти до подбородка поднимающим грудь, ярко-синие туфли на умопомрачительных каблуках, ярко-синяя крохотная шляпка, почти спадающая с макушки. «Шляпка — дома?» — в смятении подумала Татьяна и поняла, что ничего не понимает. В синеву подмешивались оттенки розового — щечки цвета само [ш](#), помадный ротик цвета фуксии, острые лаковые коготки. Семена и крутя шелковым задом с пришпиленным к самому выпуклому месту бантом, женщина подошла к белому роялю, занимающему половину комнаты, встала, чуть отставив в сторону ногу, сцепила руки в замок, подперла ими грудь, будто хотела ее проглотить, и сказала оперным голосом, артикулируя каждый слог:

— Композитор Алябьев. «Соловей». Романс. — Подумала и добавила: — Исполняется а капелла.

И запела.

Леонид потянул Татьяну за юбку, и она упала рядом с ним в кресло.

— Закрой рот! — шепнул он и сделал задумчиво-заинтересованное лицо.

Женщина пела, широко открывая помадный ротик и все выше поднимая подушкообразную грудь. Татьяна смотрела на нее со смешанным чувством ужаса и восхищения. Ей казалось, что она сходит с ума. В стену стучали соседи, но женщина все пела и пела, и глаза ее закрывались, и грудь вздымалась, и казалось, этому не будет конца.

— Петр Ильич Чайковский. Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама»...

— ...Модест Петрович Мусоргский. «Блоха»...

— ...Матвей Блантер. «В лесу прифронтовом»...

— ...Джакомо Пуччини. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник»...

— Россини, — сказал Леонид.

— Что? — Женщина поперхнулась, как будто ей поставили подножку, и удивленно посмотрела на Леонида.

— Не Пуччини, а Россини. «Севильского цирюльника» написал Россини.

— Ну, пусть будет Россини, если ты так хочешь, — недовольно промолвила Капа и продолжила концерт.

Дверь тихо отворилась, в комнату вползла неясная фигура, опустилась на краешек стула и замерла. Татьяна скосила глаза: Рина сидела у двери, согнувшись и зажав руки между колен. Женщина кончила петь и уставилась на троицу требовательным вопросительным взглядом.

— Великолепно! — пробормотал Леонид как бы про себя, и в глазах его появилась смехоточинка. — Нет слов!

— Мамочка, ты делаешь успехи! — проблеяла Рина, но женщина только махнула на нее рукой.

Татьяна хлопала глазами.

— Вам понравилось, — не спрашивая, но утверждая, произнесла женщина, как будто иначе и быть не могло. — Вам понравилось. Я беру уроки у одного знаменитого баса из Большого театра. Имен называть не будем, дабы не ставить людей в неловкое положение. Он говорит, что ни разу в жизни не слышал такого колоратурного сопрано. Конечно, мое место на сцене! Но вы же понимаете, милочка, муж, дети. Это решительно невозможно! Рина! —

громыхнула она, и Рина испарилась. — Сейчас будем пить чай!

Татьяна вспомнила, как в первый ее визит к Леониду Марья Семеновна крикнула «Ляля!», и Ляля помчалась готовить чай. Вспомнила и удивилась тому, как по-разному можно сказать одно и то же. В окрике Капы слышалось плохо скрытое нетерпеливое раздражение и еще что-то, что Татьяна в первый раз так и не решилась назвать нелюбовью.

Чай пили за низеньким столиком с изогнутыми ножками, из больших синих чашек, исчерченных золотыми узорами.

— Наш китайский сервиз! Чистый кобальт! — с гордостью произнесла Капа. — Муж привез из последней командировки в Харбин!

Ложки тоже были удивительные — серебряные, с ярко-синими эмалевыми попугаями вместо ручки. И печенье — крошечные нежные бисквитики, обсыпанные сахаром, и конфеты с орешками в золотой фольге, и пирожные с заварным кремом...

Рина за стол не села. Суетилась — довольно, впрочем, бестолково — вокруг. Подливала чай, переставляла блюда, бегала за печеньем и бормотала, бормотала, бормотала.

— Мамочка у нас молодец, — бормотала Рина, крутясь вокруг Капы. — Мамочка у нас еще на арфе играет. Мамочка у нас творческая натура. Шура сказала: «Капочке непременно надо учиться. Капочка не должна работать, Изя и так много получает». А Мура сказала: «Капочка слабенькая. Капочке надо помогать. У Капочки и так много дел. И портниха, и парикмахер, и уроки. Ну и что, что Изя устает. Изя мужчина, он должен работать. Ну и что, что Рина учится. Рина уже взрослая, она может по дому». А Шура сказала: «Зачем Рине новое платье? Рина и в этом проходит. А Капочке нужно платить за уроки». А Мура сказала: «Неужели у Изя не хватает Рине на платье? Он такой обеспеченный мужчина!» А я сказала: «Зачем мне новое платье? Можно же это зашить!» — И она потянула за рукав с прорехой.

— Скажи Шуре и Муре, чтобы не лезли в чужой карман и в чужие дела! — сухо оборвала ее Капа, и Рина как будто уменьшилась в размерах. — И будь добра, если тебя не затруднит, принеси, наконец, лимон! — И Рина исчезла. Капа улыбнулась и повернулась к Татьяне: — Я так волнуюсь за свою девочку! Я буду счастлива, если найдется человек, который станет для нее опорой в жизни! — сказала она, засовывая в помадный ротик эклер.

И Татьяна поняла, как не терпится Капе избавиться от Риной, от необходимости думать о ее платьях, входить в ее проблемы и расстройства, болезни и настроения, видеть унылую фигуру, терпеть бесконечное бормотание. Как не терпится ей избавиться от этого счастья — иметь рядом взрослую дочь.

Когда прощались, Капа церемонно протянула Татьяне коготки:

— Приходите! Риночка так вам рада! И на дорожку!

Она подошла к роялю, подняла грудь и внятно сказала:

— Михаил Глинка. «Дорожная». Исполняется впервые. — Подумала и добавила: — Колоратурным сопрано.

Рина тихонько убирала со стола.

— Она ей не родная? — спросила Татьяна, когда они с Леонидом вышли на улицу.

— Почему? — удивился он. — Родная.

— А как же тогда... Почему она ее не любит?

— Не любит? — опять удивился он. — Не замечал.

Он действительно не замечал. Для него эти отношения были так же привычны, как привычна его дружба с Лялей и то, что его мать, Марья Семеновна, никогда не делала между ними различий.

— Ну как же! Она же ее шпыняет! И платье это... рваное... ей что, платье нельзя купить?

— Да есть у нее платья! Половина у теток висит, половина дома. Разделяй и властвуй — знаешь, что это такое?

— Что?

— Это когда Рина стучит теткам на Капу, а Капе на теток, Капа злится, а Изя ведет Рину в ателье. Прячемся! — И он потащил ее за угол.

По двору шел мужчина в мешковатом сером плаще по моде 50-х годов. В одной руке — портфель, в другой — бумажный пакет с продуктами, на голове — мягкая серая шляпа, на лице — такая же серая, как шляпа и плащ, усталость. Мужчина щурил близорукие глаза, низко, каким-то знакомым и неприятным движением наклонял голову, будто выискивая что-то под ногами, шевелил губами, будто делая важные подсчеты. И Татьяна вдруг подумала, что вот идет несчастный человек, может, у него на работе неприятности, или устал, или что-нибудь болит, он идет к себе домой, на пустую кухню, где на плите стоит кастрюля со вчерашними макаронами, в пустую комнату, где на полу лежат брошенные с вечера носки, в пустую жизнь, где его никто не ждет. И стало жалко — так жалко этого человека, что захотелось подбежать к нему сзади, встать на цыпочки и обнять за поникшую шею.

— Он кто?

— Изя. Ринкин отец.

— А почему мы прячемся?

— Да ну, увидит, обрадуется, потащит обратно.

— А мы обратно не хотим?

— Нет, мы обратно не хотим. Мы хотим вылезти из-за водосточной трубы и проследовать в кинотеатр «Перекоп». Ты как, не против?

— Он кем работает, этот Изя? — спросила Татьяна, когда они вылезли из-за водосточной трубы и проследовали в кинотеатр «Перекоп».

— Владелец заводов, газет, пароходов. А точнее — директор галантереи. Большой человек!

— Директор галантереи? В Харбин ездит? Зачем?

— Да никуда он не ездит?! Это Капа выдумывает, надувает щеки.

— А он ее любит?

— Кого?

— Рину.

— Любит — не любит, плюнет — поцелует... — пропел Леонид. Разговоры про Рину уже порядком ему надоели. Он не понимал Татьянинного интереса ко всей этой семейной мелочовке. А ей было интересно — ой как интересно! — Любит, конечно.

— Может, она потому и злится, ну, Капа? — задумчиво сказала Татьяна.

— Может, и так, — легко согласился Леонид. — Она ей не удалась, вот что. Она думала — будет девочка-куколка, как она сама, а вышла Рина.

— Ага, а куколка потом бы выросла и дала маме сто очков вперед. А маме это надо? Нет, она ее не за то не любит.

— А за что?

— Она недобрая, Рина. А ее все жалеют. Ее жалеют, а Капа ревнует. Ей же, наверное, надо, чтобы ею восхищались. Она ведь у вас чужая в семье? Да? Ее Изя, наверное, откуда-нибудь привез, из другого города, — начала фантазировать Татьяна. — Была девушка такая

хорошенькая, он влюбился, он же не знал тогда, что из нее выйдет Капа с бантом на попе, думал, подруга жизни, ну вот, привез в Москву, показал родне, а ее не полюбили. Вот она и бесится. Так?

— Примерно так, — медленно проговорил Леонид. — А ты ничего, подруга жизни. Я думал, манная каша, а ты ничего, — и засмеялся.

— Дурак! Ты меня слушай! Я умная!

— Ну вот еще! — Он остановился и повернул ее к себе. — Умный у нас я. Договорились?

— Договорились! А я?

— А ты существо женского пола, наделенное не умом, а интуицией. Интуиции у тебя хоть отбавляй! Годится?

— Ну, как тебе сказать! Приходится брать, что осталось!

О даче были известны три вещи. Первая — что находится она в Мамонтовке. Вторая — что принадлежит Мишиным родителям. Третья — соседи Кошкины проделали дырку в заборе и повадились лазать к ним на участок, воровать яблоки. С этими соседями Кошкиными давно пора поговорить по-свойски, и если он, Миша, этого не сделает, то она, Ляля, умывает руки, и больше ноги ее на этой даче не будет, потому что она, Ляля, уже и так Фигаро — здесь, Фигаро — там, и хватит, и больше она этот вопрос поднимать не собирается, и если он, Миша, не в состоянии починить колонку, то она, Ляля, не собирается таскать воду за три километра, нет уж, дудки, в прошлом году и так бегали за молоком на станцию, а молочница что, молочница молодец, если молочнице не платить, так она и ходить не будет, и если в это воскресенье он, Миша, не соберет всех и не отправит немедленно на сельхозработы, и если они не вскопают грядки, то она, Ляля, расставит раскладушку и будет лежать весь день пузом кверху, наслаждаться жизнью, и хорошо, и пожалуйста, и обходитесь без обеда, если хотите, потому что как приезжать дурака валять, это каждый готов, а как работать, так никого поблизости не наблюдается, и все, и разговор окончен, и — хлоп по столу короткопалой ладошкой. А больше Татьяна про дачу ничего не знала.

— И Арика? — покорно спросил Миша.

— И Арика!

Так и поехали.

Встречались на вокзале. Рина уныло стояла в сторонке, катала носком ботинка камешек. Арик в лихо заломленной кепчонке травил анекдоты. Анекдоты были смешные, рассказывал Арик мастерски, но Татьяне отчего-то казалось, что только что при ней сказали гадость. На Татьяну Арик поглядывал круглыми острыми коричневыми глазками, щурился, подмигивал и растягивал в улыбке узкие губы. Татьяна отворачивалась, пряталась за Леонида. Рядом с Риной стояла высокая девушка в совсем не дачном платье с широкой полосатой юбкой и очень узким лифом. И Татьяна подумала, как бы в такую жару девушка в этом платье не задохнулась. Платье было красивое, а девушка — не очень. Если честно, совсем никуда. Девушка была с носом. В прямом, разумеется, смысле. Этот нос заслонил Татьяне все остальные впечатления от поездки на дачу. Она не знала, что бывают такие носы. Она смотрела на нос и думала, что если бы у нее был такой нос, то ей, Татьяне, наверное, уже не понадобилось бы платье с широкой полосатой юбкой и узким лифом. Девушка глядела свысока, улыбалась одними губами, протягивала пальчики с искусно

выделанными ноготками:

— Алла! А это мой брат... — и оборачивалась к высокому молодому человеку с таким же носом.

Имени брата Татьяна не запомнила. Это имя было ей ни к чему. Ей и так уже было «немножко хватит», как сказала бы Ляля.

— А вы в этом платье на даче работать собираетесь? — спросила Татьяна, и девушка засмеялась. Засмеялась обидно, как будто Татьяна сморозила глупость.

— Аллочка у нас работать не собирается. Аллочка у нас по части эстетического наслаждения, — сказал Леонид, и Татьяна с удовольствием увидела, как Аллочка краснеет. — Знакомься, Витенька и его новая девушка. Новая ведь, правда?

Витенька показывал кулак, фыркал и мотал кудрявой головой. Витенька был кукольный, девчачий, с округлыми движениями, округлыми пунцовыми щечками, округлыми линиями почти женского задика. И говорил Витенька округло, как-то по-женски растягивая слова. Говорил о какой-то премьерке в театре — Татьяна не запомнила, — говорил долго, почти всю дорогу, вытаскивал из женской маленькой сумочки программку, отчеркивал ногтем фамилии знаменитых актеров, наклонялся к своей девушке округлой щекой.

— Изумительно! — говорил Витенька, и действительно получалось, что изумительно. Так изумительно, будто по всему вагону рассыпали мешок изюма. Рот Татьяны наполнялся сладкой слюной, и нестерпимо хотелось соленого огурца. — Вот и Маргоша говорит — изумительно! Да, рыжий? — И он трепал Маргошу по рыжим кудряшкам.

Маргоша кивала и глядела на Витеньку влюбленными глазенками. Рина сидела, низко опустив голову. Алла смотрела в окно. Арик и Аллин брат курили в тамбуре. Время от времени оттуда слышались короткие Ариковы всхрапы.

— Я послал мамочке программку! — заливался Витенька. — Я всегда посылаю мамочке программки в письме. Вы знаете, это очень важно, чтобы не разрывалась та связь, которая много лет питала людей нежностью и любовью! Я мамочке все пишу, буквально все, каждую мелочь, делюсь своими мыслями, наблюдениями, планами, своими печальями и радостями, как будто мы до сих пор живем в одном доме! — строчил Витенька.

— А как же... программка... вот же она... — И Татьяна кивнула на программку, которую Витенька крутил в руках.

— А Витенька у нас всегда покупает две программки, специально, чтобы не прерывалась связь поколений, — насмешливо сказал Леонид.

— А мамочка у вас где?

— А мамочка у него в Загорске, восемьдесят км от Москвы, электричка с Ярославского вокзала. Ты у мамочки давно был, Витенька?

Витенька надулся и замолчал.

Ляля с Мишей встречали их у калитки.

— Ну наконец-то! — крикнула Ляля, заведя в конце просеки медленно бредущую компанию. — Сидим тут со вчерашнего вечера, как два сыча! Поговорить не с кем!

Дача была удивительная. Такой удивительной дачи Татьяна еще не видела. Собственно, она никакой дачи еще не видела. Был дом в деревне под Ивановом. В доме жила мамина сестра-двойняшка с мужем-алкоголиком и девятью детьми. Дом стоял на пустой пыльной деревенской улице. В доме была русская печь, в которой мылись по субботам, и Татьяна тоже мылась, когда — маленькой — приезжала на лето к маминой сестре. В печи было жарко и страшно. Вылезая, Татьяна обязательно мазала сажей правый бок, и его оттирали

жестким серым полотенцем. После мытья в печи пекли ватрушки. Такие ватрушки в Москве Татьяна ни разу не ела. Ватрушки были не пышные, не сдобные, а какие-то рассыпчатые, со слегка суховатым творогом. Еще в доме был хлев. Из сеней в хлев вела маленькая дверца. Татьяна открывала дверцу, маленькая козочка Пеструшка бросалась к ней и терлась о ее ноги, как котенок. Татьяна Пеструшку гладила и шла к ее маме — козе Дуньке. Дунька давала подергать себя за сиськи, и один раз Татьяна даже надоила целое игрушечное жестяное ведерко с бабочкой на желтом боку. Братьев и сестер она не помнила. Помнила только, как однажды шли из леса и один из братьев посадил ее, уставшую, на телегу с сеном. Татьяна лежала на сене, жевала травинку и глядела в небо. Такого синего неба у нее потом не было ни разу.

Здесь все было другое. Дом — старый, двухэтажный, опоясанный верандами, похожими на гигантские аквариумы. Зеленый дом, на котором давно облупилась краска. Миша за домом не следил, а родители его сюда лет десять как не приезжали. Миша был поздний. Когда он родился, отцу было под шестьдесят, а матери — за сорок. После Мишиного рождения мать оглохла, надела слуховой аппарат, сразу поседела и превратилась в старушку. На улицу она давно не выходила. Отец, с такими же, как у Миши, маленькими золотыми очками на таком же тонком горбатым носу, не отходил от нее ни на шаг. Каждое воскресенье Ляля с Мишей тащили на другой конец города сумки с продуктами, вооружившись мочалкой и мылом, скребли старые тела и старые стены. Однажды Татьяна поехала с ними. Мишин отец сидел на краю кровати, бессильно свесив руки, бессмысленно глядя в пространство бледно-голубыми слезящимися глазами.

— Ну что вы в самом деле! — как всегда, не сказала, а крикнула Ляля. — Что вы такой грустный?

— Грустный? — переспросил тот, будто не расслышав, и слегка пожал плечами. — Я не грустный. Я просто не танцую.

Дом открылся Татьяне не сразу. Дом прятался за кустами барбариса, за сиренью, за старыми белеными яблонями, чьи пригоршни были полны яблок, за соснами, за поворотами дорожки. Дом таился от нее, а она таилась от дома. Пока шли по дорожке, она смотрела куда угодно — в сторону, в небо, под ноги, — смотрела специально безразличным взглядом, как будто боялась увидеть этот дом, как будто чувствовала, что влюбится в него раз и навсегда, и наотмашь, и на всю жизнь! Влюбится в дом, на который у нее никогда не было, нет и не будет никаких прав.

По темной крутой лесенке Ляля повела ее наверх, на террасу, залитую уставшим распаренным августовским солнцем. Распахнула окна. Яблоня протянула ветки и коснулась Татьяниной щеки шелковой яблочной шкуркой. Ляля сорвала яблоко и сунула Татьяне в руку.

— На! Ешь! Не бойся, мыть не надо.

Татьяна откусила розовый бок, покрытый крошечными коричневыми веснушками. Наверху, на сосне, выстукивал дятел. Сосны, облитые солнцем, кивали ей макушками. «Люблю!» — подумала Татьяна и засмеялась.

— Ну давай, смейся, осваивайся, а я пошла, мне обед готовить на всю ораву, — сказала Ляля и побежала вниз.

Татьяна видела, как мелькает в кустах ее красный ситцевый сарафан. Арик с Аллиным братом сооружали мангал из кирпичей. Миша и Леонид возились около колонки. Алла, вытянувшись в струнку, сидела на скамейке. Рина копалась в огороде — собирала зелень для

обеда. Ляля чистила картошку. Витенька крутился возле Ляли, лез под картофельные очистки, трещал что-то о мамочке. Маргоша с обожанием смотрела на него. Ляля энергично сбрасывала очистки с ножа, стараясь попасть прямо в Витеньку. «Люблю!» — еще раз подумала Татьяна и стала спускаться.

Она шла по тропинке между барбарисовых кустов в малинник. Малинник был запущенный, малина — мелкая, редкая, но отчего-то — может, оттого, что никто ею не занимался и она росла себе на воле в свое удовольствие, — сладкая.

— Пойди, — попросила Ляля, — собери кружечку. Сделаем бланманже.

— Бланманже — это что? — спросила Татьяна, и они засмеялись, вспомнив, как она с теми же интонациями спрашивала про Арика: «А вот этот — этот что?»

— Бланманже — это когда ягоды перетирают с сахаром. Воздушный мусс. Тебя устраивает?

— Меня все устраивает, даже бланманже.

Она шла по тропинке, помахивая кружечкой. Сзади раздались шаги. Кто-то протянул травинку и пощекотал ей нос. Татьяна чихнула и оглянулась. Арик стоял улыбаясь, широко расставив ноги и сияя коричневой лысиной.

— Попалась? — спросил он ласково.

Татьяна попятилась и как щитом загородилась кружечкой.

— Попалась, глазастая, — с удовлетворенным вздохом констатировал Арик и протянул к ней руку.

— Т-ты что? Что т-тебе? — Татьяна заикалась от страха и ненавидела себя за это заикание.

Арик ухватился за ее плечо, потянул себе, наклонился к самому лицу. Растягивались в улыбке узкие губы. Близкими сияла на солнце лысина. «Сатир!» — подумала Татьяна и тут же удивилась. Слова «сатир» не было в ее лексиконе, но именно оно, вернее, удивление тому, что оно вдруг пришло ей в голову, придало Татьяне смелости. Она подняла кружечку и треснула Арика по лысине. Арик выругался, схватился за голову, развернулся и побежал прочь. Татьяна стояла оглушенная, как будто это ее только что ударили по голове. Кружечка выпала из рук и теперь валялась на земле, выглядывая из травы отбитым синим эмалированным боком. «Может, я ему тоже отбила кучочек лысины», — подумала Татьяна, глядя на кружечку. В кустах раздался шорох. Кто-то пробирался в сторону кухни. Татьяна увидела, как в листве мелькнуло коричневое школьное платье.

Потом сидели у костра, ели шашлык, сооруженный Ариком и Аллиным братом. Арик супил брови, вертел кривым носом, потирал лысину.

— У тебя платье испачкано, — вдруг сказала Рина, легонько дотрагиваясь до Татьяниной руки. — В малиннике была?

И Татьяна с ужасом подумала, что Рина расскажет Леониду о том, что видела в кустах.

Всю дорогу домой она ругала себя за этот ужас. Что, собственно, видела Рина? Как Арик тянул ее к себе? Как она треснула его по голове?

— Ты знаешь, а ко мне... — начала она и остановилась. Было гадко и стыдно, как будто она сама спровоцировала Арика, подала ему знак своим походом в малинник.

— Что? — спросил Леонид.

— Ко мне брат, наверное, придет из деревни. На свадьбу, — быстро соврала она.

На вокзале в Москве немножко постояли под фонарем, поболтали и стали расходиться.

— Всем спасибо! Все свободны! — объявила Ляля. — До следующей гауптвахты! —

обняла Мишу за шею, и они зашагали прочь.

— Я с вами! — крикнул Арик, сбил на затылок кепочку, сунул руки в карманы и, насвистывая, двинулся за ними. — Ночевать у вас буду, вот так! Общежитие надоело — сил нет!

Рина молча повернулась и растворилась в темноте. Алла церемонно протянула Татьяне и Маргоше лапку с ноготками:

— Очень приятно было познакомиться.

— И мне тоже очень... приятно, — пробормотала Татьяна.

Алла шла как по струночке. Так же, по струночке, за ней шел брат. Витенька помахал рукой и подхватил Маргошу. Татьяна смотрела им вслед: Витенька шел слегка кланяясь, шепча что-то Маргоше на ухо, на углу остановился, оглянулся, еще раз помахал рукой и поклонился, как будто сделал книксен.

— Как ты думаешь, он на ней женится? — спросила Татьяна.

— Кто? Витенька? На Маргоше? Смешная ты! — И Леонид повел ее домой.

В девятиметровой комнатке на Плющихе, стоя за дверцей открытого шкафа, Алла снимала платье. У окна брат раскатывал на полу матрас. Из угла, из-за высокой китайской ширмы, раздался скрип, тяжелый вздох, звон склянок. Запахло валерьянкой.

— Алла!

— Да, мама?

— Ну как? Хорошо съездили?

— Хорошо.

— Витя был?

— Был.

— Один?

— Нет.

— Он заходил вчера вечером.

— Он к тебе часто заходит, — ровным голосом сказала Алла и аккуратно повесила платье.

Тапки. Полотенце. Кусочек земляничного мыла в пластмассовой мыльнице, хранящийся в тумбочке у кровати, подальше от соседских рук. Она тихонько приоткрыла дверь и выскользнула в коридор. Включила свет в кухне. Пустила воду. Наклонилась над разбитой раковиной в плевках и потеках ржавчины. Намылила розовые подкрашенные щеки, розовые подкрашенные губы, тщательно, стараясь не попасть в глаза, смыла краску с бровей и ресниц. Плеснула в лицо пригоршню ледяной воды. Подняла голову, посмотрела в треснувшее зеркальце, покрытое мыльной патиной. Провела пальцем по носу. Старуха Макеевна, проходя мимо, заглянула в кухню, увидела Аллу, глядящую в зеркало, ухмыльнулась, протянула цепкую паучью лапку и погасила свет.

Витенька довел Маргошу до подъезда, остановился и слегка попридержал ее за талию.

— Пойдем? — спросил он почему-то шепотом.

— Пойдем, — шепотом ответила она.

— Через черный ход?

— Через черный ход.

Они быстро проскочили двор, завернули за угол, подбежали к железной двери,

отодвинули засов, с трудом откатали тяжелую створку, протиснулись внутрь. Осторожно, на цыпочках начали подниматься. На лестнице пахло гнилой картошкой.

— Не упади, — прошептала Маргоша, — тут очистки.

Витенька провел рукой по ее спине и поцеловал в шею, туда, где растут самые нежные волоски. На последнем этаже Маргоша остановилась, достала ключи и, зажав в кулачке всю связку так, чтобы не звякнуло, не брякнуло, вставила ключ в замочную скважину. Дверь открылась тихо. Маргоша еще утром смазала петли подсолнечным маслом. В трехметровом пространстве — отгороженном куске лестничной клетки — стояла кровать под ватным лоскутным одеялом. Витенька вдохнул запах гнилой картошки и повалил Маргошу на кровать.

— Сколько... сколько тут у тебя... — судорожно шептал он, и руки его прыгали по Маргошиной спине, — сколько тут пуговиц...

Маргоша ласковым, но твердым движением отодвинула Витеньку, ловко вылезла из платья, сняла лифчик и стала расстегивать Витенькину рубашку. За стеной что-то громыхнуло, послышались крики, сдавленное ругательство, и дверь распахнулась.

— П-п-оздрв-в-ляю! М-моя д-дочь п-п-рститутка! — раздался хриплый голос.

Витенька дернулся и вскочил. На пороге стоял мутноглазый мужик с лицом, похожим на старый кусок бурого хозяйственного мыла. Клочки седой свалывшейся шерсти торчали из грязной драной майки. Мужик покачнулся. Пахло перегаром и тяжелым застарелым потом. Глаза мужика постепенно наливались кровью.

— А т-ты! — Мужик ткнул в Витеньку грязным пальцем с обгрызенным ногтем, упал на колени и повалился грудью на кровать. — А т-ты... — И он захрапел в Витенькину рубашку.

Витенька выдернул рубашку из-под мужика, выскочил на лестницу и, прыгая через очистки, помчался вниз.

Арик сидел на Ляли-Мишином широком подвальном окне, лихо заломив кепчонку и болтая босыми ногами. Ляля разливала чай.

— А Танька эта... — Арик замолчал.

— Что Танька?

— Танька эта — огонь девка! — Арик ухмыльнулся, подмигнул и облизнул узкие губы. — Это я вам верно говорю!

Ляля плеснула кипятком на скатерть.

— Заткнись! — зло сказала она, стукнула чайником об стол, большими мужскими шагами двинулась в соседнюю комнату и принесла оттуда подушку. — Иди! Вот твое место! — и кинула подушку на диван.

Арик слез с подоконника, прошлепал к дивану, лег, заложил руки за голову.

— Н-да... — как бы про себя прошептал он. — Кто б мог подумать! А на вид такая тихоня! Повезло Леньке! — и закрыл глаза.

За две недели до свадьбы стало ясно, что знакомства не избежать. Глупо было и оттягивать. Татьяна этого знакомства и боялась, и ждала. Это как с дорогой. Хорошо бы сразу очутиться на месте, избежав тягот пути. Татьяна, никуда толком не выезжавшая, разве что в деревню под Иваново, да и то, когда маленькая была, так и подумала: «Хорошо бы сразу очутиться по ту сторону реки!» Будто чувствовала, что переправа трудная. Ляля нашептала, что Марья Семеновна к знакомству готовится, как «отличник боевой и

политической подготовки», и за два часа очереди в 40-м гастрономе выстояла торт «Полет». Ляле было легко шептать. Знакомство задевало ее исключительно по касательной. Мать тоже продумала все до мелочей: пришила новый воротничок к синему платью, ну, к тому, в мелкий беленький цветочек, еще от бабушки осталось, до войны шили, а потом соседка, Кузьминишна, перешивала на мать, когда бабушка умерла, неужто не помнишь? Из буфета специально по такому случаю была вынута баночка смородинового варенья. Татьяна пискнула было, что, мол, у Марьи Семеновны своего варенья полно, даже засахаривается, но мать цыкнула, и Татьяна замолчала. Переминаясь в нетерпении с ноги на ногу у двери, она глядела, как мать у зеркала зашпиливает на затылке тощие седоватые косицы. Зашпилила, пригладила двумя руками волосы — ото лба, назад, — подумала, распустила и снова принялась зашпиливать. Вышло еще хуже.

— Мама! Опоздаем! Неудобно!

Мать посмотрела из-за плеча, и Татьяна опять замолчала.

Наконец, пошли.

Марья Семеновна встречала их в своей вышитой блузке с воротничком апаш. Татьяна уже знала — парадной. Когда они вошли, быстро поднялась из-за стола, вынула папиросу, крепко, по-мужски, постучала ею о портсигар, сунула в рот, так же быстро, крепко, по-мужски пересекла комнату и протянула матери широкую ладонь.

— Марья Семеновна!

— Евдокия Васильевна! — стертым бумажным голосом сказала мать, сложила пальцы дощечкой, сунула Марье Семеновне и поджала губы.

И три окна во дворик с акацией, и белая изразцовая печь, и оранжевый абажур, и круглый стол в абажурном апельсиновом свете, и торт «Полет», похожий на весенний разворошенный сугроб, и дубовые шкафы, набитые книгами, и хрустальные вазочки для варенья, и кипяток в фарфоровом чайнике с диковинной птицей на толстом боку, и то, как Марья Семенова стучит папиросой, и Ляля стреляет украинским глазом и быстро-быстро что-то лопочет, и смеется Леонид, и Миша посверкивает золотыми очками, и все они смотрят на Татьяну и любят ее этими взглядами — все-все-все было матери неприятно. Татьяна это точно знала. Знала по пальчикам, сложенным дощечкой, по поджатым губам, по бумажному голосу, по тому, как поворачиваются на сухой шее щепотью зашпиленные косицы. Знала, и все. И не спрашивайте откуда. Знала с того момента, как Марья Семеновна вытащила первую папиросу. Мать-то сама никогда не курила и к курящим женщинам относилась с каким-то упорным недобрым предубеждением. «Чужие», — говорила мать всем своим видом. И фарфоровый чайник, и варенье в хрустале, и белые изразцы, и книги на дубовых полках — чужое, чужое, чужое... И любовь к ее девочке — чужая любовь. Эту любовь чужих людей мать ей не прощала. Она оглянулась на Татьяну, взглядом давая понять, что нашла подтверждение своим нехорошим предчувствиям, но наткнулась только на Лялин любопытный глаз.

— Вот! — сказала бумажным голосом и вытащила баночку смородинового варенья. — Мы на дачи, конечно, не ездим! В магазине ягоды покупаем. А все равно свое! Сама варила!

Марья Семеновна баночку взяла, перелила варенье в высокую вазу, поставила в середину стола, и Татьяна увидела, как мать слегка улыбается уголками губ и, как бы спохватившись, отирает уголки кончиком крохотного носового платочка. «Может, обойдется!» — подумала Татьяна и села за стол. Ляля устроилась к ней под бок, обняла одной рукой, другой подсунула блюдце с тортом. Татьяна помотала головой, блюдце

отодвинула и крепко ухватилась за Лялину ладошку. Марья Семеновна курила, стряхивая пепел в чашку.

— Значит, решили наши дети пожениться, Евдокия Васильевна, — сказала Марья Семеновна, гася папиросу.

— Ну что ж, — ответила Евдокия Васильевна, прихлебывая чай из блюдечка, — видно, никуда не деться.

— Никуда, — согласилась Марья Семеновна.

— Раз иначе-то нельзя, — заметила Евдокия Васильевна и поджала губы.

— Нельзя, Евдокия Васильевна.

— Ну, им решать, им решать, Марья Семеновна.

— Комнатка у них будет хорошая, шесть метров. Ляля с Мишей съехали недавно, свою жилплощадь получили, так вот, комнатка теперь освободилась. Хотите посмотреть?

— Да чего уж там... А ребеночка у вас нет? — спросила Евдокия Васильевна, поворачиваясь к Ляле.

— Нет. — Ляля встала и потянула за собой Татьяну. — Пойдем фотографии посмотрим. Они тут сами, без нас...

— Это я к тому, чтоб потом без претензий, насчет комнатки-то! — крикнула им вслед мать.

Чужие фотографии Татьяна любила. Ей не нужно было делать специально заинтересованное лицо, говорить специально приподнятым голосом дежурные слова восхищения. «Ну надо же, какой мальчик! Чудо! Просто чудо! Что вы говорите? И головку уже держит? А это что за прелесть такая? Неужели наша Лидочка! Нет, нет, это не ребенок! Это картинка! А волосики? Вы видели где-нибудь еще такие волосики? Да-а. Тетя Рая совсем не изменилась. Такая же красавица, как была. И дядя Лева... Ах, это не дядя Лева...» Быть может, оттого, что своей жизни было у нее так мало, потрескавшиеся картинки с чужими пыльными лицами Татьяна воспринимала как пропуск в незнакомую — странную, желанную, неизведанную, недостижимую, загадочную, какую хотите — жизнь. Но сейчас! Но сейчас здесь, за этим столом, под этим абажуром, окунувшим оранжевый глаз в блюдечко с вареньем, происходили события ее, личной, Татьяниной жизни. И от того, что скажут друг другу эти две незнакомые до этой встречи женщины, зависело ее, личное, Татьянино будущее. А Ляля тащила ее прочь. Она шла озираясь, будто прощалась навсегда с этой комнатой и с этими людьми за столом, застывшими, как скульптурная композиция. А Ляля все тащила ее за руку и что-то бормотала, мол, «они тут сами, без нас...», и она шла все медленней и медленней, и, наконец, дверь маленькой комнаты закрылась за ней. «Как они там без меня?» — подумала Татьяна и опустилась на стул.

В комнатке, уже слегка одичавшей после Ляли-Мишиного отъезда, из ящика комода был вытащен большой бархатный альбом, где, как в заветном ларце, хранились в картонных гнездышках семейные реликвии — фотографии.

— Вот это харьковские. Смотри, Ленька в помпонах, — говорила Ляля, вытаскивая фотографии и подсовывая их Татьяне.

— В помпонах... — рассеянно повторяла Татьяна, прислушиваясь к тому, что делается за дверью.

— Ну, в шубе с помпонами.

— А вы что, в Харькове жили? — вяло переспрашивала Татьяна. Из-за двери не доносилось ни звука.

— Да, до войны. Папа там работал. Большим начальником, между прочим. Что-то там в райпотребсоюзе. Мы там Леньку забыли.

— Леньку забыли... Как это забыли? — чуть-чуть оживилась Татьяна.

— А, ерунда! Потом спохватились, на вокзале. Мама как закричит диким голосом: «А Ленька-то! Ленька!» И обратно, домой.

— Как же вы так... Леньку забыли...

Из-за двери послышался звон чашек, потом задвигали стульями, заговорили. Татьяна услышала, как Марья Семеновна подает команды хорошо поставленным баском, как сухим бумажным голосом отвечает ей мать.

— Это когда папу должны были арестовать, — нехотя проговорила Ляля. — Его предупредили за час, позвонил кто-то, сказал: «Едут!» — и повесил трубку. Мама упаковала Леньку в одеяло, бросила на кровать, документы схватила, шубу кроличью, ложки, меня и — на улицу. Там уже папа ждал, с машиной. На вокзале глядят — некомплект. Помчались обратно. Прибегают, а он спит. Даже не шелохнулся. А через сутки мы уже в Москве были, у дяди Изи.

— А в Москве что, не арестовывали?

— В Москве арестовывали, только не нас. У них там на папу разнарядка была... местного значения. — Ляля вынула из гнездышка фотографию и протянула Татьяне. — Вот, гляди. Папа. Ленька на него очень похож. Улыбка у них одинаковая.

Татьяна поглядела. На фотографии, опершись рукой о стул, стоял Леонид в старомодном двубортном костюме и вышитой украинской рубахе, улыбался своей скуластой улыбкой. Татьяна приблизила фотографию к глазам, увидела маленькую родинку в уголке глаза, чуть выщербленный передний зуб и окончательно поверила; что это не Леонид. На стуле, неестественно выпрямившись, сидела Ляля в старомодном платье с ватными плечами и рукавами буф. Тяжелые косы были короной уложены вокруг головы. Ляля глядела строго, так, как никогда не глядела в жизни, и Татьяна окончательно поверила, что это не Ляля.

— А он как... умер... папа?

— Пришел на работу и умер. Мужская смерть, — почти сердито сказала Ляля. — Ты знаешь... я папина дочка была. — Она взяла фотографию из Татьянинных рук и легонько провела по ней пальцами.

И по тому, как она погладила мертвое лицо, Татьяна поняла, что в этой огромной многоголосой семье, где каждый каждому — и сват, и брат, и тетка, и дядька, и племянник — рядом с Лялей всегда будет пустое место. И никогда не зарастет. И никогда не заживет.

— Ну, пошли! — сказала Ляля, захлопнула альбом, вскочила и сунула его в комод. — Они там, наверное, уже договорились.

— О чем?

— О свадьбе, глупенькая!

Договорились так: Марья Семеновна делает стол в соседней диетической столовой, Евдокия Васильевна шьет платье и дает кое-что по хозяйству.

Всю дорогу домой мать поджимала губы.

— Возьмешь простыни и ложки, те, что от бабушки остались. Серебряные, — наконец сказала она, когда они входили в подъезд, и снова поджала губы.

— Может, простыни не надо? — прошептала Татьяна. Ей почему-то было стыдно говорить о простынях и самих простыней — белых, уже истонченных временем, с жирной фиолетовой меткой прачечной — тоже было стыдно.

— Надо! — отрезала мать. — Чтоб не думали... А стол... Ты не переживай, что стол на них. У них одной родни целая орава. Набегут. А мы с тобой вдвоем. Много ли наедем!

— Еще Тяпа.

— Еще Тяпа, — согласилась мать.

Тяпа — Татьянанина школьная подружка — должна была выполнять роль свидетельницы. Сейчас Татьяна уже жалела, что ляпнула Тяпе про свадьбу. Сейчас ей уже хотелось, чтобы свидетельницей была Ляля. Но это не вписывалось ни в какие традиции.

Дома мать расшила косицы, сняла платье — синее, в мелкий беленький цветочек — и легла в постель. Татьяна тоже улеглась. Лежали молча.

— Мам, — наконец тихо окликнула Татьяна. — Они тебе что, не понравились?

— Понравились — не понравились... Как же ты, девка, жить-то собираешься?

— Как все, мам.

— Как все... Другие они. Воспитание у них другое. И обстановка. Варенье вон из вазы едят. И потом, эти... традиции. Евреи они, одно слово.

— Арон Моисеич тоже еврей, а ты с ним дружишь. За солью к нему бегаешь.

— Арон Моисеич — сосед. А тут муж. И главное, родни-то, родни! Просто не знаешь, куда деваться!

Мать тяжело вздохнула и отвернулась к стене.

— Поехали! — сказала Ляля. — Поехали в одно чудное местечко.

Под чудным местечком подразумевался салон для новобрачных, только что открытый на одной из московских окраин. Ехали долго, с пересадкой на «Площади Революции», потом автобус, потом пешком, потом — «Ты пригласительный не забыла?» — «Забыла, забыла!» — «Ну как же ты так! Растяпа! Ну, посмотри в сумке! А в кармане? Ну вот же он, у тебя в руке!» Смятый картонный квадратик с двумя пересеченными кольцами. Татьяна гладила кольца рукой и подносила к безымянному пальцу.

— Лялька, какое лучше — толстое или тонкое?

— Среднее.

— Я серьезно! А платье — длинное или короткое?

— Среднее.

— Я серьезно!

Платья были длинные. И короткие. И средние. Ляля носила их в кабинку по одному, Татьяна, путаясь в кружевах, оборках, нижних юбках, пуговицах и крючках, торопливо натягивала на себя, выходила, прохаживалась специальной «свадебной» походкой. Ляля качала головой и несла другое.

— Чехол! — бормотала она. — Автомобильный чехол! Никакого, черт возьми, изящества! Буквально как на похороны! Хоть и белое. Жалко, что ты не беременна!

— С ума сошла? Почему?

— А-а! Тогда бы нам было все равно!

— А по-моему, вот это ничего.

— Ничего! Ты сколько раз собираешься замуж выходить? Один? Или моему драгоценному братцу досталась брачная авантюристка?

— Один, один, не волнуйся!

— Тогда при чем тут «ничего»? Передевайся! Пошли!

— Куда?

— Откуда! Отсюда!

— А фата?

— Фата? — Ляля на секунду задумалась. — Фата тебе вообще не нужна. С таким лицом

— и фата! Не будем опошлять прекрасное, деточка!

— Ну, раз прекрасное, тогда не будем. А куда мы идем?

— Купим золотой парчи, затайем талию в рюмочку, сзади — хвост. Или ты хочешь бант?

— Мне все равно.

— Значит, хвост. Хвосты в хозяйстве — незаменимая вещь. Особенно для женщины. Юбка пышная, вырез — каре, накидка из той же ткани. Годится?

— Годится. Кто шить будет? Ты?

— А вот грубостей не надо! Найдется кому сшить.

И они купили золотой парчи, и серебряной тоже — на отделку хвоста, — и золотые туфельки, и спустились в метро, и долго-долго блуждали по переходам, и выскочили наверх, и понеслись по улице Горького, и заскочили в темный двор, и по темной широкой лестнице поднялись на последний этаж большого темного дома, к женщине в красном шелковом халате с золотыми драконами, к женщине с густыми черными сросшимися бровями и такими же густыми черными усами (казалось, что лицо ее можно перевернуть и тогда усы станут бровями, а брови усами, но в сущности ничего не изменится), к женщине с тонкой папироской в длинном янтарном мундштуке, которая варит кофе с корицей и говорит Ляле: «Лю-ю-шенька! Что же вас так давно не было! С вашей-то фигурой и так о себе забывать!», к женщине, живущей в компании шести манекенов с отрезанными головами — «Вот, полюбуйте! Дружки мои! Гильотинированы на фабрике по всем законам портняжного искусства!», — к женщине с легкими острыми пальчиками, пробежавшимися по Татьяне, как по клавишам рояля, — «О! Вот это талия! Давненько таких не встречала!». К Женщине!

— Подружка моя! Каринэ. Лучшая портниха Москвы и Московской области. Правда, Карочка? — И Ляля целует Карочку в горбатый нос и сует ей коробку зефира в шоколаде. Карочка краснеет от удовольствия. — Братец мой, Ленька, надумал жениться. Вот, привела невесту. Красавица? Нет, скажи, красавица? — И Ляля хвастливо выталкивает Татьяну вперед, как будто это ее, личная, Лялина заслуга, что Ленька выбрал такую красавицу.

— Красавица, красавица, — кивает Кара, берет Татьяну двумя пальцами за подбородок и бесцеремонно разглядывает: чернильные глаза в черной бахrome ресниц, тонко очерченные брови, очень прямой, очень короткий нос, большой, слегка расплывчатый рот, готовый сложиться в неуверенную улыбку. Гладит по каштановым волосам. Брови и глаза у Татьяны черные, а волосы — на тон светлее. — Раздевайся, красавица.

Татьяна раздевается. Раздеваться неловко. Неловко своего бедного штопаного белья, неловко глядеть на красный халат в драконах, вдыхать запах корицы, неловко, что Ляля называет эту большую усатую женщину «подружка моя!». Татьяна никогда бы не смогла назвать портниху «подружка моя!». Не из снобизма. О нет! Снобизма в ней не было никогда. Откуда ему взяться, снобизму-то? Напротив. Портниха — это существо из какого-то другого, взрослого, высшего мира. Это не для нее. Или для нее? Татьяна неожиданно ощущает свою причастность к чему-то большому, незнакомому, очень важному и очень желанному — женскому, но тут же пугается, сама себя одергивает и сама себя тихонько ставит в уголок. Оттуда, из уголка, она наблюдает, как Кара крутится вокруг нее, орудуя портновским метром, Ляля курит, сидя у окна с чашечкой кофе, — «Лялька! Ты куришь!» — «Тсс! Никому ни слова!», — наконец, отпустив ее на волю, они что-то рисуют, склонившись над клочком

бумажки — голова черная и очень черная, — Татьяне слышен только шепот: «И хвост! Не забудь про хвост!» — «Обижаешь, дорогая!» — «Значит, вырез каре?» — «Лучше трапеция». — «Ну, трапеция так трапеция! Бантик сделаешь?» — «И бантик, и розу на грудь». — «Вот розу не надо!» — «Ты с ума сошла! Как без розы замуж!» — «Как-нибудь выйдет. Ты готова? Пошли!»

Ляля целует Кару. Кара целует Лялю. Стоит в дверях, машет рукой.

— Так в субботу на примерку!

— Сколько это стоит? — спрашивает Татьяна, когда они с Лялей выходят на улицу, но Ляля беспечно машет рукой.

— Не волнуйся! Я договорюсь! Пойдем на бульвар, мороженое съедим.

Медленно, подставляя лицо под холодное сентябрьское солнце, они идут вверх по улице Горького. Пахнет осенью, и, проходя мимо арок, они чувствуют, как ветер забирается к ним под юбки, щекочет узкую полоску тела между капроновыми чулочками, туго натянутыми двумя розовыми резинками, и хлопчатобумажными трикотажными штанишками. И одной из них кажется, что ее поглаживает нежно-привычная мужская рука, а другой пока не кажется ничего. На бульваре они покупают эскимо и садятся на скамейку, подняв лицо к солнцу и устало вытянув ноги.

— Ляль, — спрашивает Татьяна, — а вы с Мишей как познакомились?

— А мы не познакомились. Я родилась, а он уже был.

— ?

— Мы же двоюродные. Ты что, не знала?

— Не знала, — отвечает Татьяна и вспоминает: «Вот мой двоюродный муж!» У нее странное чувство, будто ее поманили шоколадкой, а попробовать не дали. — Я думала, у вас любовь, — говорит она голосом обиженного ребенка.

— А у нас любовь! — Ляля смеется, кусает мороженое, мелькают сахарные зубки. — Мы знаешь как поженились? Мишка в армию уходил, на три года, на флот, ну и прихватил мою фотографию. Я его потом спрашивала: зачем прихватил-то? Не знает. Говорит, у Муси на комодке стояла, я и прихватил на всякий случай. А я так думаю — чтобы перед армейскими дружками хвастаться. Хвастался, хвастался и дохвастался до того, что один из дружков попросил списать адресок. Тут мой Мишка испугался, фотографию засунул подальше и решил, что сестричка ему самому пригодится. Вот, пригодилась, как видишь. После армии, правда, еще три года кругами ходил, но это ничего, это мы преодолели. Родители были счастливы! Что ты!

— А почему у вас детей нет? — спрашивает Татьяна.

— Был, — медленно говорит Ляля. — Был ребенок. Вернее, должен был быть. Не вышло.

Ляля поднимает прутик, чертит на песке рожицу. «Точка, точка, запятая...» — бормочет она. Татьяна отнимает прутик, пририсовывает к рожице три волосины и два огромных уха.

— Почему? — спрашивает она. — Почему не вышло? — Голос ее дрожит, а может, это дрожит воздух, прочерченный, как огромная арфа, золотыми струнами холодных солнечных лучей.

— Потому и не вышло, что двоюродные.

— А может быть... — Татьяна хочет сказать, что, может быть, надо еще раз, может быть, еще раз выйдет, может быть, ничего, что двоюродные, но осекается. Что-то в Лялином

лице говорит ей, что не выйдет. — Может, не надо было вам жениться?

— Надо, надо. У нас все так. Ты потом поймешь.

И она поняла. Потом. Брали «своих». Москва тоже играла не последнюю роль. Приезжали из провинции — Витеньки, Арики, Миша тут, конечно, не в счет, у Миши любовь, а если бы не было любви? И Миши — сильные, рослые, пронырливые, пробивные — селились у родственников, поступали в институты, слали домой фотографии, театральные программки и концертные афишки — вот, мол, мама, ваш сын (к маме, разумеется, только на «вы»!) времени даром не теряет, теперь у него новые интеллектуальные развлечения и красивые увлечения. Увлечения, надо сказать, сильно отличались от свердловских и воронежских подружек. Влюблялись напропалую, пропадали ночами, даже приводили барышень к общему родственному столу, а вот жениться... Жениться как-то не получалось. Нет, ну правда, недаром же люди говорят: «Женишься не на девушке, а на ее родственниках». А кому охота слышать за спиной жлобский шепоток: «Ключнул на московскую прописку!» Кому надо быть вечным бедным родственником из Конотопа? Кто знает, как сложится жизнь в этой бездонной, как воронка, Москве? Кто протянет руку? Поможет? Поддержит? Убережет? Только они — дядюшки да тетушки, родные и двоюродные, близкие и далекие. И накормят, и постелят, и утешат, и денег — в карман, и глаза — в глаза. А рядом подрастают тихие бледные девочки — то ли сестры, то ли невесты. Хочешь не хочешь, начинаешь поглядывать и, со всех сторон подталкиваемый руками, на которые столько раз опирался, делаешь первый шаг. В нужном, разумеется, направлении. Татьяна — бедная приبلудная овечка — через много лет попыталась составить семейное генеалогическое древо, но не смогла — так спутаны были ветви семьи, так причудливо переплетались друг с другом.

— А Витенька? — снова спрашивает она. — Как же Витенька и Маргоша? Он на ней женится?

— Женится, но не на ней.

— А на ком?

Ляля задумывается.

— А-а! — Она беспечно машет рукой. — Найдут на ком его женить! Ты, главное, за него не волнуйся!

Они молчат. Солнечный зайчик перебирается на Лялин нос. Ляля чихает. Наверху, в ветвях деревьев, вздыхает запыхавшийся ветер. Отдохнув, он срывает желтый лист и бросает к Лялиным ногам. Она наклоняется, подбирает лист, крутит в руках и втыкает в петлицу на воротнике пальто.

— А Леня? — вдруг спрашивает Татьяна.

— Что Леня?

— Леня на ком должен был жениться?

— На тебе, глупая, на тебе!

— Ну как же...

Но Ляля хватает ее за плечи, поворачивает к себе и целует, и щекочет, и тормошит, и щелкает по носу, и трется носом о ее щеку.

— На тебе, глупая, на тебе!

А платью получилось — чудо что такое! И вырез — трапеция, и крохотный бантик на поясе сзади, и накидка, отделанная серебряным кантом, и хвост — хвост, правда, вышел

маловат, Ляля по этому поводу очень сокрушилась, — и роза на корсаже — Ляля розу сорвала, сунула Татьяне в руки и велела немедленно выбросить, иначе она, Ляля, перестанет с ней разговаривать. Да, и серебряная лента. Серебряная лента, которой Ляля, как сеткой, оплела уложенные на затылке тяжелые косы. Чудо! Чудо! Такое чудо, что после свадьбы Татьяна так его ни разу и не надела, хотя собиралась — и в театр, и в гости, и мало ли куда можно надеть такое чудо! Чудо провисело в шкафу ровно тринадцать лет, пока Катька не призвала его к участию в школьном спектакле. Чудо было перекроено, перелицовано, перешито и нацеплено на самодовольно ухмыляющуюся Катьку, которая под чутким руководством учительницы труда играла королеву в «Золушке».

— Почему труда? — удивлялся Леонид. — Почему не литературы?

— Ну, папа, ну, ты что, не понимаешь? Золушка же была домработница!

А свадьбу Татьяна не запомнила. По этому поводу она предъявляла своей памяти большие претензии и как-то, через много лет, вдруг сказала Леониду:

— А давай разведемся! — и с удивлением, перерастающим в удовольствие, увидела, как сильно он испугался. — Разведемся и поженимся снова. Хочется все-таки погулять на собственной свадьбе. А то все как люди, а я как сиротинушка. Ничего не помню, как будто не было. Устроим все как тогда, а?

— Что же мы устроим, глупая! Никого не осталось...

Никого не осталось...

Закрывая глаза, она видела живые картинки, будто отпечатанные на белой стене на манер детских диафильмов. Из этих редких картинок, как из разноцветных стекляшек в калейдоскопе, складывалось главное событие ее жизни.

Татьяна видит. Она стоит у дверей в большой зал со сдвинутыми паровозиком столами. В руках у нее букет белых роз. Розы обмялись, шипы колют руки, затянутые в белые кружевные перчатки. Татьяна оглядывается, ища взглядом, кому бы отдать цветы. Находит Лялю. Ляля мелькает где-то поодаль, косит на нее быстрым украинским взглядом, подмигивает, что-то шепчет на ухо Марье Семеновне. Марья Семеновна машет рукой и громким басом отдает приказания. Ляля качает головой. К Татьяне подводят каких-то старух. Старухи целуют ее в щеку, обнимают, мнут платье, называют «деточкой», вручают пластмассовый поднос и исчезают.

— Наши двоюродные бабушки с папиной стороны, — шепчет Ляля, забирая у нее поднос.

— Ляля, Леня пропал!

— Никуда он не пропал, за желатином с Мишкой побежал.

— За каким желатином?

— За обыкновенным. Студень не застыл. Их мама в магазин послала.

— А больше никто не мог сбегать?

— Кто? Все же на свадьбе!

Татьяна видит. Витенька танцует с Маргошей. На Маргоше белое платье с красными цветами. Витенька держит ее за талию, как хрустальную вазу, крутит, кружит, бросает куда-то в сторону, ловит, опрокидывает на одно колено, смеется и, застыв с опрокинутой Маргошей посреди зала, кричит: «Горько!» Татьяна встает, беспомощно озирается.

— Ляля, Леня пропал! — шепчет она пробегающей мимо Ляле.

— Никуда он не пропал, на вокзал с Мишкой поехал.

— Зачем?!

— Тетя Соня едет из Ревды. Специально на свадьбу. Надо встретить.

К Татьяне подходит Алла с грузной носатой старухой.

— Тетя Лина, Аллина мама, — шепчет Ляля из-за спины.

— Большое спасибо! — бормочет Татьяна, принимая из рук старухи огромную напольную вазу, и с тоской думает, что если эту вазу поместить в их комнатку, то ей, Татьяне, там уже не останется места.

Алла улыбается розовыми подкрашенными губами, щурит подкрашенные глаза. Улыбка у нее как ушат ледяной воды.

— Вазу отправим на дачу, — шепчет Ляля. — Будем в ней яблоки мочить. А то девать некуда, такой, знаешь ли, урожай!

Татьяна видит. Арик встает из-за стола. В одной руке — рюмка водки, в другой — вилка с куском селедки. Арик слегка покачивается, роняет вилку с селедкой на пол и цепляется скрюченными пальцами за край стола.

— Тост! — говорит Арик и слегка икает. — Хочу тост! Хочу сказать тост за первую брачную ночь! Надеюсь, она никого не разочарует! — Арик подмигивает Татьяне, ухмыляется, опрокидывает в себя водку, руками хватая с блюда кусок селедки, засовывает в рот и облизывает узкие губы.

Татьяна видит. Они с Лялей выходят из зала. В крошечном коридорчике перед туалетом стоят Леонид и Миша. Леонид держит что-то в руках. Что-то извивается, корчится, дрыгает ногами. Мелькает коричневая лысина. Из-за плеча Леонида высовывается длинный кривой нос. Леонид размахивается.

— Это тебе за тост! — зло говорит он и бьет.

Татьяне кажется, что кусок сырого мяса шмякают об стену.

— Леня! — кричит она.

Леонид опускает руки. Коричневая лысина отползает в угол.

Татьяна видит. Ляля сидит за столом, поводит круглыми темными глазами, поигрывает резкими украинскими бровями, выстукивает ритм короткими толстенькими пальчиками, крохотным голоском, похожим на колокольчик, выпевает что-то дэмоническое. Вдруг вскакивает, выбегает на середину зала, вскидывает руки, перебирает каблучками, потряхивает плечами и выдает цыганочку с выходом. Миша выскакивает вслед за ней, подхватывает на руки, целует смеющееся лицо и так, целуя, уносит куда-то прочь.

Татьяна видит. Маленькая комнатка с горой пальто и плащей. Широко распахнутые глаза Рины — таких глаз Татьяна не видела у нее потом никогда. Рина смотрит прямо на Татьяну. В глазах — вызов и превосходство. Ноги широко расставлены. Юбка задрана. Татьяна видит белую резинку, отстегнувшуюся от чулка. Резинка ритмично бьется о Ринину ногу металлической петлей. Раз-два. Раз-два. Рина впивается ногтями в чью-то твидовую спину. Спина ритмично ездит по Рине. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Татьяне не видно, кому

принадлежит спина, но отчего-то она уверена, что коричневая лысина мелькнет сейчас из-за груди пальто и плащей.

— Вот так, — слышит Татьяна. — Вот так. И черт с вами! И с вашими брачными ночами! И...

Раздается ругательство. Рина судорожно прижимает к себе спину. Татьяна выбегает из комнатки и натывается на Лялю.

— Там... — бормочет она. — Там, в гардеробе, Рина и... и Арик!

— Ну и что? — смеется Ляля. — Тебе-то что? Он тебя хотел, а она его. Вот и получила.

Татьяна видит. Она сидит на кровати в их с Леонидом комнате. Золотое платье лежит на стуле. Волосы, как сеткой, оплетены серебряной лентой. Татьяна поднимает руки и начинает выплетать ленту из волос. Входит Марья Семеновна. На ней длинная белая ночная рубашка с украинской вышивкой по вороту. Тяжелые косы лежат на груди почти параллельно полу.

— Ложись, деточка! — говорит Марья Семеновна.

— А Леня?

— Леня сейчас придет. Надо же кому-то проводить Шуру и Муру!

— А Миша?

— Он повез Лину с Аллой. Спи!

Татьяна забирается под одеяло, отворачивается к стене и закрывает глаза.

Татьяна помнит. Скрипят пружины. Леонид ложится рядом, прижимается к ее спине, кладет руку ей на живот. Татьяна поворачивается к нему. Ей горячо, сладко и щекотно.

— Страшно? — спрашивает Леонид.

— Нет, — шепчет Татьяна.

Что-то внизу и внутри ее дрожит, пульсирует, раскрывается навстречу ему и не закрывается больше никогда.

Татьяна видит. Раннее утро. Марья Семеновна входит к ним в комнату. На ней строгий синий костюм. Волосы забраны высоко наверх. Марья Семеновна подходит к их кровати и трясет Леонида за плечо.

— Что? — бормочет Леонид и шарит рукой под одеялом, ищет Татьяну.

Татьяна забивается в уголок.

— Вставай! — говорит Марья Семеновна, поднимает с пола серебряную ленту и сует ее в ящик комода. — Михалыч приехал.

Леонид вскакивает, натягивает брюки, рубашку, сует ноги в башмаки.

— Кто? Кто приехал? — пищит из-под одеяла Татьяна.

— Михалыч. По-русски — приемщик стеклотары. Бутылки надо сдать, а то матушка знаешь какой нагоняй устроит!

— Не знаю.

— Ну, узнаешь еще. Не все сразу!

И он хлопает дверью.

— Держите! — Ляля шлепает на стол пачку бумажек. — Билеты на теплоход. До Углича и обратно. На три дня. Конечно, не медовый месяц, но все-таки свадебное путешествие какое-никакое. И заметьте, полный полупансион!

— Лялька, ты... ты... ты Новый год! А что такое полный полупансион? Я думала — или полный, или полу.

— Это значит — вот вам еще двадцать пять рублей на мороженое и прочие глупости.

Сильно не напивайтесь, знайте меру!

— Не-ет, Ляль, не надо! — Татьяна прячет руки за спину и делает шаг назад.

— Надо, надо! Свадебный подарок. Мы с Мишкой на завтраках сэкономили.

— На каких завтраках?

— На школьных, каких же еще! Особо не обольщайтесь — каюта третьего класса.

Каюта третьего класса — две полки, одна над другой, в длинном ряду таких же полок.

Справа — полотняная занавеска. Слева — полотняная занавеска. За занавесками — такие же татьяны и леониды.

— А как же мы... — шепчет Татьяна.

— Потерпим три дня? — шепчет в ответ Леонид.

— А туалет где?

— Туалет на верхней палубе.

— Шутишь?

— Ну вот еще! А что, тебе так сильно надо в туалет? Потерпишь три дня!

— А окна?

— Не окна, а иллюминаторы. В трюмах не бывает.

— Ага, значит, мы в трюме. А где разбойничий груз?

— Вот он, мой разбойничий груз!

Он хватает ее и валит на койку. Она хохочет, отбивается.

— Сумасшедший! Здесь же люди!

— Так тебе люди дороже?

— Мне репутация дороже! Я, между прочим, замужняя женщина!

— А я, между прочим, женатый мужчина!

— Вот и веди себя поскромнее.

— Женатые мужчины в командировках и отпусках скромно себя не ведут.

— А как же «потерпим три дня»?

— Н-да, срезала.

И все смешно. И то, что на палубу надо подниматься по узкой деревянной лесенке, и то, что лесенка называется трап, а комнатка, где стоит пианино «Красный Октябрь», — кают-компания — «Какая такая компания? Вдруг ты у меня свяжешься с плохой компанией?», — и ноги вытирать о швабру с веревками — смешно, и камбуз — «Давай кто больше на — уз! Картуз, арбуз...» — «Вантуз!» — «Туз!» — «Ну, тебе, как заядлой картежнице, это ближе!», — и на экскурсии в Угличе, когда строгая очкастая экскурсоводша, похожая на Надежду Константиновну Крупскую, рассказывает, как колокол сослали в Сибирь, тоже смешно — «В Сибирь-то зачем! Он что, декабрист? А жена у него была?» — «У кого, у колокола?» — «Ну да, декабристка!» — «Молодые люди! Вот вы, сзади! Да-да, я к вам обращаюсь! Если вас не занимает экскурсия, вы вполне можете выйти!» — «Нас как раз очень даже занимает!» И платки — расписные платки в художественном салончике на угличской главной площади. Так, по счету. Ляле, матери, Марье Семеновне, Рине, Шуре, Муре...

— Танька, опомнись! Денег уже не осталось!

— Так я тебе и не покупаю!

И начали жить. Вернулись — и начали жить.

— Ты, деточка, если что не знаешь, спрашивай, не стесняйся.

По своему хозяйству Марья Семеновна водила Татьяну, как по музею. Вот экспонаты: чайник фарфоровый заварной, Кузнецовского завода, каждый вечер после ужина заварить свежий чай и подать на круглом мельхиоровом подносе, вот вазочка хрустальная с красноватым отливом для брусничного варенья, а та, с синеватым, для крыжовенного, крыжовник прокалывать в шести местах, чтобы выпустил сок, вот ситечко металлическое, сквозь ситечко протираешь картошку для пюре, а мять не надо, Леня не любит, рыбу сначала режь на куски, потом потроши, так удобнее, вот доска для мяса, вот для рыбы, вот для хлеба, помечены специальными зазубринами, для рыбы мыть холодной водой, для мяса — горячей, хлебную можно не мыть, смахнешь крошки, и все, вон наше ведро, под столом, выносить будешь каждое утро, а вечером не надо, примета плохая, Леню не проси, он все равно забудет. Тряпочки стирать с мылом, вешать вот сюда, на крючок, и не жалей горчицы для посуды, белье кипятить с содой и не меньше двух часов, а если меньше, остается серый налет, и капусту! Капусту шинкуй тоньше, что это у тебя такие ломти, как в столовой? Татьяне все это было удивительно. Не то чтобы она дома ничего не делала — и посуду мыла, и пол, и в магазин бегала, и картошку чистила. Просто они с матерью как-то не обращали внимания на эту сторону жизни. Кто первый придет домой — ставит на огонь картошку, разделывает селедку, кидает в кипяток гречку или макароны. Вот и все хозяйство. Самое удивительное, что и у Марьи Семеновны особого хозяйства не было тоже. Днем она работала большим профсоюзным начальником, приходила поздно, часто раздраженная, наскоро выпивала чашку чаю, не снимая чулок, ложилась на кровать, отворачивалась к стене. Отходила примерно через полчаса. Вставала и начинала семейную жизнь. Хозяйства не было — было другое. Правила. По воскресеньям — родственный обед с мясными щами — «Сбегай к меховщику, возьми кусочек по рубль пятьдесят, если очень костистое, тогда по два, только маленький!». По субботам ходили в баню, тут недалеко, на Маши Порываевой. У бани встречались с Лялей и Мишей. У Ляли с Мишей, впрочем, и своя ванна имелась. Прямо посреди подвальной кухоньки было врыто чугунное корыто на ножках, очень мешавшее Лялиному стремительному передвижению от плиты к двери и обратно. Горячей воды к этой ванне так и не провели. Холодной, правда, тоже. Увидев ее впервые, Ляля с Татьяной долго искали краны, трубы и прочие атрибуты водоснабжения, но ничего не обнаружили. Просто торчит посреди кухни корыто, неизвестно кем и зачем поставленное. Большое разочарование для людей, всю жизнь греющих воду в кастрюльках. Так вот, баня. Однажды пришли, а баня закрыта. Так, с полотенцами, шайками и вениками, пошли гулять по Москве, добрались аж до Лефортова.

— Будем грязными, но счастливыми! — сказала Ляля.

По средам стирали. По пятницам гладили. По понедельникам мыли коммунальные удобства. По субботам ходили на рынок. Кто, когда установил эти правила? Почему их нельзя было нарушать? Татьяна не знала. Знала только, что на этих правилах семья стояла, как на подпорках. И чем больше было правил, тем устойчивей становилась семья. А все эти ситечки, вазочки, досочки, тряпочки были всего лишь материальным воплощением служения семье, которое Марья Семеновна возводила в культ.

Марья Семеновна считалась женщиной крепкой не только телом, но и духом, всячески поддерживала это мнение и любила за общим чайным столом рассказывать историю, которая приключилась с ней еще в Харькове. Татьяна выучила эту историю наизусть после третьего раза и очень сочувствовала Ляле, которая по сценарию, разработанному Марьей Семеновной, должна была по ходу рассказа поддакивать, делать маленькие поправки и

дополнения. Миша с Леонидом от этой обязанности сами себе дали освобождение. Миша без Лялиного руководства к самостоятельным действиям был все равно непригоден, а Леонид, заслышав первые раскатистые аккорды повествования, просто уходил в угол и плюхался в кресло. История была такая. Однажды к Марье Семеновне, в ту пору молодой матери одной маленькой Ляли, пришел человек. Приличный такой, небольшой, аккуратный человек — в мерлушковой шапке и добротном сером пальто на ватине. Человек представился, назвал ее по имени-отчеству и сказал, что он сотрудник мужа Марьи Семеновны, в это самое время находящегося на работе, в райпотребсоюзе. Мужа тоже назвал по имени-отчеству. Потом человек поежился, помялся, поморгал, как бы не решаясь произнести печальное известие, потупился и сказал, чтобы она, Марья Семеновна крепилась, что ничего непоправимого не произошло, но только что, буквально полчаса назад, в райпотребсоюз нагрянул ОБХСС и муж Марьи Семеновны поручил ему (тут были названы фамилия, имя и отчество) бежать как можно скорее и предупредить ее, чтобы она взяла все деньги, серебряные ложки, два отреза габардина, хрустальную вазу и каракулевый полушубок (вещи были названы очень точно и даже описаны, как будто человек знал их в лицо), так вот, чтобы все это она взяла, упаковала, отнесла тете Фане Зильберштейн на улицу Ленина и спрятала. Адрес тети Фани бы назван верно, и фамилия, и имя, и степень родства — тетушка мужа по матери. На этом человек откланялся и отбыл обратно в райпотребсоюз на встречу, как он выразился, с ОБХСС. Марья Семеновна сначала заметалась, кинулась завязывать в носовой платок серебряные ложки, но вдруг остановилась, задумалась, положила ложки обратно в буфет и села ждать. Ничего не было. Вечером муж был подвергнут допросу со стороны Марьи Семеновны. Выяснилось, что никакого ОБХСС не было, что никакого человека в мерлушковой шапке он к Марье Семеновне не посылал и даже не представляет, кто бы это мог быть. Однако человек все про них знал, и это наводило на размышления. «Может, из органов?» — подумала Марья Семеновна, но мысль эту сразу же и отмела. Не будут органы заниматься глупыми розыгрышами с серебряными ложками. А через неделю в городской газете была опубликована статья о разоблачении преступной группировки, «занимавшейся обманом трудящихся с целью отъема ценных вещей и денег». Один из членов банды приходил домой к женам более или менее ответственных работников, называл фамилию и имя мужа, фамилию и адрес родственников, далее следовала сцена, разыгранная с Марьей Семеновной. А когда бедная жена выбегала из подъезда с узелком в руках, к ней подъезжала черная машина, из которой выходили люди в военной форме, производили «изъятие» вещей и велели «идти домой, ждать дальнейших указаний». Что остановило Марью Семеновну, почему она не послушалась мерлушкового человека, она и сама не знала. Но хладнокровием своим очень гордилась. А серебряные ложки потом оченьгодились. Они их в войну проели. Если бы не они, Ленька бы не выжил, он ведь тогда совсем крошечный был.

— Марьсеменна, а лук с морковью для борща пережаривать?

— Пережаривать, деточка, пережаривать!

— А свеклу?

— И свеклу.

— Может, сначала сварить, а потом на терке? Она так мягче.

— А вот самодеятельности, деточка, не надо.

— Мы так с мамой делали.

Марьсеменна качает головой. Татьяна пережаривает свеклу.

— Марьсеменна, да я все вымою, вы идите!

— Хорошо, деточка, хорошо, только я лучше постою. Вот тут, в уголочке, пройдишь. И тут еще. Тряпочку, тряпочку отжимай как следует!

И гости. Гости почти каждый вечер. Вот тогда Татьяна узнала, как это, когда по вечерам за столом собирается двадцать человек. Приезжали со всех концов Москвы — дядюшки и тетушки, племянники и племянницы, братья и сестры, родные и двоюродные, близкие и далекие. Громко пели украинские песни и — тихо, плотно прикрыв дверь в общий коридор, — еврейские, местечковые. Капа солировала. Изя сидел, опустив в чашку большое печальное лицо. Рина поглядывала из-за плотных подушечек век. Тетка Шура во главе стола вела беседу. Тетка Мура выгружала из сумки баночку с форшмаком. «Ну, Му-усенька! — капризно тянул Витенька, и Марья Семеновна подкладывала ему на тарелку пирожок. — Ну, Му-усенька! Вы должны меня понять! Совершенно невозможно жить в таком окружении! Отец — алкоголик! Что будет с мамочкой, когда она узнает! И эти запахи! Вы представляете себе запах перегара с жареным луком? И потом, это же совершенно не мой культурный уровень! В доме ни одной книги! Ну, Му-усенька! Ну что же мне делать?» Алла смотрела на Витеньку, проводила пальцем по идеально прочерченной брови. Снова открывалась дверь, входили двоюродные бабушки с папиной стороны.

— Марьсеменна, можно я лягу? Завтра вставать рано.

— Посиди, деточка, посиди. Сейчас придет дядя Абрам, ты его еще не знаешь.

— А Леня...

— Леня пусть спит, он очень устает.

Марья Семеновна лезла в буфет. Когда к столу совсем ничего не оставалось, из буфета вынималась банка засахаренного прошлогоднего варенья, резался большой батон белого хлеба.

— Лялька, не раздевайся, надо за хлебом сбегать.

— Пошли вместе. Мама, мы купим мороженое?

— Купите. — Но чаще: — Какое мороженое, вы с ума сошли! Если будет докторская, возьмите двести граммов для мальчиков.

— Ага, для мальчиков, как же, — ворчит Ляля, когда они выскакивают на улицу. — Ну что, к меховщику?

— Лялька, а почему меховщик?

— Ми! Миховщик. Так во время нэпа хозяина лавки звали. С тех пор так и повелось.

Катюш! Нам двести граммов докторской и два довесочка граммов по сто пятьдесят.

Катюша смеется из-за прилавка.

— Что-то тебя давно не видно.

— А мы с Мишкой переехали.

— А это кто?

— Это Таня, Ленкина жена.

— Так Ленка женился?

— Угу.

— Ну, повезло тебе, девка!

— Ляль, а ты всех продавщиц по имени знаешь?

— Ага. Ты с ней дружи, она хорошая.

— У тебя все хорошие. А почему мне повезло?

— Ленька красавец. — И помолчал: — Как я. В кино пойдем завтра?

— Не знаю, если Марьсеменна отпустит. И денег нет.

— Ну, я договорюсь.

В кино Марья Семеновна могла отпустить, а могла — нет. Зависело от обстоятельств. Гости важные или важные дела — стирка штор, субботняя уборка, какое там кино! Или просто: «На прошлой неделе уже были! Достаточно!» И деньги. Денег не было совсем. Сто рублей отдавали Марье Семеновне на питание. Что там у них оставалось, если у нее чистыми шестьдесят восемь, а у него — девяносто пять? Однажды шли с работы. Брели взявшись за руки и загребая носками ботинок рассыпчатую февральскую снежную крупу. Подойдя к кинотеатру «Форум», остановились.

— Хочу в кино! — сказала Татьяна.

Леонид побренчал медяками в кармане. Вдруг ветер сделал крутой вираж, обжег им лица ледяным поцелуем, закрутил поземку у ног. Когда все утихло, Леонид нагнулся и поднял с земли мятый рубль.

— Спасибо! — крикнул в черное беззвездное небо, и они побежали за билетами.

Марья Семеновна встречала их на пороге комнаты. Молча смерила взглядом, молча повернулась, молча ушла. В тот день неожиданно приехали дальние родственники из Махачкалы и недовольство по поводу самовольной отлучки было выказано самое недвусмысленное.

— Мы с тобой как шахматные фигуры, — пожаловалась Татьяна, когда они с Леонидом уже лежали в постели. — Куда передвинут, там и стоим.

Он прижал ее к себе:

— А ты не так представляла свою жизнь?

Она покачала головой. Не так! Не так!

— Ну, подожди немножко. Шахматные фигуры не только съедают. Иногда они выходят в дамки.

— Ты все перепутал. Это в шашках, — пробормотала она и начала засыпать.

И, засыпая, думала, что все-таки никакая она не шахматная фигура. «Я рудокоп, — думала она, пряча нос под одеяло. — Я маленький, но очень упрямый рудокоп. Я грызу породу, ставлю подпорки, и, может быть, мне даже придется заниматься взрывными работами. Я копаю проход в чужой горе и докопаю его до конца». И она уснула.

— Ты посиди, — сказал Леонид. — Посиди тут, только тихо. Я не хочу, чтобы он знал, что ты дома, — и пошел к двери.

Татьяна метнулась за ним, уцепилась за рубашку.

— Лен, не надо, правда, не надо, ну его.

Леонид взял ее за запястье, отцепил от рубашки и аккуратно посадил на кровать.

— Ну что вы все, честное слово! То надо, то не надо! Не делай из мухи слона, ладно? Сиди тихо, и все!

На лице его появилось жесткое, какое-то голодное выражение. Это волчье выражение последнее время появлялось у него часто. И Ляля широко открывала глаза, постукивала толстенькими пальчиками по столу. И Миша, взглянув на Лялю, качал головой, будто соглашаясь с какой-то ужасной несправедливостью, мол, делать нечего, приходится мириться. И Марья Семеновна, отвернувшись к окну, пускала в форточку сизые струи дыма. И тетка Шура хваталась за сердце, а тетка Мура за кошелек. Хотя — спросите — при чем тут

кошелек? Ни при чем совершенно. Не поможет тут кошелек и ничего не поможет, раз человек такой. И Изя, склонив голову и сгорбившись, уносил домой свое большое печальное лицо. И Витенька, покачиваясь на стуле, говорил, капризно растягивая слова: «Ну, Мусенька! Ну хоть вы меня поймите! Совершенно невозможно жить в таком окружении!» И Рина, прижав руку ко рту, вдруг выбегала из комнаты. Ляля с Татьяной бежали за ней и, стоя у дверей уборной, слышали натужное тьяканье и всхлипы. Из уборной Рина выходила бледная, отирая платком потное лицо. Ляля вела ее на кухню, умывала, наливала крепкого чая с лимоном. Рина смотрела на чай и снова бежала в уборную, «Ну, Му-у-усенька!» — протяжно выпевал Витенька. Ляля подходила к нему, поднимала со стула и подталкивала к выходу: «Иди, иди! Потом!» Витенька идти не хотел, упирался, оглядывался и делал обиженное лицо. Марья Семеновна махала рукой: мол, иди уж, горе! Без тебя тут...

— Поговори с ним, — сказала она Леониду как-то вечером, когда Рина с холодным компрессом на голове лежала в их с Татьяной комнатке.

— Почему я? Мишка старше, пусть он и говорит.

— Миша не умеет, ты знаешь. А Лялю он слушать не будет.

— У нее отец есть.

— Не мели ерунды! Ты себе представляешь Изю в этой роли? Так поговоришь или нет?

— Ну хорошо. Пусть приходит в субботу. Только ты к Ляльке уходи. Нечего тут создавать атмосферу всеобщего ажиотажа.

В субботу Арик явился на разговор. В дверную щелку Татьяна видела, как он прошелся по комнате своей развинченной танцующей походкой, лихо заломил кепчонку, плюхнулся на стул и положил ногу на ногу. Леонид сидел полуотвернувшись и задумчиво глядел в окно.

— Ну давай! — сказал Арик блудливым голосом и облизнул узкие губы. — Давай воспитывай!

— Давать?

— Ага, давай-давай!

— На!

Леонид выкинул руку и со всего маху впечатал кулак в Арикову скулу. Что-то хрустнуло, потом треснуло, ножка стула подломилась, Арик выругался и рухнул на пол. Татьяна зажмурилась. Открыв глаза, она увидела, как Арик, по-обезьяньи отталкиваясь руками от пола и волоча за собой остатки стула, на заднице пятится к двери. У двери он попытался встать, но нога, застрявшая в стуле, никак не хотела вылезать наружу. Арик чертыхался, падал на колени и так, на коленях, наконец, вывалился в коридор. Леонид сидел за столом полуотвернувшись и задумчиво глядел в окно.

Татьяна вышла из комнатки, подошла к Леониду сзади, обняла руками за шею и поцеловала в макушку. Он погладил ее руки и тоже поцеловал — в сгиб локтя.

— При встречах с ним я становлюсь удивительно однообразным.

— Он теперь тебе мстить будет? — сказала она с полувопросительной-полуутвердительной интонацией.

— Не будет, — зло ответил Леонид. — Он знаешь кому мстит? Кто его боится.

— Я боюсь, — прошептала Татьяна.

— Ты дурочка. Что он тебе может сделать?

— Скажет какую-нибудь гадость, а ты поверишь.

— Ну, значит, я дурак. Я дурак?

— Ага. — Она провела рукой по его волосам. — Завтра пойдем стул купим.

На следующий день Арик, сияя свежевспаханной ссадиной и лиловым синяком, сделал Рине предложение по всей форме политеса. С цветами, тортом и шампанским. Изя плакал. Капа, подперев кулачками грудь, пела «Пою тебя, бог Гименей!». Тетка Шура хваталась за сердце. Тетка Мура — за кошелек, что в этой ситуации было с ее стороны весьма предусмотрительно. «Деточка! Кровиночка!» — говорили они одинаковыми голосами и прижимали одинаковые ручки к одинаковой пухлой груди. Рина, низко наклонив голову, выпускала взгляды из-за плотных подушечек век. Никто не знал, что она думает по этому поводу и думает ли вообще.

Платье решили шить лиловое. Тетка Шура вытащила из шкафа отрез шелка чудного цвета лесных колокольчиков. С голубыми прожилками.

— Платье под цвет синяка жениха! — шепнула Татьяна Ляле.

Ляля прыснула, закрыла рот ладошкой и ткнула Татьяну кулачком в бок.

На самом деле в цвет платья был не синяк, а сама Рина — бледно-лиловая, с голубыми прожилками, она стояла перед зеркалом, а Кара ползала вокруг нее с булавками во рту. Ляля, как обычно, сидела у окна с чашечкой кофе и сигаретой. Татьяна пристроилась в углу.

— А цвет! — говорила Кара, плюясь булавками. — Кто придумал этот цвет! Зачем ей этот цвет! Это не цвет, это издевательство!

Рина бледнела еще больше, низко опускала голову, сутулилась.

— А ты в чем? — спросила у Татьяны Ляля.

— Ни в чем.

— А золотое?

Татьяна покачала головой. Ей не хотелось идти на эту свадьбу в своем заветном золотом. Казалось, она как-то оскорбит то, что случилось с ней несколько месяцев назад, если ее свадебное платье примет участие в том, что происходит сейчас между Риной и Ариком.

— Так что же тогда? Юбку с блузкой?

— Ничего. Не пойду, и все.

Сказав это, она испытала странное облегчение, будто остался позади визит к зубному врачу.

— Ну, это ты брось!

Ляля посмотрела на Кару. Кара посмотрела на Лялю. Потом метнулась к шкафу и вытащила кусок шелка. Шелк был черный, с тонкими контурами красных роз. Изнанка — красная, с тонкими черными контурами.

— Мало! — сказала Ляля.

— Ничего! Сделаем без рукавов. На черную сторону. И декольте. А на корсаж — красную розу.

— Розу не надо!

— Надо!

Татьяна засмеялась:

— Ваш вечный спор о розе!

Розу сделали. В этом черном платье без рукавов с красной розой на корсаже Татьяна была на свадьбе Риной и Арика самой красивой. Девушка из итальянского кино. Это все сказали. И Леонид, прищелкнувший от восхищения языком, когда она вышла из их комнатки, чтобы ехать за Риной. И Марья Семеновна, одобрительно покачавшая головой. И Капа, со знанием дела пропустившая ткань сквозь пальцы. И Шуры-Муры, прижавшие к одинаковой

груди одинаковые ручки. И Арик, посмотревший на нее так, что холодок прошелся по позвоночнику. Татьяна отвернулась от него, как отворачивается голый человек, думая, что так никто не заметит его наготы. Ариков взгляд потом целый вечер ее преследовал. Татьяна краснела, злилась, пряталась за Леонида, но узкие губы улыбались, щурился коричневый круглый глаз, и Татьяна знала, что ей никуда не скрыться.

Когда приехали за Риной, чтобы везти ее в ЗАГС, она сидела на кровати, свесив тонкие бледные ноги в полуспущенных капроновых чулках.

— Ты что! — крикнула Ляля. — Не готова?!

Рина подняла лицо. Ляля задохнулась, проглотила готовые сорваться слова и кинулась к ней.

— Ты что?.. Ты что?.. Девочка моя!.. Кто тебя?.. Кто тебя обидел?.. — бормотала она, и Татьяна удивлялась, откуда у Ляли появились такие слова, да еще для Риной. Но Ляля прижимала к груди Рину растрепанную голову, гладила мокрые щеки, целовала заплаканные глаза. Рина отворачивалась, прятала взгляд, молча указывала на дверь. За дверью распевалась Капа.

— Она... Она сказала, что я уродина. Особенно сейчас. Что я никому не нужна. Что он из жалости...

Рина зарыдала. Ляля бросилась к двери, выскочила в соседнюю комнату.

— А, Лялочка! — пропела Капа, сверкая идеально выточенной зубной коронкой. В длинном алом платье, с алым пером в золотистых волосах она, казалось, сошла со сцены театра оперетты.

«И страсти у нее опереточные», — внезапно подумала Ляля.

— А, Лялочка! Я думаю, сегодня очень подойдут русские романсы. Ты не знаешь, Изя заказал тапера? Совершенно некогда репетировать!

Ляля помолчала, развернулась и побежала обратно. В комнате Татьяна натягивала на бледно-зеленую Рину лиловое платье.

А свадьба получилась хорошая. Нет, правда. Просто очень. Стол ломился.

— Ешь! — говорил Леонид и совал Татьяне в рот ложку черной икры.

Черную икру она ела впервые. Здесь многое было впервые. Впервые в ресторане — не в кафе, не в мороженице, а в настоящем, с золоченой лепниной, бархатными портьерами, крахмальными официантами, багроволицым метродотелем, затянутым в такой же багровый форменный пиджак с черными атласными лацканами. Метродотель важно кивал и плавно поводил рукой, как артист балета Лавровский в роли принца Зигфрида в балете Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Поводил, стало быть, рукой, и гости послушно шли в указанном направлении. А там уже бегали официанты и обносили гостей самым шампанским шампанским в мире — советским полусладким. Гости шампанское пили и тут же кричали «Горько!», даже не успев сесть за стол. Арик одной рукой прижимал к себе Рину и, постреливая по сторонам круглыми коричневыми глазами, целовал в уголок рта. Рина краснела и в своем лиловом платье с голубыми прожилками казалась почти хорошенькой. И оркестр! Настоящий оркестр, пять человек, две скрипки, один контрабас, контрабас, впрочем, быстро напился и сошел с дистанции, но и без него получалось неплохо. И подарок. Татьяна впервые выбирала подарок сама, на правах замужней, между прочим, женщины, самостоятельно решающей, что, кому и почему дарить. Марья Семеновна, правда, проконтролировала, но это не считается, потому что в магазин ходили сами, и присматривали сами, и долго советовались, стоя у прилавка, и сомневались, и почти

разругались, и Леонид крикнул: «Не собираюсь участвовать в ваших бабских затеях!» — а Миша махнул рукой и ушел домой, но деньги из кармана доставали сами и, наконец, купили — чудный кофейный сервизик с вазочкой для цветов, полосатый — полосочка желтая, полосочка красная, полосочка черная. Прелесть! Прелесть!

Когда съели закуску, Капа исполнила «Утро туманное», «Я ехала домой» и «Нет, не любил он» («Актуально!») — меланхолично заметила Ляля и отправила в рот кусок копченой лососинки), а оркестр заиграл первый вальс, Арик торжественно вывел Рину на середину зала и крутанул пару раз. Потом так же торжественно отвел на место, усадил и больше не подходил. Маргоша в своем белом платье с красными цветами сидела на месте свидетельницы и смеялась всеми своими ямочками.

— А мы потанцуем! — крикнула она. — Правда, Витенька?

Витенька кивнул, важно поднялся, прошел, крутя попкой, мимо Маргоши в дальний конец стола и склонился над Аллой.

— Позвольте на тур вальса, — сказал он почему-то на «вы» несвойственным ему басом и кашлянул.

Алла оглянулась на тетю Лину. Тетя Лина кивнула. Алла пошла на тур вальса. Маргоша поперхнулась улыбкой. Кудряшки ее опали, как опадают уши у обиженной собаки. Она смотрела, как Витенька виляет круглой попкой, ведя Аллу по кругу и шепча что-то ей на ухо, и глаза ее наливались слезами. Рина тоже смотрела на Витеньку. Слегка улыбнувшись, она Наклонилась к Маргоше, бросила пару тихих слов и кивнула на Витеньку, мол, смотри, а твой-то, твой... Маргоша вскочила и, прижимая к губам платок, выбежала из зала.

— Зачем она так? — спросила Татьяна Лялю.

— А ей приятно, — ответила Ляля.

— Приятно?

— Ну да. Она же замуж выходит. А у Маргоши такой облом. Как не порадоваться за подругу! — и убежала танцевать с Мишей.

Через месяц Рина выкинула мальчика.

Через два Витенька женился на Алле.

— Лень, а у тебя женщины до свадьбы были?

— Конечно!

— Много?

— Мне хватало.

— Ну и как они... там?

— Где?

— Ну вообще? Как они?

— Ничего. Мне нравилось.

— А почему «конечно»?

— Потому что у всех мужчин до свадьбы бывают женщины.

— Интересно, если у всех мужчин до свадьбы бывают женщины, то почему не у всех женщин до свадьбы бывают мужчины?

— Вопрос неплохой. Сама-то знаешь ответ?

— Знаю. Потому что некоторые мужчины очень любят хвастаться!

Она кулачками бьет его в грудь. Он перехватывает ее руки, разжимает кулачки и ладошками гладит себя по щекам.

— А ты колючий!

— Я всегда колючий.

— Нет, сегодня особенно. Может, ты ежик?

— Может быть. И как меня зовут?

— Тимонен.

— Финн, что ли?

— Ага, после финской войны затерялся в диких лесах Закарпатья.

— Какого Закарпатья, с ума сошла?

— Ну что такого, ну перепутала немножко! Сразу в крик! Затерялся в диких лесах Карелии. Не успел вовремя перейти границу.

— Дезертир?

— Пацифист. Раз ты ежик, давай фыркай.

Он фыркает и проводит пальцем по ее щеке.

— Слушай, а ты сегодня совсем не колючая.

— Дурак!

— Может, ты морская свинка?

— Не, я хомяк. Он мягче. Хомяк-надомник.

— Почему надомник?

— Сижу дома, наблюдаю жизнь. Видела, как Витенька с Аллой ссорились за занавеской.

— За занавеской? Почему за занавеской?

— Наивный! — вздыхает она. Он действительно наивный, этот Леонид. Ничего не видит, ничего не слышит. Может прийти в гости, взять с полки книгу, уткнуться и просидеть целый вечер не шелохнувшись. — Это потому, что тебе все всё прощают. За занавеской — чтобы никто не видел. Все знают, что Витенька ее терпеть не может.

— Я не знал.

— Ты ничего не знаешь! А знаешь, как они поженились? Витенька ходил, плакался на свою несчастную жизнь. Ну, что Маргоша не соответствует уровню его притязаний. И к Марьсеменне ходил, и к Шуре с Мурой, и к тете Лине, и к Ляле захаживал. Только она его выгнала. Сказала, чтобы стыдобищу не разводил. Ты слушаешь?

— Угу. А зачем он плакаться ходил?

— Ну, Витенька же всеобщий сыночек. Ему надо, чтобы его любили, жалели и решали за него. Если бы Марьсеменна сказала: «Бросай, Витенька, свою Маргошу! Не пара она тебе, такому умному, талантливому и красивому!» — то кто бы был виноват?

— В чем виноват-то? Что уж, и девушку бросить нельзя?

— А ты бросал?

— Бросал.

— Ну и как?

— Никак. Никому не плакался.

— Это потому, что ты черствый и нечуткий.

— Я чуткий, чуткий! Особенно в некоторых местах. Показать?

— Да ну тебя! Пусти! Я серьезно! А девушкам каково?

— Честно? Понятия не имею!

— Нет у тебя никакого чувства вины!

— Точно нет. А у Витеньки есть?

— Есть. А ему надо, чтобы не было. Это, знаешь, такое благородство наоборот. Мол, я очень чувствительный, сам на подлость не способен, так вы за меня ее сделайте. Короче, плакался, плакался, а потом тетя Лина вдруг и говорит: «Так когда ты Аллочке предложение сделаешь?» Он остолбенел. А тетя Лина: «Ну не ко мне же ты каждый день ходишь!» А он именно к ней ходил. Под конец она спрашивает: «Кстати, тебя куда распределяют? В Конотоп? В Житомир?» Витенька все понял, подумал и женился. Теперь тетя Лина им письма пишет.

— Что за чушь! Они живут в одной комнате!

— Ничего не чушь, а очень даже умно! Если встречать, будет очередной скандал. А так она письмо написала, их замечательную супружескую жизнь проанализировала, советы дала, на обеденном столе оставила и ушла. Они прочли, к сведению приняли, и все тихо-мирно.

— Может, матушке намекнуть, чтобы она нам тоже письма писала?

— Было бы неплохо. Только, боюсь, она нас срочными телеграммами забросает. Большой прорыв будет в бюджете. Лень...

— Что?

— А они какие были, твои девушки?

— Какие? Хм... Черт, не помню! Может, их и не было вовсе?

Жили так. Ляля с Мишей сами по себе. И Рина с Ариком сами по себе, в восьмиметровой комнатке на Рождественском бульваре, куда Капа быстренько выписала Рину к своей престарелой тетке. Тетка помещалась тут же, в соседней комнате, углом отрезанной от коммунальной кухни. Но престарелая тетка — не в счет. Тут начинались существенные различия между ними и Татьяной. Различия в наличии личного. У Рины и Ляли кастрюли свои, а у Татьяны — Марьи Семеновны. У Рины и Ляли друзья свои, а у Татьяны — общие родственники. У Рины и Ляли время свое, а у Татьяны — коммунально-семейное. Ляля после работы приходит домой, ложится на диван и закидывает ноги на спинку. Рина вечером заходит к Шурам-Мурам, кушает борщ и берет домой баночку — для Арика. А Татьяна бежит чистить картошку. Если чистить картошку не надо, все равно бежит. К Рине и Ляле можно прийти, забраться с ногами в кресло, целый вечер пить чай и сплетничать. А к Татьяне — нет. Или так: к Рине и Ляле можно прийти, а к Татьяне — нет. У Татьяны можно прийти к Марье Семеновне. К Татьяне однажды без спросу пришла подружка Тяпа, к тому времени уже основательно подзабытая. Татьяна увела ее в свою комнатку, закрыла дверь и только после этого бросилась на шею: «Тяпка! Нахалка! Ты чего не приходишь?!» Марья Семеновна дверь открыла и попросила «деточек» больше не запирается. Тяпа посидела полчаса на краешке стула и убежала. «Деточка!» — говорит Татьяне Марья Семеновна и следит, чтобы «деточка» после работы до скрипа драила коммунальный сортир. Лялю и Рину никто «деточкой» не называет, но и не следит никто. Как-то Татьяна зашла к Рине с Ариком и наткнулась на ноги. Ноги лежали поперек коридора. Татьяна пошла вдоль ног и под обеденным столом, на красном ватном одеяле обнаружила спящего молодого человека. Она стояла, смотрела на эти ноги, и на это одеяло, и на этого спящего человека и жгуче завидовала Рине, что та может вот так, легко, без спроса, поселить кого-то под своим столом и даже не думать о том, что об этом скажут соседи.

— У нее там ноги в коридоре... — тоскливо сказала Татьяна.

Ляля быстро посмотрела на нее и отвела взгляд.

— Это Ариков брат, младший. Приехал поступать в институт. Он у них под столом

спит, а ноги не уместаются.

— Знаешь, Лялька...

— Знаю. Ты ей не завидуй. У тебя Ленька... А у нее...

Сказать, что Татьяна нигде не чувствовала себя дома... Неправда. Домов у нее было много — и тот, где жила с матерью, и тот, где жила со свекровью, но самый отдохновенный — тот, где не жила с Лялей и Мишей. «Вот будем жить отдельно, сделаю все как у Ляльки!» — думала Татьяна, хотя как так, «как у Ляльки»? Ничего такого у Ляльки не было. И никаких хитростей в ведении домашнего хозяйства или, предположим, особенного какого-то комнатного убранства не наблюдалось. Все как у всех. Никелированную кровать без пишечек сменили на диван-книжку. Цветочки развели. Бабушкины стулья перетянули. Что еще? Да, в буфете на самом видном месте стояла пустая бутылка из-под водки, обвязанная шерстяным чехлом — чей-то подарок. На чехле были помпоны в виде лапок, шапочки и хвостика. Получался шерстяной пудель. Ляля пуделя любила, чистила щеточкой и называла Шуней. Вот и все. «Как у Ляльки!» предполагало внутреннюю свободу времяпрепровождения в собственном жилище, без оглядки и глупо сжатого сердца: «А вдруг что не так?» Сердце Татьяны за следующие десять лет жизни с Марьей Семеновной привыкло сжиматься. Она даже перестала замечать, что оно сжимается. С годами она начала думать о том, что постоянное чувство вины бывает только у людей, живущих в больших семьях. Это как расплата. Надо же чем-то расплачиваться за тот тыл, которым тебя обеспечили, за ту каменную стену, которой тебя окружили, за те руки, что не дают тебе упасть, как ветки дерева, поддерживая и качая. И ты тоже Должен — обеспечивать, окружать, поддерживать. А если нет сил? Или возможности? Или желания? А если ты хочешь — сам по себе? Чувство вины за недоданное, неделанное, непочувствованное — та разменная монета, которой оплачивают привилегию пользоваться родственной любовью и заботой.

Или вот Витенька с Аллой. Тоже ведь имели под боком старушку маму за китайской расписной ширмой. Однако мама не очень в счет. Потому что, с кем жил Витенька, значения не имело. А Алла жила у себя дома.

Аллу Витенька стеснялся. Стеснялся носа. Стеснялся чопорного вида, поджатых губ, в ниточку Наведенных бровей, взгляда холодных водянистых глаз. Стеснялся и побаивался. Алла бросала водянистый взгляд, и Витенька умолкал. Алла поднимала ниточки бровей, и Витенька кидался ловить такси. Алла поджимала губы, и Витенька покорно плелся домой.

— Гипноз! — говорила Ляля.

Иногда Витенька бунтовал. Надувал капризно губки, отворачивался, независимо поигрывал ложечкой, дескать, буду делать что хочу — хочу пойду домой, хочу нет. Тогда Алла заводила его за занавеску, тихо, так, чтобы никто не слышал, отчитывала и шла домой одна. Витенька начинал томиться.

— Ну, Му-усенька! — ныл он. — Ну хоть вы меня поймите! Невозможно так жить! Это же террор какой-то! Все — буквально все! — делаю, как хочет. Нет, недовольна!

Марья Семеновна подкладывала Витеньке варенья, что-то шептала на ухо. Она была великий дипломат во всем, что не касалось лично ее.

— Марьсеменна, а вы что ему шепчете? — спросила как-то Татьяна.

— Я, деточка, шепчу, какой он хороший. Витеньке очень важно знать, какой он умный и талантливый. А Алла... Алла, понимаешь ли, она для него холодновата.

— Я думала, она его любит!

— Любит, любит. Только так любит, как ему не нужно.

После нашептываний Марьи Семеновны Витенька поднимался и плелся домой, на старорежимный широченный кованый сундук, который каждый вечер приставляли к расписной китайской ширме и на котором Витенька с Аллой провели первые годы супружеской жизни. Утром сундук переезжал в коридор. Однажды Витенька убежал на работу, забыв про сундук, и тетя Лина не смогла выбраться из-за ширмы. Семейная история умалчивает, как бедная старушка отправляла естественные надобности, но Витенька с тех пор совсем стушевался, и жизнь их с Аллой пошла на лад.

Собирались часто. Метраж, а вернее, его отсутствие, значения не имел. Могли вечером встать и с молчаливого согласия Марьи Семеновны отправиться без предупреждения к кому-нибудь в гости. По дороге Леонид глядел на Татьяну. Татьяна глядела на Леонида. Они сворачивали с пути и пускались в путешествие по Москве, шли взявшись за руки, как будто и не были женаты.

— Играем?

— Играем.

— Во что?

— В города-реки.

— Ну давай. Буква П. Город?

— Париж.

— Река?

— По.

— Писатель?

— Пришвин.

— Растение?

— Пихта.

— Животное?

— Пантилопа.

— Сама ты пантилопа!

Дружили, однако, не взаимно — вприглядку. Татьяне долго еще казалось, что она чужая, пришедшая, что ее разглядывают, оценивают, сравнивают и никак не сравнивают. Не уравнивают с собой. И она сама держалась чуть в стороне: разглядывала, оценивала, сравнивала, наблюдала.

— Тетя Шура, вы куда это так нарядились?

— К директору районо.

— У народного образования директоров не бывает.

— Ну, значит, к заведующему.

— Зачем?

— Риночку надо устраивать. Ты же знаешь, как ей тяжело!

Татьяна хмыкает. Ее еще ни разу в жизни никто никуда не устраивал.

— А зачем ее устраивать?

— Ну как же, сейчас так трудно найти приличное место!

Татьяна хмыкает. Риночка, выйдя замуж, тут же бросила институт, и теперь ее не берут на работу ни в одну школу.

— Тетя Мура, вы куда это собираетесь?

— В гороно.

— Так тетя Шура уже ходила!

— Она ходила в районо, а я — в гор.

— Не помогло, значит, районное начальство?

— Ну, ты же знаешь, просто так к ним не пойдешь. Нужно знать, как войти, и с чем, и от кого.

— А вы с чем?

Тетка Мура вытаскивает из сумки коробку шоколадных конфет и бутылку коньяку.

— А давайте по рюмашке! И шоколадкой закусим.

— Ты с ума сошла!

Тетка Мура поспешно засовывает конфеты и коньяк в сумку и даже прикрывает сверху пухлой лапкой — чтобы никто, не дай бог, не покусился на эдакое сокровище. Татьяна смотрит на лапку. Еще никто никогда не пугался так из-за нее. Она представляет, что сказала бы мать, если бы она сообщила, будто бросает техникум, и невольно тянется к волосам. Когда-то, еще учась в школе, она объявила, что десятилетку заканчивать не собирается и после восьмого класса сразу пойдет работать. Мать молча подошла к ней, молча схватила за косы и молча стала таскать по комнате. Татьяна волочилась за косами, хваталась за материнские руки и пыталась оторвать их от волос, но мать с очень сосредоточенным и каким-то отчужденным выражением лица все таскала и таскала ее, словно собираясь, как луковицу, выдернуть из земли. Голова болела целый месяц. Татьяна даже расчесываться не могла. И навсегда думать забыла о том, чтобы нарушить планы, кем-то и когда-то для нее составленные.

По вечерам Рина ходила к Шурам-Мурам не только кушать борщ, но и вести разговоры. Однажды Татьяна с Леонидом зашли и увидели: Рина сидит на обычном месте под кружевной занавесочкой, тетка Шура сидит на обычном месте в кресле, тетка Мура носится по обычному маршруту из кухни в комнату и обратно. Тетка Шура комкает в руках платочек. Платочек мокрый. На лице — алые всполохи. Тетка Шура прикладывает платочек к пылающим щекам, а потом к носу, а потом к глазам. Тетка Мура мечется по кухне, плюхает на сковородку мясо, мясо стреляет ей в глаз. Тетка Мура бежит к раковине. Долго трет глаз. Татьяна переворачивает мясо.

— Детонька! — говорит тетка Шура глубоким басом и протягивает к Рине бревнышко руки, чтобы погладить ее по голове. Рина уворачивается. — Где ж мы ее возьмем, детонька!

— Шифоньер... — говорит Рина, почти не разжимая губ. — И диван раскладной. Вон у Ляльки есть, а мы что, хуже? Нам с Ариком обставляться надо. Папа сказал, она моя была...

Тетка Мура прибегает из кухни с опухшим глазом, шлепает на стол блюдо с подгоревшим мясом. Блюдо срывается с края стола, падает на пол и разбивается на мелкие осколки. Татьяна собирает с пола мясо.

— Кто — твоя была, Ринка? — спрашивает Леонид.

— Шуба. Лисья. Папа говорил, когда я замуж выйду, мне ее подарят. Я бы ее продала, шифоньер купила.

— Да-а-а, — задумчиво тянет Леонид. — Помню я эту шубу времен расцвета нэпа. Ты, Ринка, не расстраивайся. Ее, наверное, моль сожрала. Все-таки кому-то какая-то польза.

— Никто ее не сожрал, — мрачно говорит Рина. — Они ее заложили. Еще тогда. А теперь не хотят деньги отдавать.

— Что ж это вы, тетушки, поживились за счет родной племянницы? — насмешливо спрашивает Леонид.

Тетка Шура начинает шумно рыдать. Ее грудь поднимается к самому подбородку. Кажется, что можно взять ее в пригоршню и вытереть ею глаза.

— Мы не поживи-ились! — рыдает тетка Шура. — Мы, когда Изю... — Она умолкает на мгновение, как будто не решаясь продолжать. — Мы... чтобы маслица, молочка, она же боле-ела! — Тетка Шура кивает на Рину. — Мы же хотели как лу-учше!

— Диагноз ясен, — встает Леонид. — Пойдем, Танюх.

— А как же...

— А никак. Разберутся сами.

Они выходят на улицу.

— Может, объяснишь, что происходит? — спрашивает Татьяна.

— Да ничего особенного. Старые семейные скелеты в шкафах. В 46-м — ты, конечно, не помнишь, впрочем, я тоже не помню — была денежная реформа. За десять рублей давали один. А цены те же оставили. Так вот, Изя в своей кооперативной лавчонке сам у себя скупил весь товар, а после реформы снова выбросил на прилавок. Посчитай, какой навар. Кто-то на него стукнул, разумеется. Говорят, что его зам. Ну и посадили нашего Изю. На пять лет. С конфискацией. А тетки вещи закладывали, чтобы Ринку прокормить. И шубу заложили, которая ей в приданое предназначалась. Теперь она эту шубу у них обратно требует. А Изя в 57-м, между прочим, доказал, что он был безвинно репрессирован, после чего получил квартиру и место директора галантереи. Только шубу не вернули. Зато Ринка у нас живая-здоровая на маслице и молочке.

Когда пошел яблочный дождь, Татьяну положили на раскладушку. Татьяна лежала, вытянувшись под старым клетчатым Лялиным пледом, и чувствовала себя черепахой Тортиллой. «Мне двести лет», — думала Татьяна и закрывала глаза. Наверху, в соснах, бился дятел. «Тук-тук», — думала Татьяна, а больше мыслей никаких не было. Разве что о том, что скоро обед и это очень страшно. «Тук-тук», — отвечал дятел ее мыслям. Казалось, кто-то молоточками бьет ее по вискам. Иногда молоточки были твердые, тяжелые, холодные — неприятные. А иногда — ничего, как будто обернутые мягкой бархатистой тряпочкой. Подходила Ляля. Долго стояла у раскладушки, смотрела на Татьяну. Татьяна чувствовала ее взгляд и открывала глаза. Ляля садилась на край.

— Если будет девочка, назовем Снежаной, — говорила Ляля и даже слегка закатывала глаза, что в обычной жизни было ей несвойственно. — Представь себе, войдет красивая девушка и представится: «Снежана!»

— А если мальчик? Снежан? — вяло спрашивала Татьяна.

Ляля передергивала плечиками и уходила. Она уже рассчитывала на этого ребенка, как на своего. Они все на него рассчитывали, как на своего. Смотрели на Татьяну подозрительными ревнивыми глазами, следили за каждым вздохом, считали каждый несъеденный кусок, водили за руку к врачу, поддерживали, оглаживали. Татьяна сначала удивлялась такому чрезмерному вниманию, потом поняла: ждали первенца. Первого внука. И Марьсеменна, и Евдокия Васильевна, и тетка Шура, и тетка Мура, и Изя, и две старушки, двоюродные бабушки с папиной стороны, и Мишин отец, похожий на синеватого цыпленка, и даже дядя Абрам, которого Татьяна видела раз в жизни, — все ждали первого внука. Этот нерожденный ребенок уже всем был своим. Всем, кроме Татьяны. Она его не ощущала — ну не ощущала, и все. Что поделаешь? Не привыкшая к всеобщему вниманию, эти прыжки вокруг своей особы Татьяна воспринимала как некую неприятную данность, повинность,

которую возложило на нее ее положение. Повинность быть всеобщей любимой игрушкой ее не радовала, а тяготила, как тяготит любая повинность. «Мучают меня! — думала Татьяна и снова закрывала глаза. — Катька. Назову Катькой. И целыми днями: «Ляля-Ляля! Ляля-Ляля!» Хоть бы что-нибудь новенькое придумали! Сказали бы, к примеру: «Давай, Катя, тащи чай!» — вспоминала она и улыбалась измученной, слабой улыбкой.

К столу ее не звали. Ляля приносила куриный бульон в зеленой эмалированной миске с черными проплешинами на дне, подносила ложку к ее губам. Татьяна морщилась, отпивала глоток и отворачивалась.

— Черт! — говорила Ляля. — Замучила ты меня совсем! Ленька придет, что я ему покажу — Кощея Бессмертного?

— Очень даже смертного, — бормотала Татьяна. — Ты даже не представляешь, какого смертного. Еще чуть-чуть бульона, и совсем смертного.

— Дура! — говорила Ляля и смеялась. Потом спохватывалась, грозно сдвигала черные брови. — О ребенке бы подумала!

— А я о ком думаю? Ты считаешь, если меня стошнит, ему будет лучше?

Ляля уносила свой бульон.

Все у нее было наоборот. Не как у людей, Всех тошнит в начале беременности — ее в конце. А начала она вообще не заметила. Бегала на работу, бегала в кино, бегала к Ляле в гости, мыла полы под неусыпным надзором Марьи Семеновны и ничего не понимала. Что вы хотите — девчонка! Но однажды, возвращаясь с Леонидом домой, вдруг пошатнулась посреди Тверского бульвара и с трудом добрела до скамейки. Мир сузился до корявого тополя, за который она ухватилась, и двух ног в потертых стареньких лодочках, на которые она устала. Ноги были ее собственные. Ноги стояли очень аккуратно на утоптанном песке. Смотреть на них было невыносимо. Татьяна подняла голову и огляделась. Мимо шли люди. Никто не обращал на нее внимания. Краем глаза она заметила жалкое, испуганное лицо Леонида. И люди, и Леонид, и шум листвы, и гудки машин, и солнце, пробившееся к ней на колени сквозь плотный тополиный заслон, — словом, все-все-все казалось невыносимым. «Если он еще раз загудит, я умру», — подумала Татьяна, глядя на красный горбатый «Запорожец». Но тут что-то сместилось, сдвинулось, замерло на миг и встало в фокус. Мир обрел прежние очертания. «Запорожец» загудел и тронулся с места. Татьяна проводила его взглядом, улыбнулась Леониду и легко поднялась со скамейки.

— Голова закружилась. Душно очень. Пойдем?

Вечером началась гроза. Они сидели у раскрытого окна обнявшись, и крупные капли летнего дождя, похожие на недозрелые прозрачные сливы, падали перед ними на подоконник. Через три дня Татьяна тайком отправилась к врачу и выяснила, что беременна.

— Да у вас, голубушка, срок! — сказала ей тетка в несвежем халате. — Что ж вы раньше-то думали?

Татьяна пожала плечами и взяла направление на анализы.

Вечером, лежа в постели, она уткнулась Леониду в плечо.

— Лень... Ты знаешь... Ты меня прости...

— За что? Своровала варенье из буфета?

— Что ты со мной как с ребенком! Я, между прочим, взрослая!

— Да ну?

— Угу. Взрослая... — Она вздохнула и поцеловала его в шею. — Так простишь?

— Уже простил.

— У меня ребенок будет.

— А ребенок что, не мой?

Татьяна замерла, потом резко оттолкнула его обеими руками и вскочила.

— Ты... ты... как не твой?

— А почему «прости»?

— Ну... первый отпуск вместе. Могли бы куда-нибудь поехать, а я все испортила.

Он встал, подошел к ней, взял за плечи, подвел к кровати и уложил. Сел на краешек кровати и укрыл ее одеялом.

— Горюшко ты мое горькое! — тихо сказал он, наклонился к ее лицу и прижался щекой к щеке. — За что мне такое счастье?

Так в свой первый замужний отпуск Татьяна оказалась на раскладушке в Лялином яблоневоm саду.

Леонид приезжал вечером, после работы. Первым делом шел к Татьяне, садился на край раскладушки, внимательно разглядывал лицо, расправлял спутанные волосы, пальцем разглаживал морщины на лбу. Татьяна глубоко вздыхала, и на минуту-другую ей становилось легче. Ляля звала Леонида ужинать. Татьяна смотрела ему вслед и засыпала — первый раз за сутки. Просыпалась часа через два от сухости во рту и какого-то мучительного, давящего ощущения, что все — бессмысленно, ненужно, нелепо, неправильно. Открыв глаза, долго глядела на верхушки сосен, подсвеченные вечерним солнцем и похожие на расплавленные куски прозрачного розового сердолика. Сосны были неприятны. И небо, и облака, и звуки, доносящиеся с кухни, и Лялин смех, и гудки дальних электричек, и запахи пряного дачного вечера — все, все было неприятно. Приходил Леонид, поднимал ее с раскладушки, вел вверх, на терраску. Татьяна ложилась на старый диван с железными ребрами пружин и лежала всю ночь, глядя на ветку яблони, которая там, за оконным стеклом, тоже глядела на нее золотистыми глазами яблочек.

В воскресенье собирался народ. Рина с Ариком приезжали каждый выходной, как подозревала Татьяна, — посмотреть на нее. Рина подходила к раскладушке, долго стояла. В глазах ее было то ли сочувствие, то ли осуждение, то ли...

— Боюсь ее, — как-то сказала Татьяна Ляле, когда все разъехались.

— Почему?

— Сглазит.

Она ждала, что Ляля, как обычно, чмокнет ее в щеку и засмеется: «Кто тебя сглазит, глупая! Все будет хорошо!» Но Ляля молчала, шурила черный глаз, кусала губу, глядела вдаль.

— Думаешь, завидует? — спросила наконец.

Татьяна кивнула.

— Может, и завидует, — задумчиво проговорила Ляля и пошла варить свой бульон.

«Как хорошо, что Лялька никому не завидует!» — думала Татьяна и проговаривала про себя то, что Ляля сказала про Рину. «Может, и завидует». Сказала так, будто ей было хорошо знакомо это чувство.

Арик тоже подходил к раскладушке, тоже долго стоял, глядя на Татьяну. Заламывал кепчонку, с которой не расставался ни летом, ни зимой, ни в зной, ни в холод. Татьяна подозревала, что они спал в кепчонке. Так вот, заламывал кепчонку, усмехался узкими губами, хмыкал, издавал какой-то клекочущий звук вроде «ого!». И Татьяна чувствовала, как зажигаются у нее на лице красные пятна, расплывается и без того распухший нос.

Подтягивала к себе ноги, сворачивалась в клубок, укутывалась до подбородка клетчатым пледом. Казалось, стыдно, что она такая... такая... такая, какой он, Арик, не должен ее видеть. Спрятаться! Укрыться! Чтобы не глядел! Не клекотал насмешливо «ого!». В глазах у Арика зажегся жестокий радостный огонек, он бросал на Татьяну последний оценивающий взгляд и, посвистывая, уходил в беседку. Из беседки по всему саду разносился резкий Ариков голос, короткие всхрапы смеха. Арик травил анекдоты, а ей казалось, что анекдоты про нее. Начинало ломить виски. Арик и Рина подходили прощаться, шли между кустов барбариса к калитке, поворачивали к станции, исчезали из вида. Арик — чуть впереди. Рина — чуть сзади. «А ведь они счастливы», — думала Татьяна и еще думала, что непременно надо сказать об этом Ляле. Но Ляле было не до того — надо воду согреть, и посуду помыть, и отправить мальчиков на колодец, и заставить Мишку прибить наконец доску к забору, и велеть Леньке завтра привезти курицу, и чем кормить Таньку — вообще непонятно. И Татьяна забывала о Рине и Арике.

Рина с Ариком молча шли к станции. По дороге останавливались у бочки, торгующей разливным местным вином. Арик опрокидывал в себя граненый стакан вина, кричал, бормотал: «Кислотища!» — и, не оборачиваясь, шел дальше. Рина семенила следом, быстро и мелко кивая: «Кислотища! Кислотища!» На станции они молча ждали поезда. «Билеты не потеряла?» — через плечо бросал Арик, разглядывая какой-нибудь особо интересующий его объект. Продавщицу в газетном киоске или, к примеру, фонарный столб — не важно. Рина быстро и мелко мотала головой: «Не потеряла! Не потеряла!» В вагоне они молча садились друг против друга. Арик утыкался в газету. Рина смотрела в окно, время от времени кидая на Арика быстрые взгляды. С вокзала молча шли домой. Молча поднимались в комнатушку. Арик тут же бросался на кровать, закидывал ноги на никелированную спинку. Рина шла на кухню ставить чайник. На кухне оглядывалась в поисках непорядка. Находила. Зло срывала со стола оставленную соседкой тряпку, зло швыряла в мусорное ведро. Вносила чай. Арик молча вставал с кровати, выпивал чашку, раздевался, снова ложился, отворачивался к стене и начинал храпеть. Рина, примостившись рядом, пыталась натянуть на себя одеяло. Одеяла хватало только на Арика.

«А ведь они счастливы», — думала Татьяна, глядя в окно на свои яблоки.

Седьмого ноября, когда весь остальной народ вернулся с демонстрации и уже опрокинул по рюмашке, и закусил пирожком, и разворошил ложками огненную сердцевину борща, Марья Семеновна стала бабой Мусей, а Евдокия Васильевна — бабой Дусей.

Накануне ходили в кино, смотрели «Кавказскую пленницу». Татьяна, в последние дни беременности вдруг почувствовавшая легкость необыкновенную, — «Я же говорю тебе, Лялька, все не как у людей! Тетки перед родами дома сидят, на диване лежат, а я скачу как заяц!» — так вот, Татьяна, вдруг почувствовавшая легкость необыкновенную, так смеялась, что Леонид хватал ее за руки и испуганно заглядывал в лицо.

— Танька, ты что? У тебя предродовая истерика?

Татьяна махала руками и вытирала слезы.

Ночью у нее начались схватки.

— Лень, — жалобно прошептала она, расталкивая Леонида. — Мне как-то нехорошо.

Леонид потряс головой, поморгал, встал и начал натягивать брюки.

— Поднимайся, поехали!

— Куда, Лень?

— В роддом. А ты думала, куда?

— Я не поеду!

— Ну, как хочешь. Оставайся, а я поехал.

— Ага.

Она облегченно вздохнула и с головой укрылась одеялом. Леонид методично одевался. Татьяна следила за ним одним глазом. Леонид зашнуровал ботинки и пошел к двери.

— Ле-ень, — тоненько проскулила Татьяна. — А я?

— А ты... — Он ухватился за край одеяла и сдернул его с Татьяны. — Ты, Танька, решай давай, едешь со мной или нет. — Он взял ее на руки и поставил на пол.

В роддом успели вовремя. Через полчаса после того, как Леонид сдал Татьяну с рук на руки врачу, в приемный покой вбежал Миша в растерзанном пальто и очках, сбитых на кончик носа.

— Кто?

— Что «кто»?

— Ну, мальчик или девочка?

Леонид поглядел на Мишу и промолчал. Миша поглядел на Леонида, сел рядом и затих. Так они сидели всю ночь, изредка обмениваясь короткими взглядами и ни разу не обменявшись словом. Когда их выгнали из приемного покоя, сидели во дворе, на лавочке. Под ногами хрустели лужи, покрытые, как затянувшиеся раны, тонкой кожей первого льда. В руке тлела папироса.

— Ну, заходите, папаши! — сказала нянечка, рано утром распахивая перед ними дверь и поднимая стеклянную заслонку на окошке с надписью: «Справка».

Они зашли.

— Фамилии ваши как?

Они назвали.

— Что ж это у вас, фамилия одна? — удивилась нянечка.

Они кивнули.

— Жена что, тоже одна?

Они кивнули.

— Родила ваша жена. Девочку родила. Три килограмма четыреста пятьдесят граммов. Пятьдесят сантиметров.

— А зовут... Зовут как? — выдохнул Миша.

— А это уж вам лучше знать... папаши.

Леонид отошел от окошка, тяжело опустился на банкетку, поставил локти на колени, сцепил пальцы и уткнулся в них лбом. Посидел, глубоко вздохнул и вдруг засмеялся. Миша топтался рядом.

— Ты иди, Мишка. Скажи нашим. Я еще посижу, может, Танька выглянет, — тихо проговорил Леонид и посмотрел на Мишу совершенно пьяными глазами.

Миша хлопнул его по плечу и выскочил на улицу. На улице подхватил пригоршню снега, слепил снежок, швырнул со всей силы в ствол старой липы, подпрыгнул, нелепо выкинув ноги, и побежал домой. По дороге завернул в кондитерский, долго смотрел на шоколадный набор в огромной коробке с роскошной картонной розой, потом заплатил в кассу сорок четыре копейки и купил четыре маленькие золотые медальки с выпуклой надписью: «Слава Октябрю!» Марья Семеновна, Евдокия Васильевна и Ляля сидели за круглым столом, положив ладони на скатерть, и не отрываясь глядели на входную дверь. Миша вошел, снял

ботинки, пальто, шапку, пригладил у зеркала волосы и подошел к столу. Марья Семеновна, Евдокия Васильевна и Ляля молча перевели взгляд на него.

— Вот, — сказал Миша и выдал каждой по медальке.

Потом развернул свою и целиком запихнул в рот.

В день возвращения Татьяны из роддома был объявлен полный сбор. Марья Семеновна пекла пироги. Ляля крутила форшмак из селедки. Евдокия Васильевна притащила целый ворох старых, выцветших, еще Татьянинных, пеленок. Марья Семеновна покрутила носом, но пеленки взяла. Капа разучила новую арию. Какую — спрашивать боялись. Встречать Татьяну Леонид поехал один — остальным было недосуг. Ждали с бутылкой шампанского наперевес. Когда Леонид с Татьяной вошли в комнату, вдвоем держа Катьку, крест-накрест перечеркнутую синей мальчиковой лентой — о ленте этой вспомнили в последний момент и разыскать красную не успели, — Миша выстрелил в потолок шампанской пробкой, и Катька тут же заорала благим матом. С тех пор она не умолкала ни на секунду. Марья Семеновна протянула руки, и Леонид осторожно вложил в них орущий кулек. Лицо Марьи Семеновны дрогнуло, расползлось, и Татьяна с ужасом и удивлением увидела, как она плачет — беззвучно и по-детски беспомощно. Евдокия Васильевна подтолкнула Марью Семеновну плечом, по-хозяйски отняла Катьку, отвернула край одеяльца от малинового личика, внимательно рассмотрела нос пупочкой, закатившиеся от плача глазенки, белесые бровки и кивнула одобрительно.

— Покоя дитю дайте. Устроили посиделки, — недовольно пробормотала она и, прижимая Катьку к груди, утащила в соседнюю комнату.

— Вот видите, Марья Семеновна, какая у вас Танечка молодец, — изящно подцепив на вилку кусочек красной рыбки и сделав рукой округлый, эдакий обобщающий жест, произнесла такими же красными, как рыбка, губами Капа. — Не прошло и года, как поженились, когда у вас, кстати, годовщина? Ну да, ну да, я так и думала.

— Думала бы, если помнила, — пробурчала Ляля, но услышала ее только Татьяна.

— И вот — пожалуйста! — вы уже бабушка. О чем еще можно мечтать? А вот у нас... — И она отправила в красный ротик красную рыбку.

Рина сгорбилась, втянула голову в плечи, боком выползла из-за стола и начала собирать грязные тарелки.

И начали растить. Сразу начали растить.

Евдокия Васильевна считала, что прикармливать не надо, а Марья Семеновна — что надо обязательно. А Татьяна ничего не считала — ее не спрашивали. Евдокия Васильевна считала, что температурка от зубов, а Марья Семеновна — что от животика. А Татьяна ничего не считала — она не знала. Евдокия Васильевна считала, что под шапочку надо надевать платочек, а Марья Семеновна — что пора закалять. А Татьяна ничего не считала — ей очень хотелось выспаться. Катька плакала сутками. По ночам плакала особенно громко и противно, так что Татьяна даже не ложилась. Ходила целыми ночами в халате по комнате, носила Катьку на руках. Леонид спал, отвернувшись к стене и положив на ухо подушку. В стенку стучала соседка Зинка. У Зинки был любовник-китаец на очень ответственной работе. Работал поваром в ресторане «Пекин». Лепил там ласточкины гнезда. Гнезда эти, не доеденные клиентами, он приносил иногда на коммунальную кухню и скармливал соседям, за что слыл человеком щедрым, с устойчивыми принципами социалистического общежития, даром что иностранец. Работа у китайца была жаркая. Зинка очень волновалась за его здоровье и следила, чтобы он как следует отдыхал. А тут Катька. Утром, встречая Татьяну в

коридоре, Зинка демонстративно отворачивалась, первой шмыгала в ванную и, дождавшись, когда туда войдет Татьяна, тут же гасила свет.

— Придушила бы это отродье! — прошипела как-то Зинка вслед Татьяне. И девяностолетняя Марья Львовна, которой Зинкин китаец заносил после работы не только ласточкины гнезда, но и кое-что посущественней, согласно закивала.

Татьяна закусила губу — ничего не показывать, не плакать, не отвечать! Но, оказавшись у себя в комнате, вдруг повалилась на кровать и разревелась почище Катьки. Катька на секунду утихла, посмотрела на Татьяну ясными смышленными глазенками и зарыдала с новой силой. Ночью у нее поднялась температура. Под утро, когда уехала детская «скорая», когда стало ясно, что ничего страшного нет, и Катьку удалось утихомирить, Татьяна прилегла на краешек кровати и закрыла глаза. Станный лающий звук раздался из комнаты Марьи Семеновны. Татьяна поднялась и, покачиваясь, пошла на звук. Марья Семеновна лежала в кровати, разбросав косы по груди, похожей на две пуховые подушки, и давилась слезами.

— Что?! — спросила Татьяна.

— У Ф-фирочки об-б-наружили р-рак гр-руди! — прорыдала Марья Семеновна.

О Фирочке Татьяна слышала впервые.

— Какой Фирочки?

— Из М-мелитополя!

— А Фирочка — это кто?

Марья Семеновна вытащила из-под подушки огромный мужской носовой платок и смачно высморкалась.

— Фирочка — папина племянница, дочка сестры его первой жены, — вполне членораздельно сказала Марья Семеновна.

— То есть дочка сестры вашей мамы?

— Я же сказала, первой жены, — раздраженно ответила Марья Семеновна и снова потянула из-под подушки носовой платок.

— А вам она кто?

Марья Семеновна закрылась носовым платком и зарыдала. Татьяна повернулась, ушла к себе и плотно закрыла дверь.

— Как ты думаешь, нужна мне Фирочка в пять часов утра? — задумчиво спросила она у Леонида.

Леонид не знал.

— Ложись, — пробормотал он сквозь сон. — Поспи.

Но тут проснулась Катька.

Мать крутилась тут же. Приходила рано утром, нагруженная сетками, сквозь крупные ячейки которых торчали когтистые куриные лапы. Тут же хватала Катьку, начинала мыть, кормить, тетешкать. Она так и говорила: «А вот потетешкаемся!» Потом лезла в буфет, проверяла запасы, трясла банки с вареньем — не засахарилось ли, — переставляла по-своему тарелки и чашки. Вечером, когда Марья Семеновна возвращалась с работы, убиралась в угол, глядела оттуда ревнивым острым глазом, поджимала губы. Марья Семеновна дергала плечом, увидев непорядок в буфете и шкафах, переставляла все на прежние места, накрывала на стол, однако Евдокии Васильевне садиться не предлагала.

— Домой... Иди домой! — шептала Татьяна матери.

Но мать не шла. Только потом, спустя долгие лета, когда не было уже ни Марьи Семеновны, ни Евдокии Васильевны, вспоминая то время, Татьяна поняла, что некуда было

идти ее матери. Не было у нее другого дома. Только здесь — в чужих холодных комнатах, где все было не «по-ейному», где ее не ждали, не хотели, где она мешала, путалась под ногами, досаждала, была ненужная, лишняя, чужая, — только здесь ее жизнь наполнялась смыслом. Собственно, они все и были смыслом ее жизни.

— Вы, Евдокия Васильевна, раз уж тут живете целыми днями, сдавайте деньги на питание. Ребята дают по пятьдесят рублей, — сказала как-то Марья Семеновна.

На следующий день Евдокия Васильевна принесла пятьдесят рублей.

— У нее же пенсия пятьдесят семь рублей! — шептала Татьяна ночью на ухо Леониду. — Она же продукты покупает! Давай ей отдадим!

— Давай! — согласился Леонид. — Только с чего?

По вечерам возле белой кафельной печки ставили два стула, на них — детскую ванночку. В ванночку опускали Катьку. Евдокия Васильевна держала Катьку под мышки, а Марья Семеновна поливала ромашковым отваром.

— Вы, Евдокия Васильевна, ребеночка-то под спинку возьмите, ребеночек-то у вас повис, — не поднимая глаз, говорила Марья Семеновна.

— Вы, Марья Семеновна, смотрите, куда льете, а то в глазки попадете, как в прошлый раз, — отвечала Евдокия Васильевна.

Татьяна, стоя с полотенцем в сторонке, чувствовала себя посторонней. Вроде сделала свое дело и можешь быть свободной. Однако на свободу не отпускали. Зачем-то требовалось ее ежесекундное присутствие при каждой, производимой над Катькой процедурой. Присутствие по большей части наблюдательного свойства.

— Марьсеменна, мы с Леней к Ляле сбегаете вечером?

— Что ты, деточка, что ты! Не забывай — у тебя ребенок!

Мать качала головой. Мол, не стыдно тебе, девка? При грудном-то дитяти дома сидят, а не по гостям бегают! В этой точке — точке запрета, как называла ее про себя Татьяна, — две враждебные разнонаправленные стихии успокаивались, уравнивались и даже на время объединялись. Объединялись против нее, Татьяны.

Когда Катьке исполнилось полгода, Марья Семеновна устроила прием с пирогами и фаршированной рыбой. И в конце вечера, во время чая, который пился из специально по такому случаю купленных чашек невесомого фарфора с затейливыми, вычурно изогнутыми ручками, предназначенными не столько для того, чтобы за них держались, сколько для того, чтобы на них любовались, во время чая Марья Семеновна торжественно вынула из черного кожаного ридикюля четыре бумажки. Торжественно помахала ими над головой, торжественно опустила на стол и прихлопнула сверху тяжелой мужской рукой.

— Путевки! — сказала она громко и все так же торжественно обвела стол взглядом. — Неделя в Эстонии. Едут... — Она еще раз обвела стол взглядом как бы в поисках достойных кандидатур и ткнула пальцем в Татьяну и Лялю. — С мужьями, разумеется, — и засмеялась довольным смехом, в котором, кроме довольства и удовольствия, отчетливо сквозили нотки ожидания восторгов и благодарностей.

Татьяна взяла в руки одну из бумажек, близко поднесла к глазам, словно была близорука, прочитала: «Нарва — Тарту — Пярну — Таллин». И заплакала. Марья Семеновна растерянно посмотрела на нее и с какой-то жалкой беспомощностью пожала плечами.

— Ну что ты, деточка, что ты. Ну не надо, деточка, не надо. — Она протянула большую руку, положила Татьяне на плечо и стала похлопывать, бормоча что-то бессмысленно-утешительное. — Ну все, все, все хорошо, поедешь, отдохнешь, и соскучиться не успеешь, как

вернешься. Ну хватит, хватит, ну давай глазки вытрем, носик вытрем... — Она подняла Татьяну со стула и повела в соседнюю комнату, все шепча и шепча ей на ухо детские смешные глупости. На пороге, не оборачиваясь, махнула рукой — дескать, расходитесь, без вас тут...

В Эстонии случились три вещи. В Пярну первый раз в жизни Татьяна ходила в парикмахерскую, где ей вымыли голову — такая роскошь, как горячая вода, не была предусмотрена на их туристских ночевках — и сделали умопомрачительную укладку. Ляле тоже сделали укладку, но не такую умопомрачительную. С этими укладками они пошли напрямиком на пристань, где их ждали Леонид и Миша, и сели на прогулочный катер. На прогулочном катере случилась вторая вещь. Капитан весь рейс не спускал с Татьяны глаз и перед высадкой на берег передал ей с матросом белую розу. Розу Татьяна взяла и посмотрела на капитана особенным взглядом, после чего Ляля сказала: «Знала ведь я, что за тобой глаз да глаз!» А Леонид надулся и до вечера ни с кем не разговаривал. А третья вещь случилась в Таллине, где они пошли в ресторан «Вана Таллин».

— У них тут все или вана, или Таллин, — со знанием дела сказал Миша, только что договорившийся с официантом о бутылке одноименного ликера по сходной цене.

В этом «Вана Таллине» Ляля с Татьяной изображали эстонских девчонок, к которым пристают заезжие московские парни.

— Эт-то во-о-одка? — тянула Ляля, тыча пальцем в рюмку.

— Во-о-одка! — передразнивал Леонид, подталкивая к ней рюмку. — Давай-ка, девочка моя, за папу, за маму...

— Йа-а во-о-одку не пью-у-у! — тянула Ляля. — Йа-а де-евушка бе-едная, но скромная!

— Пьешь, пьешь, — уверенно говорил Леонид. — Все бедные девушки обязательно пьют водку, иначе не жизнь, а каторга. — Он брал рюмку и пытался влить водку в Лялин рот.

Ляля фыркала, плевалась, отталкивала рюмку. Водка лилась ей в вырез платья. Татьяна прыскала в кулачок. Миша с сомнением качал головой.

Закончилось неважно. Подошел долговязый эстонец, произнес что-то невразумительно-тягучее, что в переводе на русский можно было идентифицировать как «Ты наших девчонок не трогай!» и «Пойдем выйдем!». Миша с Леонидом вышли. Ляля с Татьяной побежали следом. В холле стенкой стояли такие же долговязые эстонцы. Леонид уже засучивал рукава, Миша снимал очки.

— Да русские мы, русские! — закричала Ляля. — Не видите, что ли! — схватила Мишу за рукав и поволокла на улицу.

Они бежали по улице, а с Ратуши им вслед укоризненно смотрел Вана Томас. Вскочили в первый попавшийся трамвай, повалились на сиденья.

— Ленька, дурак! — задыхаясь, крикнула Ляля. — Из-за тебя все! Из-за твоих дурацких шуточек! Они бы вас убили.

— Что мы, котята, что ли? Да мы бы их сами... — важно ответил Леонид и погрозил кому-то кулаком.

— Дождешься, маме скажу.

И они выехали из города.

В Кадриорге белки прыгали прямо в руки и требовали немедленной подачи пищи.

— Кис-кис-кис! — говорила Татьяна и протягивала белкам ладошку с семечками.

— Почему «кис-кис-кис»? — спрашивал Леонид.

— А я не знаю, как хомяков надо звать.

— Господи, хомяки-то тут при чем?

— Потому что белки ручными не бывают. Ручными бывают только хомяки. Я знаю, у меня был один знакомый хомяк, когда я в школе училась. Я его от смерти спасла. Представляешь, прихожу как-то к нему в гости, а у него одна щека нормальная, а другая вытянутая, как будто он туда палец засунул. И он этой щекой тычется, голову между прутьев просунуть не может. Я так испугалась, думала, он заболел. Залезла к нему в рот, а там макаронина. Он себе запасы на зиму делал, а макаронину не разгрыз. Вот она ему поперек щеки и встала, Так бы и умер, бедняжка, задохнувшись от жадности.

— А теперь он где?

— Нигде. Умер от нервного стресса. Пошли во дворец.

И они пошли во дворец.

— Смотри, Танька, — сказала Ляля. — Видишь, наверху три кирпича незаштукатуренных? Их Петр I клал. Их специально не заштукатурили, чтобы все знали, где он руку приложил. Ты как думаешь, это он сам так велел или придворные, чтобы ему приятное сделать?

— Я думаю, придворные.

— Значит, из лизоблюдства. А я думаю, это он из тщеславия. Ты знаешь, он этот дворец выстроил для Екатерины, а она ни разу сюда не приехала. Но ему это было все равно. Ему хотелось, чтобы у нее на всякий случай везде был родной дом. Ему это было важно, чтобы у нее был родной дом.

— Это всем важно, — сказала Татьяна тихо, и Ляля ее не услышала.

— А теперь тут эстонцы выставляют напоказ свою черно-белую жизнь, — сказала Ляля. — Пойдем посмотрим?

И они пошли смотреть. Шли по кадриоргским залам, держась за руки, парами, как в детском саду, разглядывали пасмурные картины с некрасивыми серыми людьми и некрасивыми унылыми пейзажами.

— Такие белки вокруг, а они все ноют и ноют! — вдруг сказал Леонид и остановился перед одной картиной. — Смотри, мы с тобой как этот зонтик.

Зонтик был разноцветный, будто сшитый из кусочков радуги. Он плыл по морю черных зонтов, похожий на апельсин из разноцветных долек, который бросили в осеннюю плиссированную лужу.

— Надо же, единственная радостная картина. — Татьяна стала водить пальцем по разноцветным долькам. — Каждый...

— Охотник...

— Желает...

— Знать...

— Где...

— Сидит...

— Фазан...

— Как ты думаешь, из чего он сделан? — спросил Леонид.

— Из шелка.

— Из шелка зонтов не бывает. Промокнут.

— А этот не промокнет. С него дождь как с гуся вода.

И они ушли из дворца. Шли по пыльной улочке, застроенной деревянными дощатыми домишками, футболили друг другу камешки и щепки. Татьяна остановилась у пыльной витринки.

— Зайдем в галантерею, мне надо темные очки купить, — попросила она.

И они зашли в галантерею. Он лежал на прилавке среди тюбиков засохшей помады, пластмассовых заколок, брусков прогорклого земляничного мыла и выцветших пакетов с капроновыми чулками. Лежал, похожий на разноцветный апельсин. Лучи солнца, пробиваясь сквозь немытое стекло, падали на шелк, просачивались внутрь, и казалось, что внутри этот апельсин наполнен разноцветной шипучей газировкой.

— Каждый... — прошептал Леонид, протягивая руку к зонтику.

— Охотник... — шепотом подхватила Татьяна. — Он правда из шелка сделан?

— Йа-а-а, — ответила продавщица.

— И не промокает?

— Не-е-ет, — ответила продавщица. — Эт-то недождли-и-ивый зо-о-онт.

И они вышли на улочку, застроенную деревянными дощатыми домишками, усеянную камешками и щебнем, залитую вечерним солнцем, и открыли зонт.

— Теперь у нас будет свой недождливый зонтик, — сказала Татьяна. — Мы будем ходить под ним, как под радугой.

— Всегда?

— Всегда.

— Ах вы, романтики! — Ляля подошла сзади и обняла их за плечи. — Самый недождливый зонтик когда-нибудь да промокает.

— А у нас не промокнет! — упрямо произнесла Татьяна и вывернулась из-под Лялиной руки. — Ну, мы сегодня увидим море или нет?

И они поехали к морю.

На пляже в Пирита было очень холодно. В городе не чувствуется, а тут — ветер высекает слезы из глаз, как огниво высекает искры.

— Кто первый найдет кусок янтаря, тому подарок!

— Какой подарок, Лялька?

Ляля на секунду задумывается.

— Подарок... кусок янтаря.

Ляля хохочет, запрокинув голову. Татьяна хохочет вместе с ней. Море кидается ей в лицо, рассыпается по щекам горьковатой росой.

— Тань, ты что? Эй, малыш! — Леонид ладонью вытирает ее соленые щеки.

— Помнишь, как мы в Угличе смеялись?

— Помню.

— Тогда мы смеялись... просто смеялись, а сейчас как в последний раз. Почему?

Он молча раскрывает зонтик и закрывает ее от, ветра.

На следующий день они уехали в Москву — закончился их второй и последний медовый месяц.

Нет, нет, неправда. Были еще вечера. Но это позже — лет через пять, когда Леонид поступил Татьяну в институт, и водил за руку на все экзамены, и писал курсовики, и переводил «тысячи» с английского, и подписывал внизу: «Ну все, малыш! Целую крепко, твоя репка», и преподаватели сердились, а потом сердиться перестали и, смеясь, махнули на

Татьяну рукой. По вечерам он встречал ее у института и они шли по ночной Москве — медленно шли, забредали в переулочки, останавливались под фонарями, болтали ни о чем или, к примеру, о том, что надо починить телевизор, а что, очень даже неплохая тема для разговоров, не все же о луне и звездах, и нужная для хозяйства, хоть и бессмысленная, потому что — какая разница, о чем говорить? Маленькая Катька лежала дома в своей детской кроватке, держа в руках часы.

— Когда эта стрелочка сойдется с этой палочкой, родители вернутся, — говорила ей Марья Семеновна.

Катька смотрела на циферблат, и стрелочки с палочками сливались в сонных глазенках.

Уходили тихо, почти незаметно. Просто все реже раздавались звонки, все реже, высунувшись из темного закутка у кухни и держа на весу черную гантель телефонной трубки, сообщала Марья Семеновна об очередном визите провинциальных родственников, все реже, пробегая утром через комнату Марьи Семеновны, натыкалась Татьяна на чужие чемоданы и баулы, все реже расставляли раскладушку у белой кафельной печи, все меньше народу садилось за вечерний стол, да и собирались все реже и реже. Круг сжимался, постепенно затрагивая самую сердцевину семьи. Как-то так получилось, что сначала — дальние, а ближние — потом. Сначала — Даня из Киева, Сара из Магадана, Дора из Ревды, и две старушки, двоюродные бабушки с папиной стороны, и дядя Абрам, потом — Витенькина мать, которую Татьяна так ни разу и не видела, но на похороны которой пришлось ехать в Загорск, и тетя Лина, и оба Ариковых из Мариуполя, и — совсем близко — в начале 75-го ушли Мишины старики, а за ними Изя. Ушел так, как обычно уходил из гостей, — просто унес свое большое печальное лицо. Вот было — и нету.

— Становимся крайними, — сказала Ляля Татьяне на похоронах.

Капа с Риной поплакали и успокоились. Тетка Шура с теткой Мурой посуетились, устраивая поминальный стол, и потихоньку начали таскать Рине старые побрякушки — брошки, колечки, кулончики сомнительного качества. Надо же поддержать девочку. Рина кулончики брала, хмуро кивала и относила в скупку.

— Ерунду носят, — говорила, пересчитывая мятые десятки.

На кулончики покупалось зимнее пальто Аркашеньке. Аркашеньку Рина родила в 70-м, после лечения какими-то специальными грязями.

— Чистый Арик! — говорила Татьяна при виде Аркашеньки.

— Ну не то чтобы чистый... — отвечала Ляля, подтирая Аркашеньке сопли. — Но тоже Арик.

На Аркашеньку Ляля глядела с каким-то пристальным и жадным вниманием. Однажды сказала Татьяне:

— Тебе ничего не кажется?

— Что мне должно казаться?

— Он на Арика совсем не похож.

Татьяна посмотрела. Аркашенька стоял, широко расставив ноги, набычившись, будто нахлобучив лоб на глаза, и смотрел, как тетка Мура отрезает Катьке торт.

— И мне! — сказал он, и глаза его выкатились на секунду из-под плотных подушечек век.

— И тебе! И тебе! — пропела тетка Мура. Она знала, что Аркашенька очень трепетно относится к своим правам, в особенности на еду.

— С ума ты сошла! — сказала Татьяна. — Он просто вылитый Рина. Откуда вообще такие мысли?

— Мысли как мысли, — пробормотала Ляля задумчиво. — Просто странно — съездила на курорт, полечилась две недели и — пожалуйста! — готовый Аркашенька. Помнишь, как ее провожали с песнями-плясками?

Татьяна помнила.

Тетки устроили стол. Носились весь вечер с холодцом и мацедраем. Арик сидел под

кружевной занавесочкой мрачный. Мрачно опрокидывал в себя водку. Мрачно откусывал кусок огурца. Мрачно постукивал по столу пальцами. На вопросы не отвечал. На родственников не глядел. Вся эта семейная возня была ему неприятна. Ринина поездка на воды подрывала его претензии на мужественность. Дескать, такое дело, полюбуйте, родственнички дорогие, сам ребеночка сделать не смог, приходится отправлять девку на лечение. Ребеночка Арик сделать мог. И видимо — так, по крайней мере, утверждала Ляля, — уже многим сделал, а вот с собственной женой несостыковочка получалась. Они будто друг друга отторгали, не давая появиться между собой ничему живому и теплomu.

Капа сидела во главе стола в синем платье с бомбошками по подолу. Кушала, изящно отведя в сторону лакированный мизинец. Удивленно вскидывала высокие брови.

— Нет, я не понимаю! — капризно говорила она, отправляя в рот кусок холодца. — К чему весь этот ажиотаж? Я, например, никогда ни от чего не лечилась и прекрасно родила! Никто, знаете ли, не помогал! Ну, конечно, если у вас ничего не получается...

— Мама! — кричала багровая Рина и утыкала взгляд в тарелку.

Изя, шумно дыша, поднимался из-за стола с рюмкой в руках.

— Давайте выпьем! — объявлял он, и тетка Мура поспешно подливала всем водку. — Давайте выпьем за нашу девочку! Чтобы у нее все было хорошо и... вообще... чтобы ребеночек появился. Пора, пора. Пора нам с матерью внуков нянчить.

— Папа! — кричала багровая Рина и бросала быстрый взгляд на Арика — не сердится ли.

Арик молча глотал водку. Капа едва заметно морщилась — какие там внуки! Тетка Мура разносила холодец.

Домой возвращались совсем растерянные.

— Зря они устроили из этого... праздник, — сказала Татьяна.

— Ну как же, показательные выступления. Ринка сама хотела всех собрать. Ты что, не поняла? Она же весь вечер была в центре внимания. И двоечку свою получила.

— По математике?

— Какой математике? Джерси. Помнишь, она все у теток выпрашивала. Кофточка и жакет. Серые, с красной строчкой. Финские. Не забудь похвалить, когда увидишь.

Из санатория Рина приехала... живая, что ли. Так Татьяна для себя определила ее состояние. Как будто истаяли плотные подушечки вокруг глаз и открылись сами глаза. Синие. Они были синими, Ринины глаза, и Татьяна глядела в них с каким-то недоверчивым страхом. Так не бывает: столько лет не было глаз и вдруг — есть.

— Ну что, обнадежили? — деловито спросила Ляля.

— Обнадежили. — Рина вдруг засмеялась.

Это тоже было впервые. Ринин смех, такой человеческий, как у всех, как у Ляльки, и у нее, Татьяны, и у Ленки, и даже у Миши, который вообще-то смеется редко, но уж если смеется...

Про курорт Рина ничего не рассказывала, отделялась общими фразами: «Да, съездила. Кормили? Хорошо. Лечили? Хорошо. Приняла десять грязевых ванн. Подружиться... Да с кем там особо дружить!»

Аркашенька родился ровно через девять месяцев после Ринино возвращении с курорта. Арик воспрянул.

— Сын! — говорил он и надувался гордостью, как резиновый пляжный матрас.

— Ага, — шептала Ляля на ухо Татьяне. — Сын. Однофамилец.

Арик не слышал. Мужественность была восстановлена. Про курорт уже никто не вспоминал, а сын — вот он, свой собственный, личный сын. И никаких других доказательств не надо.

После рождения Аркашеньки Рина еще немного поглядела на мир синими глазами и придушила синеву подушками век. А Ляля все присматривалась к Аркашеньке.

Через полгода после смерти Изи Капа вышла утром в парикмахерскую и упала во дворе. Соседи вызвали «неотложку», позвонили Рине на работу. Рина прибежала через пятнадцать минут, бросилась на колени, схватила Капину голову в обе руки и так — на весу — держала, пока не появилась «скорая». Когда приехали Татьяна с Лялей, и «скорая» уже уехала, и Капу увезли, Рина сидела на кровати в Капиной спальне. Ляля с Татьяной остановились в дверях, глядя на сторбленную фигурку, похожую на вопросительный знак. Рина подняла голову, посмотрела на них очень внимательно и тихо сказала: «Мама умерла». Татьяна вздрогнула. Ни разу за десять лет она не слышала, чтобы Рина вот так, за глаза, называла Капу просто мамой.

На Капиной кровати Рина просидела почти неделю. Иногда вставала, подходила к шкафу, открывала, брала в горсть край платя, подносила к лицу, вдыхала Капин запах и садилась обратно. Тетка Мура варила супчик, приносила в спальню: «Ну, деточка, ну капельку!» Рина брала ложку, опускала в супчик, возила по дну тарелки. Вечером приезжала тетка Шура, несла в спальню то, что тетка Мура приготовила днем: «Ну, деточка, ну кусочек!» Тетка Мура ехала кормить и укладывать Аркашеньку. Где был Арик, Татьяна не запомнила. Запомнила ощущение трещины. Эта смерть в общем-то ненужной, неприятной и почти незнакомой ей Капы будто разделила жизнь на две половины. Позади осталась та, в которой с каждым днем всего становилось больше — людей, встреч, праздников, Катькиных пятерок, успехов Леонида. «Ваш муж — талант!» — целуя руку, говорили ей незнакомые дяди в те редкие разы, когда она встречалась с коллегами Леонида. Он уже давно перешагнул их совместную работу в почти детском НИИ, защитил кандидатскую и писал докторскую. А впереди маячила жизнь, в которой с каждым днем всего будет становиться меньше — и людей, и встреч, и праздников, — ну и что, что Катька растет, мы же стареем. Это раньше не старели, а может, и старели, не замечали только. А теперь замечаем.

— Знаешь, у психотерапевтов есть такой тест на самоутверждение, — сказала Татьяна Ляле, кода они в те дни выходили от Рины. — Берешь лист бумаги, делишь на две половинки. Слева записываешь свои минусы, справа — плюсы и смотришь, чего больше. Тебе не кажется, что у нашей жизни поменялся знак — с плюса на минус?

Ляля молча шла вперед.

— Я маму хочу забрать, — сказала наконец.

— Как... как забрать?

— Ну ты же знаешь, Мишке на работе квартиру дают. Далекое, правда, на Юго-Западе, зато отдельную. Не век же тебе со свекровью.

Оказалось, что можно жить самим — и ничего страшного. В первый вечер, когда Миша с Лялей перевезли к себе Марью Семеновну... «Катьке комната нужна, ты что, не понимаешь!» — строго сказала ей Ляля. Шли годы, и по мере того, как Марья Семеновна слабела, Ляля все больше и больше забирала себе функции главы семьи. Марья Семеновна покорно кивнула и начала собирать свои стариковские цапки... Так вот, в первый вечер

Татьяна подошла к белой кафельной печке в опустевшей («лысой», как сказал Леонид) комнате, погладила холодный бок и поцеловала. Прожили так недолго — год, может, полтора. Вдруг начали ломать дом, давать квартиры. Тетка Шура с теткой Мурой уже давно получили крошечную квартирку в Измайлове. Рина с Ариком путем многочисленных обменов перебрались поближе к ним, и Татьяна с Леонидом неожиданно оказались чуть ли не в соседнем доме.

Со старой квартиры уезжали поспешно, как будто надо было уложиться в какие-то неизвестно кем и зачем установленные сроки. Никто никаких сроков им не устанавливал. Можно было бы и не торопиться. Просто — уезжали. Поспешно. К себе. Домой. Когда грузовая машина уже нетерпеливо фыркала во дворе, Миша загружал последние книги, а Ляля увязывала в тюк забытых Катькой медведей и зайцев, Татьяна еще раз подошла к старой белой кафельной печке.

— Никому ты больше не нужна, — прошептала она. — Ну, прощай! — И почему-то стало очень обидно, что печка больше никому не нужна, и очень жалко, что ее нельзя взять с собой. Татьяна точно знала, что будет скучать по белой кафельной печке, которую давно уже никто не топил.

Сзади раздались шаги. Татьяна обернулась и увидела Леонида. Он нес что-то грязно-серое, колючее. Длинные вязальные спицы топорщились у него в руках.

— Узнаешь? — спросил он и щелкнул кнопкой.

Бывший шелковый зонтик расправил сломанные ребра и раскинул над ними полинявшие мятые крылья. На макушке зияла прореха.

— Каждый... — прошептала Татьяна и провела пальцем по серому боку...

— Охотник... — подхватил Леонид и укрыл ее зонтиком.

Они стояли посреди комнаты, взявшись за руки, и голая сорокаваттная лампочка светила им сквозь прореху, как маленькое солнце.

— Знаешь, на кого он похож? — спросила она. — На больного вороненка. Вот, ребра торчат. Возьмем его с собой?

Он кивнул.

Так, под зонтом, они вышли во двор, где нетерпеливо фыркала другая жизнь.

Новая квартира была ни на что не похожа. То есть вообще.

— Н-да. — Леонид почесал в затылке. — Придется приложить руки. Мишка, ты как?

Миша пнул ногой плинтус. Плинтус в испуге отскочил от стены. Кран в ванной плакал горючими в прямом смысле слезами. Плита отказывалась печь, зато жарила так, что дым стоял коромыслом. Мужчины взялись за молотки. Ляля принялась оттирать стекла, заляпанные масляной краской. Катька скакала вокруг, лезла под руку, мешала, требовала гвоздей и почему-то пилу.

— А ты что? Бездельничаешь? — крикнула она, пробегая мимо Татьяны.

Татьяна сидела в прихожей на чемодане, свесив руки, и думала, что, если сейчас ее поднимут и заставят что-то делать, она точно умрет. Еще она думала о кафельной печке, с которой прожила больше десяти лет. Как она там? Одна? Грустит, наверное. Еще она думала об акации за окном. И об оранжевом абажуре. И о том, что больше никто никогда не сядет за большой круглый стол, который они вчера разобрали и выбросили на помойку. И о том, как легко выбросить на помойку старую жизнь. Стоит только переменить место действия. Легко? Но вот она, Татьяна, сидит в прихожей на чемодане. Прихожая новая. А чемодан старый. В старом чемодане — старые латаные платья, старые истертые книги, старые

выщербленные чашки. Старые платья надо сносить до конца. Старые книги надо зачитать до дыр. Из старых чашек можно пить, пока они не разобьются. Она, Татьяна, как старое платье и старая чашка. Куда ни помести — будет прежней. Вместе с прежней жизнью.

Открылась дверь. Вошел Арик. Окинул взглядом руины. Хмыкнул. Ну понятно, за выселением. И скрылся. Через два часа появился снова и, как дрова, свалил к ногам Татьяны десяток обойных рулонов.

— Вот! — сказал громко и горделиво. — Для залы.

«Зала — это большая комната», — догадалась Татьяна.

Арик развернул один рулон. В глаза метнулось что-то золотое и малиновое. Сразу заломило виски. Арик стоял, приложив к глазу ладонь, как большой художник, и любовался обоями.

— Нет, шикарно? Скажи, шикарно? — спрашивал он и сам себе отвечал: — Шикарно!

Татьяна взяла свой чемодан и потащила в залу.

Квартирка была крошечная — две комнатки, похожие на ореховую скорлупу. Почему-то Татьяне именно это сравнение приходило на ум, когда она вечером открывала дверь и оказывалась в новом жилище. Быть может, потому, что они, как орешки, втроем плотно занимали все пространство квартирки — от стены до стены. Разойтись в прихожей, не въехав локтем в чужой бок, считалось большой удачей.

Новое жилище обживали вместе с Лялей. Шли в магазин «Свет». Ляля указывала на белый плафон в красный горошек — для кухни. Татьяна покупала белый плафон. Шли в магазин «Мебель». Ляля шепталась с продавцом, что-то переходило из руки в руку. В назначенное время подходили к заднему крыльцу магазина. Продавец зазывал внутрь, тыкал пальцем в полированный шкаф. Татьяна покупала полированный шкаф. Шли в магазин «Ткани». Ляля шупала пестрые тряпочки, кивала одобрительно. Татьяна покупала тряпочки. Ляля шила шторы. Опыта обживания пространства у Татьяны не было никакого. А у Ляли был. Пространства у Татьяны тоже никогда не было. А у Ляли было. Представления о том, что ей нужно, а что нет, Татьяна не имела. А Ляля имела. Так получилось, что все у них одинаковое: количество комнат, количество квадратных метров, полочки в ванной, плафоны на кухне, тряпочки на окнах, шкафы, диваны, посуда. Ляля специально объездила всю Москву, чтобы найти для Татьяны столовый сервиз — такой же, как у себя. Татьяна сервизу радовалась, и шторам радовалась, и плафонам, и полированный шкаф был прекрасен, и диван-раскладушка с дыркой посередине, куда каждую ночь скатывался Леонид, казался царским ложем. Начиналась новая жизнь. Своя. Собственная.

Мать и Марья Семеновна приходили почти каждый день. Сталкиваясь в коридорчике, отскакивали друг от друга, как однозарядные частицы. Неожиданно обе оказались в одинаковом положении. Теперь не Евдокия Васильевна приходила к Марье Семеновне в гости. Теперь не Марья Семеновна принимала Евдокию Васильевну. Теперь и та и другая звонили Татьяне, прежде чем приехать, и толклись на чужой кухне. Татьяна говорила: «Да, конечно. Мы ждем!» А могла сказать: «Нет, сегодня не надо, мы заняты». Не говорила, но могла. И они обе знали, что могла. И всегда об этом помнили. Эти отчужденность и отстраненность от жизни Татьяны и Леонида, вдруг так четко обозначившиеся и определенные штампом в паспорте о прописке и местом жительства, делали Марью Семеновну и Евдокию Васильевну равнозначными и равноправными. Равноправными в своем бесправии. За восстановление прав надо было бороться. Была объявлена война. Марья Семеновна приносила помидоры. Евдокия Васильевна хмыкала, бежала на рынок и покупала

в два раза больше. Евдокия Васильевна чистила картошку. Марья Семеновна неодобрительно качала головой и тушила капусту. Марья Семеновна покупала Катьке зимнее пальто. Евдокия Васильевна занимала очередь в «Детском мире», стояла ночь и приносила цигейковую шубу. Евдокия Васильевна садилась смотреть фигурное катание. Марья Семеновна подходила и переключала на программу «Время». Свои права на чужую жизнь — для них естественные и неотъемлемые — они выгрызали с оголтелостью и жадностью отставников. Разница все же была. И существенная. Она состояла в том, что Марья Семеновна, покидая поле боя, ехала к Ляле и Мише, а Евдокия Васильевна — в пустую коммунальную каморку. Ей не на ком было компенсироваться.

Татьяна и Леонид ютились по углам. Катька уходила к себе, в маленькую комнату, и закрывала дверь. Через полгода жизни в новой квартире как-то ночью Татьяна вдруг проснулась и увидела луну. Луна медленно пересекала окно. Когда луна скрылась за оконным переплетом, Татьяна встала и пошла на кухню. Налила чаю, села за стол и стала смотреть на луну, которая медленно пересекала кухонное окно. Утром на новенькой кухне за новеньким столом она кормила Леонида завтраком. Положив ему на тарелку сырники, отошла к окну и принялась барабанить пальцами по стеклу.

— Ты что? — спросил Леонид.

— Я у мамы вчера была. У нее вода из крана капает.

— Я зайду в выходные, почию.

— Нет, ты не понимаешь. Она не просто так капает. Она вообще не течет. Мама утром чайник ставит, он к вечеру накапывает. Она чай пьет. Вечером ставит, к утру накапывает. Она умывается. Всех выселили, а она... она там одна. И пол на кухне провалился.

— Ее тоже выселят.

— Да... выселят. Может, возьмем ее к себе, пока не выселили?

Леонид молчал.

— Тебе легче будет? — спросил наконец.

Она кивнула.

— Ну давай.

Легче не стало. Марья Семеновна и Евдокия Васильевна поменялись ролями. Мать завоевала территорию и, как любой завоеватель, не щадила побежденного. Теперь Марья Семеновна приходила в гости лично к ней, Евдокии Васильевне. Евдокия Васильевна выходила в коридор, цедила сквозь зубы: «Здрассьти!» — и смотрела, как Марья Семеновна снимает ботинки. «Вы на коврик, на коврик ставьте!» — говорила Евдокия Васильевна. Марья Семеновна ставила на коврик. Евдокия Васильевна хватала швабру и подтирала чистый пол. Однажды Марья Семеновна пришла, когда Татьяны не было дома. Леонид зашел в Катькину комнату.

— Евдокия Васильевна, вы не поможете там, на кухне?

Евдокия Васильевна вышла на кухню. Марья Семеновна сидела у стола, выпрямив спину и теребя в пальцах чайную ложечку. Смотрела перед собой пустыми глазами. Евдокия Васильевна удовлетворенно кивнула, мол, конечно, конечно, как не помочь, когда в доме люди, не самим же им по шкафам лазать. Пожарила яичницу. Покормила Леонида и Марью Семеновну. Яичница окончательно превратила Марью Семеновну в гостью.

Рину Евдокия Васильевна не любила и, когда та звонила, громко кричала Татьяне: «Иди! Тебя... эта!» И, передавая Татьяне трубку: «Звонит и звонит. Делать нечего, вот и повадилась выведывать». Татьяне от стыда хотелось залезть под стол, но приходилось идти к

телефону и разговаривать с Риной. «Ты не волнуйся, я же все понимаю», — тихо говорила Рина. От этого понимания хотелось повеситься. «Да, она права! Права!» — однажды чуть было не крикнула Татьяна, но от этой материнской правоты, высказанной так грубо и явно, становилось только хуже. Увидев Рину на пороге, мать бросала знаменитое «Здрассьти!» и удалялась к себе. К столу не выходила, а если выходила, то сидела с каменным лицом, по слогам роняя слова и по капле цедя вино из высокого фужера.

— Как ты думаешь, если к нам придет английская королева или Леонид Ильич Брежнев, она тоже скажет «Здрассьти!»? — смеялся Леонид.

Татьяна виновато улыбалась.

С Лялей — другое дело. Лялю мать почему-то считала своей. Принцип отбора был неясен. Трудно было предположить, что в выборе матери играла роль Татьянина привязанность. На такие мелочи мать внимания не обращала. Однако интуиция ее не подводила.

Катька немножко поскандалила по поводу того, что в ее комнату втиснули еще одну кровать и тем самым сильно ущемили личную свободу, но быстро утихла. Стало ясно, что никуда Евдокию Васильевну больше не переселят. Все пошло своим чередом. Только Леонид ей очень мешал. Все время попадался на пути. Свет в туалете не гасил. Пол в ванной заливал. Сквородку сжег. Денег нет, а сквородки жгут. Картошку принести не допросишься. И по вечерам велят звук в телевизоре выключать, ему, видите ли, звук мешает формулы царапать. Сидит и царапает. Сидит и царапает. А у Таньки приличного пальто нет.

— Ты меня простишь? — как-то спросила Татьяна Леонида.

— Давно простил. За все и навсегда.

Он улыбался своей насмешливой улыбкой, но ей казалось, что улыбку вырезали из глянцевого бумажки и приклеили к его лицу.

С годами каждый из них обрастал своей скорлупой. Ляля с Мишей стали тяжелы на подъем, из своего Юго-Запада выбирались редко. По вечерам Ляля бежала домой, кормила Мишу и Марью Семеновну. Миша читал газеты, потом сидел на кухне, смотрел, как Ляля возится с кастрюлями. По выходным ходили на рынок, делали генеральную уборку, Ляля готовила обед на неделю вперед.

Витенька с Аллой делали реверансы. Так Татьяна говорила. А эти двое и вправду вечно сюсюкали, оттопыривали пальчики, называли друг друга идиотскими прозвищами — какими-то Рыжиками, Коржиками, Мурзиками. В разговоре жеманничали, ничего не говорили прямо, все — намеком, намеком, подергивая бровками и поводя глазками. Когда приходили в гости, Алла еще на пороге слегка подпрыгивала и делала маленький книксен, а Витенька шаркал округлой ножкой, оттопыривал округлый задик и чмокал мимо щеки. Потом Алла долго приглаживала у зеркала идеально уложенные волосы, а Витенька поправлял платочек в нагрудном кармане. Он сам шил галстуки и платочки диких химических расцветок и страшно этим гордился.

— Когда Рыжий идет по улице Горького, это... — Витенька жмурился, и Татьяне казалось, что сейчас он поцелует кончики пальцев. — Это... фантастика! Смотрят все!

К себе, впрочем, не звали. Однако в общих забавах на чужой территории участвовали охотно. Однажды Катька потребовала, чтобы ее 7 ноября повели на демонстрацию.

— И в кого ты у меня такая активистка! — вздохнул Леонид, когда Катька в ультимативной форме заявила, что будет встречать день рождения на Красной площади и

непременно под революционные песни.

В кого активистка, было понятно. Ляля заседала в профкоме своего богом забытого НИИ, собирала деньги на дни рождения и на 8-е Марта после первой принятой коллективом рюмашки выходила из-за стола со своей цыганочкой, стреляя по сторонам круглыми украинскими глазами. Еще Ляля выпускала стенгазету «Перспектива», сама сочиняла стишки, сама писала фельетоны и дружеские шаржи рисовала тоже сама, в том числе и на себя. За все это ей полагалось два продуктовых заказа в неделю. Один отходил Татьяне и Леониду. Каждый четверг Леонид на метро и двух автобусах ехал к Ляле на работу за курицей и банкой зеленого горошка. Однажды приезжает, смотрит, а в газете «Перспектива» вместо стишков — белый кусок ватмана.

— Что, Лялька, перспектив никаких? — спросил, запихивая в пакет куриные когти.

— Никаких, Ленька, — вздохнув, ответила Ляля.

На демонстрациях Ляля всегда шла в, первом ряду, держа транспарант с названием института.

— У нас Лялька правоверная, — говорил Леонид.

— Да брось ты, — отвечала Татьяна. — Энергию девать некуда, а так все в порядке, не сомневайся.

Катьку снабдили воздушным шариком и красным флажком и отвезли в семь часов утра к Марьинскому мосторгу, где собирался Лялин институт. Холод стоял дьявольский. И ветер, и ледяная каша под ногами, и черт знает что с расхристанных небес.

— Может, останешься? — спросила Татьяна, затягивая на Катьке шарф.

Катька помотала головой.

Шли долго, останавливаясь через каждые сто метров, пропуская другие, более важные колонны. Время от времени Ляля стаскивала с Катькиных ручонков варежки и энергично растирала пальчики, похожие на палочки эскимо. На улице Горького движение совсем застопорилось. Стояли, ждали. Прошел слух, что Брежнев устал и скоро уйдет с Мавзолея, но надо подождать. Подождали. Потом еще. Потом Ляля посмотрела на жалобные Катькины глазенки, на разбухшие от сырости сапоги и решительно выдернула ее из колонны.

— Сейчас... сейчас согреешься, — пробормотала Ляля и побежала к соседнему дому.

Влетела в подъезд, понеслась по лестнице. Катька болталась сзади, с трудом передвигая одеревеневшими ногами.

— Мы куда?

— К дяде Вите и тете Алле.

Вдруг остановилась, велела Катьке обождать и понеслась обратно, на улицу. На улице нащупала в кармане двушку, стала накручивать диск в автомате. Витенька взял трубку сразу, как будто ждал звонка.

— Витька! — крикнула Ляля. — У меня Катька замерзает. Мы с демонстрации сбежали. Чаю нальете?

— Подожди секундочку.

В трубке раздался шорох, шепот и раздраженный возглас Аллы.

— Ты понимаешь, Ляль... — виновато произнес Витенька. — Сегодня никак не получится. Может, в другой раз, а?

Ляля повесила трубку, вышла из автомата, аккуратно прикрыла дверь. В подъезде села перед Катькой на корточки, поцеловала в нос.

— Поехали к нам. Бабушка тебя заждалась. Родителям позвоним, печенье испечем —

будет день рождения.

Вечером, пока Катька наворачивала печенье, Ляля в лицах рассказывала эту кошмарную историю.

— ...И не пустили! Понимаете, нас просто не пустили на порог!

Марья Семеновна ахала, хваталась за Катькин лобик — не горячий ли? Татьяна ахала, хваталась за Катькины ножки — не холодные ли? Леонид усмехался. Миша махал рукой из-за газеты — мол, ничего нового вы мне не сообщили.

По всему выходило, что дружить придется с Риной и Ариком.

Об этой дружбе Татьяна думала с недоумением, как об ошибке природы, сбое в высшем логическом механизме. Леонид бормотал что-то о притяжении разнозарядных частиц, но Татьяна была уверена, что в жизни законы физики не действуют, а если и действуют, то наоборот. Вот идут по дороге люди. Идут в разные стороны. И почему-то все время сталкиваются. Почему?

— Ты посмотри все одинаковые. Мы с тобой одинаковые, вы с Лялькой одинаковые, и все вместе мы тоже одинаковые, — говорила она. — Иначе — как вместе жить?

Леонид соглашался, но выходило — дружить придется с Ариком и Риной.

Так начался в их отношениях период запойной дружбы. Заводилой, разумеется, выступал Арик. Он был большой специалист по организации увеселительных мероприятий в кругу семьи. Были подозрения, что за кругом он тоже много чего организовывал. Летом в выходные совал всех в машину (он первым купил темно-красные «Жигули» и ласково звал их «вишенкой»), Катьку с Аркашенькой — до кучи! — на первое сиденье, и летел куда-нибудь за город, на полянку у реки с пушистой травкой и мелким прибрежным песочком. Откуда он только знал столько полянок, лужаек, опушек? Рина шепотом жаловалась Татьяне, что под эти кусточки он возит девушек. Выгрузив весь выводок, Арик начинал работать Дедом Морозом: доставал из багажника дикое количество снеди, мячи, ракетки, ласты, разводил костер, расчищал поле для футбола, покрикивал, подталкивал, понукал. Дети визжали. Жизнь была ключом. В следующие выходные мчались на дачу к Ляле и Мише. Там играли в пинг-понг, варили щи из молодой крапивы, дотемна распевали песни в трухлявой беседке. В отпуск тоже ездили вместе: Арик разыскал дивное местечко в Эстонии, на озерах. Зимой почти каждый вечер ходили друг к другу ужинать. То Арик с Риной к Татьяне и Леониду, то наоборот. Татьяна это, конечно, утомляло. Мама уже болела, целыми днями ворчала, злилась — характерец тот еще был! Катька опять же, стирка-готовка, а тут — будь любезна! — мечи еду на стол или — того хуже! — вставай, одевайся, наводи марафет, тащись из дома. К тому же с Риной была тощища смертная.

Арик хвастал. О, как он хвастал! Он был гений хвастовства, этот Арик.

— Уймись, — говорила ему Ляля. — Ты уже всего добился, и, самое главное, мы уже об этом знаем.

Но Арик не унимался:

— И тогда я беру банку икры, коньячок армянский и — к нему домой. Он — счастлив. Посидели, выпили, он говорит: «Какие проблемы, Арик? Приезжай в сервис, я все сделаю. Только приезжай!»

У него всегда имелся в запасе какой-нибудь «он», к которому можно поехать с банкой икры. Начальники автобаз, директора магазинов, театральные администраторы, завотделами и замминистрам в безумном хороводе проносились по его жизни, задевая царственными крылами ошалевших родственников. Со всеми он был на «ты», всех называл по именам, всех

хлопал по плечу. Бедный мальчик из Мариуполя, дорвавшийся до столицы, он блестел круглыми пьяными глазами и круглой коричневой лысиной и, обнимая красавицу Лялю, а заодно и Рину, жарко шептал:

— Ух, девочки мои! Любимые мои! А давайте в субботу за город, в «Русскую избу»! А? Там директор — чудный мужик! Я ему говорю: «У меня сестрички — закачаешься!» А он: «Какие проблемы, Арик? Привози всех! Только привози!»

Какой директор? Какая изба? Никуда они, разумеется, не ехали. На следующий день Арик напроць обо всем забывал и, наморщив коричневый лоб, долго не мог взять в толк, о чем, собственно, речь.

«Как бог!» Это он о себе так говорил: «Как бог!»

— Кто умеет играть в пинг-понг? Арик, ты как играешь? — кричала Ляля, когда на даче наконец-то поставили теннисный стол.

— Как бог! — отвечал Арик, опуская очи долу и сверкая шоколадной лысиной.

Старые пни корчевали под его непосредственным руководством. Он давал рабочим советы.

— Левее! Правее! Да не туда! Сюда! — Зычный голос Арика оглашал чинные дачные окрестности и перекликался с гудками дальних электричек.

— Давно с лесоповала? — хмуро поинтересовался один из работяг. — Сам-то когда-нибудь корчевал?

— А то!

— Ну и как?

— Как бог!

Иногда Татьяна ловила себя на том, что ненавидит Арика — он занимал слишком много места. Это было новое чувство — чувство, что пришла пора что-то и кого-то ненавидеть. Ненавидеть Татьяна не хотела. Ей даже чувство неприязни всегда было тягостно. Но так выходило — надо. Иначе не проживешь. Эту внутреннюю ненависть к каким-то жизненным явлениям и проявлениям Татьяна — так же внутренне, про себя — оправдывала тем, что пора же как-то определяться с собственным мнением, нельзя же всю жизнь со всеми соглашаться, на все кивать, всем поддакивать. Ненависть — это собственное мнение в крайнем проявлении. «Вот мое мнение: больше всего на свете я ненавижу людей, которые занимают слишком много места, потому что, когда человек занимает слишком много места, это всегда немножко незаслуженно. Когда человек занимает слишком много места, он всегда отодвигает в сторону другого. Получается, что его место... оно слегка присвоенное». Арик в этом смысле мог считаться чемпионом мира. Он занимал все жизненное пространство — и свое, и чужое, и еще чуть-чуть, и окрестности. Он размахивал руками, громко хохотал над собственными шутками, вытирал потную лысину и кричал на весь стол: «А вот я вам сейчас скажу!» Это означало, что Арик «а вот вам сейчас скажет», как жить дальше. И говорил. Народ безмолвствовал, когда Арик, засовывая в пасть ломоть осетрины, рассказывал, как в детстве собирал деньги на мороженое. Вставал в автобусе к кассе и говорил всем входящим: «Пятачок не кидайте. Я гривенник бросил». Так потихоньку-полегоньку набиралось копеек пятьдесят. Обустраиваться Арик умел даже в автобусе, а своей способностью обводить простаков вокруг пальца страшно гордился. Он вообще был патологически доволен собой.

Что он делал как бог, так это танцевал — будто наполнялся летучим веселящим газом. А похож был на черта: маленький, смуглый, лысый, нос крючком, длинные тонкие губы.

Женщины сходили с ума.

Рина смотрела на него снизу вверх, бегала вокруг на задних лапах. Арик еще не дорассказал свой коронный анекдот, а Рина уже смеется. Арик еще не утер губы, а Рина уже тащит кофе. Арик только начал делать Катьке замечание, что «за столом девочки так себя не ведут», а Рина уже кивает. Арик поводил глазом, и Рина наклонялась к Татьянинному уху, кивала в сторону Аркашеньки, шепотом называла какую-то цифру. Татьяна ничего не понимала, терялась. Куда кивает? Что за цифра? Как реагировать? Беспомощно смотрела на Лялю. Ляля смеялась.

— Глупая! — говорила громко, так, чтобы все слышали. — Это Риночка тебе новую цепочку показывает. За двести рублей. Так ведь, Риночка?

Риночка кивала. Раздвигала плотные подушечки век, смотрела испытующе — произвело ли впечатление? Произвело. На двести рублей Татьяна месяц кормила семью. В гости к Рине и Арику Татьяна ходила как в музей: вот витрина с хрусталем, вот — с фарфором. Вот парадное платье императрицы. Все у Риной было ловко выставлено, всему находилось место, все подавалось с лучшей стороны. Когда выходили на улицу, Татьяна каждый раз говорила Леониду:

— Давай, уж наконец, купим новый диван!

— Давай! — соглашался Леонид. — И Катьке кровать!

— И телевизор!

— И шкаф!

— А тебе — шубу из котика!

— Лучше из кошечки. А тебе — костюм, двубортный, полосатый.

— Что я, конференсье, что ли, в полосатом?

— Ну, тогда клетчатый. Зеленый с красным. Годится?

— Годится. А тарелки эти треснувшие надо все-таки сменить.

Так и не сменили.

Да, и пальто. Рина Арику всегда подавала пальто. Стояла в прихожей у теток — по воскресеньям обедали у них, — держала на вытянутых руках, как бы готовясь принять Арика в это пальто целиком, как младенца. Ждала, пока он расцелуется с тетей Шурой, примет от тети Муры кусочек торта в целлофановом пакетике, сунет ноги в башмаки. Запеленав, укутывала его в шарф. «Э-эх! В глаза смотрит, хвостом вертит!» — хором тянули Леонид и Миша, мечтательно закатывая глаза. Так же неистово она обожала сына Аркашеньку — существо с неявно выраженными чертами лица, не располагающими к подробному прочтению. Ради двух своих Ариков Рина была готова на все. Готовность ее была круглосуточной и ежесекундной. Передышки Рина себе не давала. Ну, то есть самую малость, конечно. В краткие минуты роздыха выходила на кухню, где Татьяна после затянувшегося застолья мыла посуду, собирала губы в куриную гузку и цедила, как сквозь сито пропуская слова:

— А она-то, она-то, огурцов пожалела!

Какие огурцы? Кто пожалел? Татьяна опять ничего не понимала. С Риной всегда так — произносит вроде простые слова, а смысла не получается.

— У нее в холодильнике целая банка. Я сама видела. Пожалела огурцов-то! — шипела Рина, и Татьяне казалось, что она сейчас подползет сзади и ужалит в спину.

— Что ты несешь! Кто тебе огурцов жалеет! — возмущалась Татьяна и открывала холодильник. Никаких огурцов там, разумеется, не было.

Но Рина только поджимала губы, так что они подпирали основание носа. Потом подходила к Татьяне, щупала ткань платья, потом оглаживала свое, кримпленовое, и, косясь в сторону, осторожно спрашивала:

— А... у тебя все в порядке?

В порядке у Татьяны мало чего было, и Рина это прекрасно знала. У Леонида не ладилось с диссертацией, он злился, молчал, по вечерам закрывался в кухне, курил в форточку, чертил что-то на клочках бумаги. Катька часто болела. Еще чаще хватала двойки. Мама показывала характер. А других непорядков у Татьяны не было. И Рина это тоже прекрасно знала. И вопрос свой как бы специально относила к Леониду, сидящему сей момент в теткиной гостиной с мрачной физиономией и выражающему всей этой физиономией готовность немедленно встать и уйти к своим бумажкам. Только проблемы с работой Рину мало интересовали. Рина делала заход с другой стороны. Она как бы намекала на некие неурядицы, существующие лично между Татьяной и Леонидом. Не то чтобы она ждала от Татьяны каких-то признаний. Никаких признаний не было и быть не могло. Не то чтобы она знала то, что Татьяна пыталась от нее скрыть. Скрывать было нечего. Просто своим вопросом она ставила под сомнение благополучие Татьяниной семейной жизни и давала понять, что по отношению к ней, Рине, подобные вопросы были бы, разумеется, неуместны, а вот Татьяне — почему бы не задать. Тем более на правах более счастливой и успешной в семейном отношении родственницы. Больше всего на свете Татьяна ненавидела эту мелкую куриную бытовую подлость.

— Все у меня в порядке! — отрезала она и отворачивалась к посуде.

— Ага! — бормотала Рина и понимающе кивала. Дескать, что ты еще могла сказать, милочка!

— Она с ума сходит со своим Ариком, — говорила Татьяна Ляле. — Все же знают, что он ей изменяет.

Арик гулял. О, как он гулял, этот Арик! Примерно так же, как хвастал. Как-то, проходя по улице Горького, Татьяна увидела, как Арик выкатывается из «Арагви» с двумя девицами. Испугалась, заметалась, спряталась за деревом в скверике напротив. Арик вел девиц к машине, держа за попки, похожие на хорошо надутые воздушные шарик. Девушки хихикали, Арик вертелся между ними, как уж, нашептывая что-то одновременно в два ушка, подталкивая вперед надутые попки, облизывая узкие губы. Наконец уехали. Татьяна выбралась из-за дерева и побрела вниз, к площади Революции. На душе было гадко. «Ты-то чего испугалась? — говорила себе Татьяна. — Что заметит? Тебе-то что? Он-то тебя не боится. Спряталась, следила. Дура!»

— Ты как думаешь, Рина следит за Ариком? — спросила она Лялю, когда они в воскресенье возились на дачной кухне.

Ляля задумчиво помешала щи.

— А ты бы за Ленкой следила?

— Ты с ума сошла!

— А Рина почему должна?

Татьяна замялась.

— Она — другая, — подсказала Ляля.

Татьяна кивнула.

— Счастливая ты, Танька, — вдруг сказала Ляля. — Самая счастливая из нас.

Татьяна вздрогнула. Счастливой она себя не ощущала. Вернее, так: не привыкла думать

о себе как о счастливой.

— У тебя и Ленька, и Катька, — продолжала Ляля. — Ты не все понимаешь. Бывает же, что у человека чего-то нет, вот он и цепляется за то, что есть, делает вид, что все в порядке, — и кивнула на сковородку с котлетами.

Татьяна подхватила сковородку, Ляля взяла кастрюлю, и они пошли к беседке.

Вот они идут по дорожке. Несут щи и котлеты. Вот огибают кусты барбариса. Вот подходят к беседке. Татьяна видит: Рина подсаживается к Арику, он берет ее за бедро и мнет, как будто месит тесто. Ляля ставит на стол кастрюлю, протягивает руку за Мишиной тарелкой, Миша наклоняется и целует ее запястье. Витенька кладет руку на плечо Аллы, заглядывает ей в глаза, Алла улыбается кончиками губ и просит передать хлеб. Леонид тянет Татьяну к себе, усаживает рядом, наклоняется, щекочет шею ресницами, шепчет что-то смешное. Кто другой? Кто такой же, как ты?

Он любил случайные дома. Очень любил. Больше своего. Нет, свой дом он тоже любил. Любил, потому что гордился. Гордился югославским унитазом, финской мойкой, холодильником «Розенлев» красного цвета — а что? Ну, красного, и ничего, глаз не режет, особенно если знать, сколько валютных чеков стоило это великолепие, похожее на пасть хищного зверя. Он гордился спальней из карельской березы и немецкими фотообоями, только входящими в моду. Кусок стены в гостиной был превращен в кусочек райской жизни — полпальмы, химической синевы волна, песчаный пляж, напоминающий рассыпанное пшено, полосатый шезлонг, в шезлонге — голая девушка. Девушка держит в руке высокий стакан с тонкой соломинкой и разноцветным бумажным зонтиком. Кр-р-расота! Через год обои слегка полиняли, пальма пожухла, девушка приобрела зеленовато-мертвенный оттенок, но сути это не меняло. Обои стоили бешеных денег. Отдельно он гордился магнитофоном «Шарп», зачем-то купленным Аркашеньке перед поступлением в школу — «на вырост!». Аркашенька магнитофон, разумеется, не слушал. Во время приема больших гостей его выносили в гостиную и плясали под Аркашу Северного или Вилли Токарева. Особенно он гордился Риной в кримплене, сидящей во главе стола. Рина была большой специалист по части семейного уюта. Под каждым кустом могла устроить и стол и дом. В квартире у нее все сверкало, каждая чашка — на своем месте, к ужину — куриные котлетки с цветной капустой. От цветной капусты сводило скулы, но гордиться это не мешало. Рине были куплены серьги — в центре крупный изумруд, а вокруг россыпь мелких бриллиантов. Серьги хранились в сейфе у него на работе и приносились домой в случаях крайней необходимости вроде банкета с нужными людьми. Рина была не только незаменимой женой и чудной хозяйкой. Она была соратницей. Бутылку водки и кусочек севрюжки всегда держала наготове. Мало ли, кого он приведет в дом. Всем этим он очень гордился. Все это он очень любил. Но случайные дома любил больше.

В случайном доме можно было сказать: «Вчера ужинал с директором Новодевичьего кладбища. Классный мужик! Обещал ему помочь. А осетринку подавали! Нет, ты меня слушай, я тебе скажу, в какой гостинице жить в Риге! Что, телефончик? Телефончик будет. Устроишься по классу люкс». А можно не говорить. Под настроение. В случайном доме не надо похлопывать по красному упитанному боку «розенлева» и не надо гладить по лакированной спинке карельскую березу, чтобы обратить внимание общественности на их исключительную ценность. В случайных домах можно никем не казаться. Потому что в случайных домах и люди — случайные.

Его случайными людьми были сослуживец — старый холостяк, большую часть времени проводящий в командировках, — и бывший одноклассник, счастливый обладатель двухкомнатной квартирки. Ключи от старого холостяка и бывшего одноклассника он хранил в том же сейфе, что и Ринины серьги. К старому холостяку и бывшему однокласснику он возил девочек. С девочками тоже получалось легче. Можно было сказать: «Ну что, махнем летом в Сочи? А? Да что ты, милая, только в СВ! В других не ездим!» Так сказать, что называется, для куражу, для пущего авторитета, имея в виду, что все это блеф и ни в какие Сочи никаким СВ никто, конечно, не махнет. А можно было ничего не говорить. Просто повалить на не слишком свежие простыни, наспех выхваченные из чужого шкафа. Девочкам было все равно. И ему все равно. Девочек не надо было учить жить, укоризненно покачивая головой и высоко вскинув брови: «А телевизор-то, телевизор пора менять. Что же ты, Ляленька! А стеночка-то как исцарапана. Совсем ты, Ленка, мышей не ловишь!» Поверхностные дружбы и случайные связи ослабляли какую-то важную натянутую пружинку в его вечно взведенном, как курок, организме. «Призван и мобилизован», — говорила Ляля о его постоянной готовности быть первым и лучшим. «Самый-самый-самый», — отвечала Татьяна названием детского мультика. В случайных домах он отдыхал. Освобождался. Главным образом от самого себя.

Девушки попадались теплые и холодные. Эта оказалась теплая. «Вот с таким телевизором!» — доложил он потом однокласснику и обрисовал руками размеры ее зада. Девушка выпила коньяку. Закусила лимоном. Посмеялась анекдоту про тещу, который он рассказал. Так, смеющуюся, он ее и взял. Хорошо! Домой приехал поздно. Очень поздно. Осторожно снял ботинки, прямо в носках прошел в спальню. Рина спала. На спинке стула — аккуратно сложенное домашнее платье. На трюмо — флакончики французских духов. Духи были дорогие. Стояли нераспечатанные.

— Дай понюхать! — сказала как-то Ляля.

— Ты что! Знаешь, сколько они стоят?

— Ага, понятно. Выставочный вариант.

Арик тихонько забрался под одеяло, нащупал Ринин бок, повернул ее к себе и деловито вошел в нее. Откинулся на подушки. Захрапел. Рина выбралась из кровати, укрыла Арика одеялом и вышла в гостиную. Одежда Арика была свалена кучей прямо посреди ковра. Рина наклонилась, покопалась в карманах и выудила клочок бумажки. Спрятала в карман халата. Сидя на краешке ванны, развернула бумажку. Семь корявых карандашных циферок. Телефон. Под телефоном — подпись: «Лена». Рина вертела бумажку с довольной улыбкой тихой школьницы, заглянувшей в чужую тетрадку и обнаружившей там ошибку, и вышла из ванной. В гостиной снова наклонилась над кучей одежды и сунула записку обратно в карман пиджака. Она знала: удерживать — бесполезно, запрещать — бессмысленно. Лучше пометить территорию свободы, ограничив ее записочками с детскими карандашными корявыми циферками. Она сильнее этих куколок, потому что за ней то, что для Арика важнее всех ножек и мордашек в мире, — сын, дом и клан.

— Интересно, о чем она думает, когда засыпает? — однажды спросила Татьяна Лялю. Давно спросила.

Ляля пожала плечами:

— Черт их знает, этих инопланетян.

Вдруг Арик загорелся везти всех в Сухуми.

— Брось! — сказала Ляля. — Ну куда мы всем колхозом да еще с детьми!

— Именно колхозом и именно с детьми! — отвечал Арик.

Он как раз переживал период повышенной семейственности и пытался сбить всех в одну стаю.

И поехали. Билеты были взяты самые лучшие. Четыре купе в спальном вагоне. Арик расстарался. Катька сначала заартачилась, раскапризничалась, категорически отказалась помещаться с Аркашенькой в одном купе под тем предлогом, что он, мол, мальчик и вообще... Но Татьяна цыкнула, посмотрела строго и водворила Катьку на место. С Аркашенькой Катька не дружила. А тот, чувствуя ее неприязнь, бегал вокруг, заглядывал в глаза и, поймав хмурый Катькин взгляд, говорил какую-нибудь детскую колкость.

— А у тебя папа... у тебя папа ничего не может, а у меня может все! — бросал Аркашенька и, затаив дыхание, ждал обиды.

Катька поводила плечиком. Усмехалась. Все-таки она была на четыре года старше. Ей уже было почти двенадцать.

— Что, и луну с неба? — холодно интересовалась она.

— И луну! — отчаянно кричал Аркашенька, понимая, что никакую луну никто ему не достанет.

Их домик стоял у подножия горы.

— Живите! — сказала старуха в черном платке, которую Арик разыскал на вокзальной площади. У них там был местный центр туристических услуг во главе с дядей Автандилом, который сидел посреди площади на деревянном складном стульчике и распределял приезжих по квартирам. — Живите! Ключей не надо. Никто не придет.

Они вошли. Мыши прыснули из-под ног. Рина взвизгнула. Ляля провела рукой по грязному окну. Татьяна копнула носком сандаляки кучу гнилой соломы, сваленной в углу. Миша вздохнул. Печка щерилась черным прокопченным ртом, как будто из него выбили все зубы.

— Ну, значит, так, — сказала Ляля и повела плечиком.

Через минуту Рина мыла пол, Татьяна бежала в магазин за ситцем, Арику велено было немедленно увести детей, а Миша с Леонидом лежали в лопухах под чужим забором. Выслеживали соседского котенка.

— Хорошо отдыхаем! — сказал Леонид. — Спасибо Арику.

— Тсс! — отозвался Миша и приложил палец к губам. — Смотри, вон он. Погулять вышел.

Котенка отловили. Мыши затихли. В щербатой печке Ляля сварганила что-то невообразимое из баклажан и назвала красивым словом «соте». Спать легли на новых черно-белых полосатых простынях — ничего, кроме матрасной ткани, Татьяне купить не удалось, — на окнах колыхались такие же полосатые занавесочки, и жизнь назавтра пошла роскошная.

На следующий день за котенком пришли. Громадная баба, несмотря на влажную сухумскую духоту почему-то в негнущемся черном суконном пиджаке и такой же негнущейся черной юбке в пол, появилась на пороге их хибарки.

— Где моя кошечка? — спросила малюточка басом.

Кошечку отдали, но мыши уже знали, что шутки с новыми жильцами плохи, не ровен час притащат взрослого кота, и старались на глаза не показываться.

Днем ходили на пляж. Покупали горячую кукурузу. Лежали молча на банных

полотенцах. Говорить не хотелось. Двигаться — тем более. Арик сразу отваливал. Он себе завел компанию престарелых преферансистов и был сильно воодушевлен своей способностью обводить простаков вокруг пальца. Катька, несмотря на свой внушительный возраст, капризничала наотмашь.

— Купи-и-и! — ныла она, тыча пальцем в какую-нибудь ерунду вроде резиновых зайцев или леденцовых петухов на палке.

— Нет! — строго говорила Татьяна. Петухов она особенно опасалась, считая разносчиками кишечных инфекций.

— Тогда вот это! — ныла Катька.

— Нет! — строго говорил Леонид.

— Тогда вон то!

— Нет!

Аркашенька вился тут же. Ему покупали всё.

— Ну купите хоть что-нибудь! — наконец с отчаянием взывала Катька, и Ляля сдалась.

— Совсем ребенка замучили! — пробормотала она и купила полосатое пирожное.

Это полосатое пирожное — корж светлый, корж темный — Катька выпрашивала с первого дня пребывания в Сухуми. Татьяна сильно сомневалась в его достоинствах и честно предупредила Катьку, что пирожное может быть не таким вкусным, как кажется. Но Катька не поверила. Катька считала, что форма обязательно определяет содержание, что все красивое — хорошее, иначе быть не может.

— Ну как ты не понимаешь, мама! — солидно объясняла она Татьяне. — Вот ты у меня красивая? Красивая! Ну что ты смеешься? Хочешь, у папы спросим. А хорошая? Хорошая! А раз хорошая — тогда купи пирожное!

— Ты что, думаешь, что человек внешне и внутренне всегда одинаковый? — спрашивала Татьяна.

Катька кивала. «Может, она права?» — думала Татьяна.

Пирожное оказалось ужасным. Катька давилась, но из принципа ела. С усилием сглотнув последние крошки, жалобно улыбнулась и липкой ладошкой вытерла слезы, выступившие на глазах от напряжения.

— Ну как, вкусно было? — подколола Татьяна.

— Очень! — мужественно ответила Катька.

На третий день пошли в поход за кизилом и обнаружили дивное горное озеро — круглое, будто нарисованное циркулем, с ледяной сладкой водой. А неподалеку — километра два, не больше — обосновалась археологическая экспедиция. Там можно было посмотреть и даже подержать в руках дивно прокопченные, замшелые, заросшие плесенью черепки, потрепаться с археологами и сходить с ними в маленький туристский ресторанчик, вдарить по шашлычку. Арик брал в одну руку большой костяной рог, другую отводил далеко в сторону и произносил длинный кавказский тост. Потом опрокидывал рог в рот, молодое кислое вино текло по его острому подбородку, и одна струйка обязательно забиралась за пазуху. Арик срывал рубаху, вытирал ею грудь и широким жестом отбрасывал прочь. В душе он был атлет, этот Арик. Рина глядела с тихой гордостью на своего молодцеватого мужа. Остальные посмеивались, но вино пили, и шашлычки ели, и говорили, мол, молодец, Арик, что привез нас сюда, под Южный Крест. Хорошее дело. В воскресенье ходили на базар, где рядом с деревенскими полосатыми ковриками, глиняными тонкошеими кувшинами прямо на земле были свалены связки чурчхелы, похожей на детскую игрушку «уйди-уйди», и

круглые головки твердого белого сыра. Сыром хорошо было заедать кислое вино, сидя на трухлявой скамейке в саду и глядя в низкое южное небо, усыпанное мурашками звезд.

Через неделю Арик начал томиться. Провожать тоскливым взглядом голых туристических женщин с загорелыми ногами. Шумно вздыхать, почесывая меховую грудь и покачивая лысой головой. По вечерам он тихонько исчезал из сада и шел на набережную, где престарелые преферансисты пили вино в прибрежном кафе и заигрывали с отдыхающими тетеньками, которые пытались казаться ночными бабочками. После общения с ночными бабочками Арик долго не мог успокоиться, кричал и бродил по ночному саду среди диковинных цветов, распугивая светлячков. Наутро его никак не могли добудиться.

— Скучно отдыхаем, — говорил Арик, появляясь к полудню на пляже. — В ресторан, что ли, сходить.

И они пошли в ресторан. Вернее, поехали. На двух такси. По сухумскому серпантину, высоко-высоко, далеко-далеко, в горное ущелье, где столики стояли прямо в огромной вырубленной скале, а сверху свешивались колючие лапы каких-то неприрученных кустов и щекотали шею и голые плечи. Ели шашлык. Порядком, впрочем, поднадоевший, но — как же в Сухуми и без шашлыка? Непорядок. А Арик любил, чтобы в таком важном деле, как отдых и развлечения, особенно винно-водочные, был порядок.

— Ты вот что, как там тебя... Тенгиз... ты вот что, Тенгиз, ты нам сделай как надо, — говорил он, держа официанта за пуговицу согнутым пальцем, и Татьяну передергивало от этого «как там тебя». Ей казалось, что официант сейчас даст Арику по морде, и будет безобразно, стыдно, страшно, невыносимо, и отдых будет испорчен, и при воспоминаниях о нем будет жарко загораться в груди. Но официант шел и делал Арику «как надо». И Арик похлопывал его по руке чуть ниже плеча и покровительственно бросал: «Молодец!» И официант улыбался белозубой улыбкой гордого сына гор, который почему-то страшно рад превратиться в домашнего щенка и лечь на коврик у двери. Арик как-то так умудрялся разговаривать с официантами, что они считали его своим. Или, напротив, большим начальником. Им почему-то нравилось, что он держит их за пуговицу согнутым пальцем, говорит «как там тебя» и похлопывает по рукаву чуть пониже плеча.

На обратном пути заехали еще в какую-то харчевню, похожую на постоялый двор, где после пахучих пряных шашлыков надо было обязательно — Арик особенно на этом настаивал — отведать несоленую безвкусную мамалыгу. Так сказать, на посошок. Для контраста и воспитания вкуса. После мамалыги Катька совсем сомлела и заявила, что если поедут на такси, то ее непременно стошнит. Пошли пешком. Спускались по сухумскому серпантину, все больше отдаляясь и от Южного Креста, и от Большой Медведицы, галдели, хохотали, вдруг остановились. Татьяна, подняв вверх руку, показала Леониду на огромную пихту:

— Хочу вон тут ветку!

Там, под самой макушкой, болталась ветка с огромными шишками, отливающими в свете фонарей желтым световорным глянцем. Арик вдруг рванулся вперед и полез на пихту, ловко, как обезьянка, перебирая ногами и обдирая ладони о заскорузлую чешую ствола. Миша сделал шаг вперед, неуверенно обернулся, снял очки и, близоруко щурясь, поглядел на Лялю. Ляля взяла его под руку и подтянула поближе к себе. Леонид стоял, положив руку на плечо Татьяне, насмешливо улыбался. Арик долез до верхушки, дотянулся до ветки, долго с ней боролся — ветка никак не хотела расставаться с пихтой, упиралась, пружинила и хлестала Арика по лицу мягкими расплюснутыми иглами. Наконец, с веткой в руках Арик

скатился вниз. Подошел к Татьяне и протянул ей ветку, слегка вывернув руки так, чтобы она непременно заметила расцарапанные в кровь ладони. Татьяна ветку взяла, равнодушно сказала: «Спасибо, Аринька!», сорвала шишку и понюхала смолу. Пошли дальше. Татьяна шла впереди под руку с Леонидом и размахивала веткой. Помахала-помахала и бросила в кювет. Рина ветку подобрала, тоже оторвала шишку и понюхала смолу. Домой вернулись в молчании. Молча разошлись по комнатам, забыв о двух бутылках «Хванчкары», скучающих в холодной печке в ожидании вечерних посиделок. Вроде и так много выпили, чего уж там.

Ночью лежали без сна. В окно вползал тяжелый влажный воздух, и казалось, что дышишь парным молоком.

— Ты почему за веткой не полез? — шепотом спросила Татьяна Леонида.

— А ты хотела, чтобы я тоже полез?

— Нет, не тоже. Я хотела, чтобы ты просто полез.

— Ах ты глупая. Какая разница — полез — не полез! Разве мне надо что-то тебе доказывать?

В саду трещали цикады. Арик бродил по саду среди диковинных цветов и распугивал светлячков, а те подмигивали ему хитрыми глазками, будто знали что-то, о чем сам он даже не хотел догадываться.

Ветка с оборванными шишками стояла на окне их с Риной комнаты. Рина поставила ее в бутылку из-под «Хванчкары», расправила смятые иглы и налила воды. Ровно полбутылки — чтобы ветка не захлебнулась.

Летом 80-го Миша привел на дачу трех мужиков.

— Зачем? — спросила Ляля.

— Ремонт будут делать.

Ляля посмотрела на дом. Дом разбухшим скособоченным грибом торчал между сосен. Крыша текла. Ступеньки сгнили. Перила завалились. На полу в особо опасных местах, куда ни под каким видом не должна была ступать нога человека, Ляля сделала пометки мелом. Семейство ежей, жившее под крыльцом, накануне покинуло дачу и ушло жить на соседний участок — впереди ежика, следом три ежонка.

— Ну, раз ежи ушли... — задумчиво сказала Ляля и ремонт разрешила.

Мужики прошли к сараю, вытащили три доски и стали прилаживать возле клумбы с флоксами.

— Это что? — строго спросила Ляля.

— Диван будем строить, — хмуро отозвался один из мужиков.

— Простите... — Терялась Ляля редко, но диван как-то выбил ее из колеи. — Вы сказали — диван?

— Диван, диван.

— Для того, чтобы спать?

— Ну, это уж вам виднее, можете спать, можете не спать.

Через три дня возле флоксов образовалась скамейка с полукруглой спинкой, какие стоят во всех парках культуры. Мужики выкрасили скамейку зеленой краской, съели по тарелке борща и ушли, сказав напоследок:

— Диван принимайте!

— А ремонт? — крикнула Ляля им вслед.

— А ремонт... — И хмурый мужик характерным жестом потер большой палец об

указательный.

Ляля подошла к дому, погладила по облупившемуся боку.

— Теряем родовое гнездо! — сказала обреченно.

Татьяна тоже подошла, колупнула стену пальцем. Кусок стены остался в руке.

— Может, сдадим? — продолжила задумчиво. — Деньги будут.

— Сдать-то мы ее, конечно, сдадим, — отозвалась Ляля. — Только кто ее снимет?

Деньги решили искать где-нибудь поблизости. В ближайшее воскресенье Ляля отправилась к Витеньке с Аллой. Визит стоил трех предварительных звонков с уточнением времени прибытия, а также повода для визита. Про повод Ляля ничего не сказала — чтобы не спугнуть, — а время утрясали долго, примерно неделю. Сначала Витеньке с Аллой было неудобно, потом недосуг, затем нехстати.

— Да я на полчаса, — сказала Ляля.

Витенька на том конце провода насторожился. Визит явно намечался не простой, а с целью. Ляля настоятельно просила специально не готовиться.

— Ну как же... — растерянно пробормотал Витенька. — Как же не готовиться...

Когда Ляля вошла, Витенька тащил из кухни поднос с чашками. Алла поставила на стол маленькую корзиночку с сушками и села на краешек дивана. Сидела неподвижно, смотрела чуть в сторону. Витенька суетился, наливал чай, пододвигал к Ляле сушки. Ляля сушки брала, ломала, стиснув пальцы, и бросала обратно в корзиночку. Просить было трудно — почти невозможно. Наконец решилась.

— Вот, ребята, — и сломала еще одну сушку. — Вот такое дело. Надо дачу отремонтировать, иначе развалится. Мы тут подумали, может, до Нового года у вас будет... На Новый год Мишка с Ленькой премии получают... Мама обещала пенсию откладывать... Я в кассе взаимопомощи возьму... А?

Витенька быстро посмотрел на Аллу. Алла слегка качнула головой, встала, взяла со стола корзинку, ушла на кухню и выбросила обломки сушек в ведро. Витенька подсел к Ляле, взял за руку, наклонился к самому лицу.

— Беда-то какая! — прожурчал он. — Я ведь на этой даче вырос. Да, вырос! Ты же помнишь, мамочка меня каждый год на каникулы к вам отправляла, говорила: «Только к Мусеньке! Только на дачу! Никому не доверю, только Мусеньке!» Мусенька — наш ангел! Просто ангел-хранитель. Ты не поверишь, Ляленька, иногда ночью не спится, я думаю — на ком держится семья? На Мусеньке! Ах, если бы не ее родственник стол, спасавший нас в минуту тяжелой невзгоды, если бы не свет гостеприимного абажура! — молот языком Витенька, и Ляле вдруг стало душно, будто из комнаты выкачали весь воздух. Витенькино лицо расплылось и отъехало куда-то в сторону. Слова вылетали изо рта, как из трубы.

«Не хватало только в обморок брякнуться!» — сердито подумала Ляля и встряхнулась.

— ...Вчера в театре, — снова послышался ясный Витенькин голос. — Я тебе скажу — спектакль изумительный! Просто изумительный! Как, вы до сих пор не видели? Это преступление! Просто преступление!

— Спасибо! — Она встала из-за стола. — Спасибо за сушки! — и пошла к двери.

— Могли бы просто сказать — нет денег. А не разводить ерунду! — сердито говорила она вечером Татьяне, когда та позвонила узнать, как прошел визит. И; помолчав, спросила: — Что делать будем?

— Надо к Арику идти, — ответила Татьяна.

— Интересно, кто это сделает. Мишка? Ленька? Да они удавятся, ничего у него не

попросят!

— Я не удавлюсь, — неожиданно для себя сказала Татьяна и сама удивилась своей смелости. — Вы все думаете, что он жлоб, а он не жлоб. Он нас на природу возит, в футбол играет, ему просто надо, чтобы мы восхищались его необыкновенными успехами. А мы не восхищаемся, вот он и злится. Я ему польщу, дескать, ты у нас самый богатый и самый важный. Ну, как план?

Ляля молчала.

— Эй, алло! Что за похоронное молчание?

— Молчание не похоронное, молчание раздумчивое, — неохотно ответила Ляля. — Ладно, делать нечего, иди. Только мальчикам ничего говорить не будем.

И Татьяна пошла.

«А вдруг начнет приставать? — подумала с ужасом и тут же рассмеялась дурацкой мысли. — Господи! К кому тут теперь приставать!» — И вынула из сумки пудреницу. В зеркальце был виден один глаз — ничего себе глаз, вполне кондиционный. Большой, похожий на густое чернильное пятнышко. Татьяна переместила зеркальце. Теперь в зеркальце поместилась половинка губ. Ничего себе губы — тоже вполне кондиционные. Эта привычка — пристально, как естествоиспытатель в микроскоп, смотреть на себя в зеркало — появилась у Татьяны совсем недавно, после того как Ляля, толкнув ее локтем, сказала однажды:

— Гляди, как Ленька постарел.

Татьяна поглядела. И не увидела, Леонид стоял перед ней таким, каким она увидела его впервые: кудрявые темные волосы, высокий лоб, смуглые щеки с торчащими скулами и странные глаза — со смехоточинкой. Ну разве что волосы не такие кудрявые и темные и в глазах все чаще полощется усталость. Она перевела взгляд на зеркало. Из зеркала на нее глядела старая тетка.

— Это мы с тобой старые тетки. Да, Ляль? Старые?

— Старые не старые, а тетки — это точно. — И Ляля тряхнула поседевшими кудряшками.

Так и повелось. Зеркало. Иногда вроде ничего — и глаза те же, и волосы, с редкими седыми ниточками, и фигура вполне еще, и даже очень еще, и даже очень-очень, а иногда — старая тетка. Меньше всех изменилась Рина. Может быть, потому, что там нечему было особо меняться.

...Татьяна захлопнула пудреницу и быстро сунула в сумку, как будто делала что-то неприличное. «Дура! О чем ты думаешь! Он тебя видит по три раза в неделю! На кой ты ему сдалась!» Но почему-то казалось, что идти надо во всем женском вооружении. Почему-то казалось, что просить что-то у Арика можно только после специальной длительной подготовки, после того, как настроишься, подкрасишься, подтянешься — и снаружи, и изнутри. Этот визит к Арику, от которого в обычной жизни Татьяна дико уставала и не знала, как отделаться, к Арику, который давно превратился в поднадоевший предмет мебелировки, этот визит был... ну, как полет на Луну. Страшно, и гарантий возвращения никаких. Самое страшное было — стать обязанной. Это состояние как бы вовлекало ее в орбиту зависимости от Арика, делало уязвимой. Теперь он мог, нащупав ее слабые места, использовать их в своих целях. Как использовать? В каких целях? Зачем? Этого Татьяна не знала. Чувствовала только — не защищена.

В своем НИИ Арик сидел в крошечном, но отдельном кабинетике. Секретарши не было.

Зато был огромный, зеленым сукном крытый стол. Арик торчал над столом, как одинокий гвоздик в пустой стене. С годами он усох, сморщился, еще больше покоричневел, вокруг глаз веером раскинулись мелкие морщинки. Татьяну встретил с преувеличенным радушием.

— Вот. — Он потер лапки. — Здесь, в этой маленькой комнатке, мы и делаем свои большие дела.

Татьяна села напротив и посмотрела на человека, который жизнь положил на то, чтобы чего-то достичь. Достиг многого и теперь стоял над своими достижениями, как соломенное чучело над огородом, — маленький, высохший, сморщенный человечек с оборками вокруг глаз. Татьяна глядела на него с жалостью человека, который никогда ни к чему не стремился и был рад тому, что дает жизнь. «Он, наверное, несчастный, — внезапно подумала она. — Ему всегда всего мало».

И попросила денег.

— Вот что, милочка! — Арик двумя пальцами взял ее за подбородок, и горячая волна брезгливости залила Татьянины щеки. — Я ваш клоповник, если хочешь, куплю, чтобы вам было где песенки петь по выходным. Если я вас приглашу, конечно. — Он коротко и резко хохотнул. — Но ремонтировать... Извини, я не Армия спасения. А так, заходите, если что, душевно рад. — Он дернул щекой и растянул в улыбке узкие губы.

Татьяна встала.

— Извини, — сказала она. — Извини, что отвлекаю по пустякам от больших дел... — Она помолчала. — В маленькой комнатке.

Арик прикрыл глаза, а когда открыл их снова, вместо глаз у него были неподвижные каменные слепки, и Татьяна подумала, что он похож на гипсовую болванку, которую скульптор еще не наделил подобием жизни. Он схватил ее за запястье и сжал так, что Татьяна застонала.

— Я вам нужен, когда... нужен, — шепотом сказал он, с силой выгалкивая слова из узкого рта. — А когда не был нужен? Ты помнишь, как меня футболили? Как пинали с кухни на кухню? Сегодня у Изеньки котлетку дадут, завтра у Мусеньки супчика нальют, послезавтра тетки кусок пирога отрежут. А по выходным можно рубль в карман сунуть! Ну как же! Бедный родственник! Из Мариуполя! Он все стерпит! Это ваши Мишеньки и Ленечки при мамочках жили! В собственных постелях спали. А бедному родственнику можно и матрас на пол кинуть, ему же все равно, в общежитии еще хуже! А теперь бедный родственник стал богатым и сразу всем понадобился. Так не бывает, девочка моя!

— Да они тебя... они тебя с рук на руки передавали! — сказала Татьяна, выдернув руку из цепких Ариковых пальцев. — Они тебя на этих руках держали, чтобы ты не упал! А ты — футболили! Болван!

— А меня не надо передавать! Я не фамильная драгоценность!

— Вот именно. — Она потеряла запястье, повернулась и пошла к двери, согнувшись под тяжестью его каменного взгляда.

Деньги на ремонт дали Шуры-Муры. Под Новый год Ляля попыталась вернуть часть денег, но тетка Шура решительно отодвинула ее руку:

— Брось, милая. Потом отдашь.

Новый год встречали на обновленной даче. Все вместе. По молчаливому уговору никто про денежную эпопею не вспоминал, и совместная жизнь протекала так же, как прежде. Когда Татьяна сообщила Ляле про Арика, Ляля только пожала плечами:

— Хорошо, что мальчикам не сказали.

Больше они эту тему не обсуждали. Если бы Татьяну спросили, удивляет ли ее такое всепрощение Леонида и Ляли, она бы сказала: «Да. Удивляет». Это всепрощение в ее глазах граничило с всеядностью. Но никто Татьяну об этом не спрашивал, и она удивлялась сама по себе. Потом, через несколько лет, ей преподали еще один урок всепрощения и объяснили, откуда оно берется.

Так вот, Новый год. На маленькую яблоньку повесили вырезанные Лялей из цветной бумаги игрушки. Водили хороводы. Жарили утку. Арик привез банку черной икры. Витенька — пластинки французских шансонье. Татьяна надела новое платье в пол с крупными фиолетовыми цветами. Правда, зимних сапог у нее не было, последние две зимы ходила в осенних туфлях на микропорке, а длинное платье — пожалуйста. Сама шила.

После Лялиных пирогов и шампанского, с большой помпой выставленного на стол и открытого Ариком — «Настоящее! Французское! «Березка», друзья мои, это вам не винный на углу. Пейте, пейте, красивую жизнь надо пробовать на вкус! Пользуйтесь, пока я жив!», — после того, как половина шампанского была выпита, а половина благополучно вылита на новое Татьянино платье, побежали в сад.

— В снежки?

— В снежки!

Снежок летит Татьяне в лицо. Мокрый вязкий снег забивается в рот, не дает дышать. Она чувствует на зубах хруст, глотает ледяную слякоть, кашляет, машет руками, пытается вздохнуть, падает навзничь в сугроб и лежит на спине, глядя в сумрачное беззвездное небо. Снег пробирается под воротник, щекочет шею. Татьяна закрывает глаза. Кто-то наваливается сверху, хватая ее за запястья и вдавливая их в сугроб. Она слышит шумное дыхание. Кто-то дышит так жарко, что снег на ее лице мгновенно тает и тоненькой струйкой начинает стекать по подбородку. Татьяна открывает глаза и видит бешеный взгляд Арика. Нос его заострился. Узкий рот сполз куда-то в сторону.

— Пусти! — тихо говорит она и пытается высвободить руки. Но Арик держит цепко.

— Не пущу! — Он скалит зубы, и ей кажется, что сейчас он начнет кусаться.

Она вспоминает, как много лет назад он поймал ее — вот здесь, рядом, у малинника — и ласково сказал: «Попалась, глазастая?» Как ухватился за ее плечо и наклонился к самому лицу. И как она испугалась, а потом подумала: «Сатир!» — и стукнула его по лысине эмалированной кружечкой. И как в кустах мелькало коричневое форменное платьишко Рины. Вспоминает и смеется. «Что это я все время от него вырываюсь!» — думает она и говорит:

— Мне холодно!

— А мне жарко! — зло отвечает он.

Его лицо все ближе и ближе. Вдруг он отпускает ее руки, резко вскакивает и, не оборачиваясь, большими шагами уходит в дом.

— Что с Ариком? — кричит пробегающая мимо Ляля.

— Замерз. Греться пошел.

Потом сидели у печки, допивали шампанское, слушали французских шансонье.

— Вот здесь! Вот здесь! — кудахтал Витенька. — Здесь такой переход на скрипочки! Вы слышите? Нет, слышите?. А эту тему? Как тонко, как поэтично! Вы слышите, как печаль переплетается с надеждой? Падает снег... — И Витенька начал напевать фальшивым слабеньким тенорком.

— Вить, дай послушать! — лениво сказал Леонид.

Татьяна сидела на тахте, обхватив колени руками, и думала, как бы так устроиться, чтобы все уехали, а они остались. Невозможное дело.

Разъезжались рано. Арику с Риной надо было забрать Аркашеньку от теток. Татьяне с Леонидом — освободить мать от Катьки и ее подростковой компании. Арик распахнул дверцу новенькой «Волги» — об этой «Волге» говорили добрых полночи, вернее, не говорили, а как бы проговаривались, намекали: «Ты где машину поставил, Арик?» — «У калитки, Риночка». — «Где, не вижу! Тань, ты не посмотришь? Ну как?» — «Что — как?» — «Как стоит?» — «Так вы ж ее вместе ставили! Ты что, не помнишь?» — «Ах, такая незадача, никак не можем купить подвески!» — «Подвески королевы?» — «Очень смешно! Конечно, для вас это не проблема!» И так, Арик распахнул дверцу, галантно раскланялся, мол, экипаж подан. Но Татьяна замотала головой, потянула Леонида за рукав — спасибо, мы сами, мы на электричку, не так уж далеко, подумаешь, два часа от двери до двери. Арик пожал плечами, сел за руль и уехал. Татьяна с Леонидом побежали на станцию. Туфли на микропорке нахлебались мокрого снега, чавкали, пытались свалиться с ноги. Татьяна придерживала их скрюченными пальцами. Когда входили в электричку, одна туфля соскользнула с ноги и провалилась в щель между перроном и тамбуром. Татьяна заскочила в вагон, бросилась на ближайшее место, поджала под себя босую ногу и замерла.

— А это что такое? — спросил Леонид, показывая на поджатую ногу.

Татьяна застенчиво высунула кончик большого пальца. Леонид сдернул ее с сиденья, схватил на руки и выпрыгнул на скользкий перрон. Туфля валялась на путях целая и невредимая. Леонид усадил Татьяну на скамейку, нашел какую-то палку и выудил туфлю. И они побрели обратно на дачу, отогреться.

Ляля отдалялась и отделялась. Таяла, как будто растворялась в туманном мороке. Говорила: «Не знаю... может быть... наверное, не получится».

— Приезжайте в субботу. В лес пойдем гулять, — звала Татьяна.

— В субботу... Извини, никак, — отвечала Ляля.

— Лялька, у меня два билета в театр на завтра. Ленька не может. Катька не хочет. Ты мне компания?

— Я тебе компания, но не завтра, ладно?

— Есть достоверная информация, что в «Польской моде» выбросили брючные костюмы. Едем?

— Знаешь, ты поезжай, если по два дают, возьми мне.

Татьяна недоумевала.

— Что с Лялькой? — наконец спросила Леонида.

Он удивленно посмотрел на нее:

— А что с Лялькой?

— Ты ничего не замечаешь?

— Я ничего не замечаю.

А Татьяна замечала. Замечала, как уплывал куда-то в сторону Лялин взгляд. Как невпопад и некстати отвечала она на вопросы. Как застывала посреди кухни со сковородкой в руках. Миша ходил следом со сбитыми набекрень очочками, заглядывал в глаза.

— Ми-и-ишенька! — ласково выпевала Ляля, целовала его в макушку и несла дальше свое чужое лицо.

Весной 83-го встал вопрос о Катькином институте. Была отложена некая сумма на репетиторов, но гарантий поступления не было никаких. А гарантий хотелось.

— Лялька, — взмолилась Татьяна. — Что делать? Она хочет в Ленинский на филфак. Ведь срежется, балда такая! Говорили же ей, говорили — учись! — и стала ждать вразумительного совета.

— Не знаю, — сказала Ляля вяло, так, как говорила все последние месяцы. — Спроси у Арика. У него везде блат.

Татьяна сжалась:

— Лялька, ты что! Какой Арик! Мы его уже просили однажды, ты что, не помнишь?

— Помню, — вяло ответила Ляля.

Татьяна начала сердиться:

— Ты как будто нарочно! Да пойми ты, Катька может провалиться!

— Ну, провалится, — вяло говорила Ляля. — Какая разница, ей же в армию не идти. Поработает годик.

Татьяна бросала трубку. Назавтра звонила снова, и все начиналось сначала.

— Деньги нужны? — вяло спрашивала Ляля.

— Деньги есть, — сухо отвечала Татьяна.

Ей было странно и страшно. Она привыкла к защитному слою, который создавали вокруг нее Ляля и Леонид. А теперь появились бреши. Сквозь прогалины просвечивала неуверенная душа.

Взяли репетиторов. По вечерам, когда репетиторы уходили, на пороге появлялся Катькин одноклассник Павлик. Катька с Павликом закрывались в комнате и делали вид, что прорабатывают образ русской женщины в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Татьяна подходила к двери, прислушивалась.

— Ты представляешь, — возбужденно стрекотала Катька. — У меня экзамены на носу, а он: «Приезжай! Приезжай!» Куда «приезжай»? Мне заниматься надо! Совершенно обо мне не заботится! У него фамилия Нехорошев. Это очень плохо его характеризует, правда?

У Катьки была взрослая любовь, с которой она познакомилась в метро и которую скрывала от родителей. А от Павлика не скрывала. Павлику можно и помучиться. Она была коварная, эта Катька. Ляля предрекала ей стезю роковой женщины.

— А я? Я забочусь? — спрашивал Павлик, замирая.

— Ты... — Катька задумывалась. — Ты заботишься, — говорила она неуверенно.

— Ты скажи, что надо, я сделаю!

— Прочти «Поднятую целину» и статьи Ленина о Толстом, ладно? Потом расскажешь.

Татьяна улыбалась и отходила. Тянулась к телефону — рассказать Ляле, — но отдергивала руку.

Павлик появлялся в кухне.

— Татьяна Николаевна, Катя просила чаю и чего-нибудь поесть.

— Ну, как вы там занимаетесь?

— Хорошо занимаемся. Вы представляете, у Кати экзамены на носу, а он: «Приезжай! Приезжай!» Куда «приезжай»? Ей заниматься надо! Совершенно о ней не заботится! У него фамилия Нехорошев. Это очень плохо его характеризует, правда?

— Правда, — говорила Татьяна и клала на тарелку еще один бутерброд.

На экзамены ходили втроем: Татьяна, Леонид и Павлик, успевший к тому времени благополучно срезаться в какой-то технический вуз, получивший взбучку от родителей и

полностью переключившийся на Катькино поступление. Катька убегала на экзамен, а Татьяна, Леонид и Павлик стояли под окнами. Ляля приехала утром в день первого экзамена, постояла с ними полчаса и исчезла. Когда хватились, ее уже не было. Больше не приезжала. На устной литературе Катьке досталась «Поднятая целина» и статьи Ленина о Толстом. «Вы очень хорошо знаете текст», — сказала Катьке старенькая экзаменаторша. Павлик, услышав столь лестную оценку, налился малиновой гордостью.

— Да брось ты! — Катька дернула его за ухо. — Она просто глухая. По возрасту. «Зараза!» — подумала Татьяна.

Триумфальное Катькино поступление — две четверки, две пятерки — отмечали на даче. Ляля испекла любимый Катькин «наполеон». Сказала тост.

— Катерина! — сказала Ляля. — Ты у нас — луч света в темном царстве. Потому что ученье — свет, а неученье — сама понимаешь. Жалко только, что ты так и не прочитала статьи Ленина о Толстом. Но ты не волнуйся, мы это дело исправим, мы их тебе подарим на первое сентября. Ну что, вздрогнули?

И они вздрогнули. И Ляля тоже вздрогнула. И положила всем селедку под шубой. И раздала по ломтю серого подмосковного хлеба. Только в тот момент она была не с ними и не здесь.

...На дачной кухне Ляля с Татьяной моют посуду.

— Лялька, — говорит Татьяна и полотенцем отгоняет мух, — что с тобой?

Ляля молчит. Тыльной стороной мокрой ладони убирает со лба прядь волос.

— Лялька, — говорит Татьяна, и голос ее дрожит. — Ну скажи ты мне! Что-то со здоровьем?

Ляля мотает головой.

— Лялька, — говорит Татьяна и обнимает Лялю за шею. — Я никому не скажу, честное слово!

— Да нечего говорить, — глухо отвечает Ляля. — Нет, есть чего. Ты понимаешь, Танька... — Она спотыкается на середине фразы и на секунду замолкает. — Ты понимаешь... в общем, у меня есть человек.

— Кто? — выдыхает Татьяна. Сердце ее делает лишний рывок, и кровь ударяет в виски, заливает щеки.

— Ты не знаешь. Там... на работе.

— Давно? — выдыхает Татьяна. Сердце ее пропускает удар, и кровь отливает от щек.

— Давно.

— А Миша? Как же Миша? Ты его больше не любишь?

— Господи, Танька! Ты как ребенок! Ну конечно люблю!

Татьяна молча смотрит на нее. Она не понимает.

— Таня, сколько мне лет?

— Сорок пять, — шепчет Татьяна.

— А сколько я знаю Мишу? Сорок пять. Я с ним... я с ним как с собой. Ты понимаешь, мне с ним хорошо, но ничего не надо. И потом... ты же знаешь, кто в доме хозяин. Я устала, Танька. Я устала быть и мамкой, и нянькой.

— Ляль, а как это — как с собой? — запинаясь, говорит Татьяна.

— Вы с Ленкой сколько женаты? — вместо ответа, спрашивает Ляля. — Семнадцать лет? Восемнадцать? И ты не знаешь, как это — как с собой?

Татьяна качает головой.

— Счастливая ты, Танька! Ты сама не знаешь, какая счастливая!

Больше они об этом не говорили. Пару раз Татьяна принималась расспрашивать, но Ляля отмалчивалась, отворачивалась, низко опустив голову, отводила глаза. И Татьяна смирилась. По выражению Лялиного лица научилась угадывать ее настроение и даже то, как прошло свидание, и прошло ли вообще, а если не прошло, то по чьей вине. Она читала Лялино лицо, однако Ляля совсем не собиралась делать из него открытую книгу. Просто Татьяна была очень внимательным и пристрастным читателем. Леонид ни о чем не догадывался. Его не посвящали.

Ляля долго была чужой. Несколько месяцев. А потом вернулась домой. А может, и не уходила никуда. Так, вышла на минутку.

По воскресеньям собирались на большой обед у теток. В остальные дни недели Шуры-Муры крепили семью по телефону. Садись вечером в старенькое креслице и методично обзванивали племянников и племянниц, родных и двоюродных, близких и далеких, подробно рассказывая о том, что случилось за день. Путаясь в именах, дотошно выпрашивали все новости и старости, важное и неважное, нужное и ненужное.

— Нет, тетки не понимают! — возмущалась Татьяна. — Не понимают, что я просто устала! Могу я к вечеру устать или нет? Вчера держали меня у телефона два часа! И заметь, это твои родственники! Твои! — накидывалась она на Леонида, укрывшегося газетой.

Но в глубине души понимала, что там, на другом конце провода, — последнее звено стальной родственной цепи, последний узелок, связующий их в единое целое, последние веточки некогда шумного сильного дерева. Распадется звено, развяжется узел, отомрут ветки, и не станет семьи, а так — две бывшие молодые пары (почти молодые! еще молодые!), играющие в дружбу, и еще одна, уже не молодая, заброшенная в Тмутаракань Новых Черемушек. Да куча старых фотографий в забытых альбомах, больше похожих на гербарий, чем на семейный архив.

...Тетка Шура упала аккурат в тот момент, когда рассказывала о каких-то родственниках из Питера. Что-то у них там стряслось. То ли авария, то ли несчастный случай. Кто-то в гипсе, кто-то в койке. Тетка долго копалась в медицинских подробностях, громко сморкалась, несколько раз принималась плакать. Татьяна тоскливо глядела на кипящий суп, закатывала глаза, бросала выразительные взгляды на Леонида, как вдруг услышала в трубке странные звуки: писк, шорох, глухой удар и резкий птичий вскрик.

— Тетя Шура! Тетя Шура! Алло! Вы меня слышите? — закричала Татьяна, задула в трубку, хлопнула по ней ладонью, но тут в голове у нее что-то вспыхнуло, и, выдернув из кресла Леонида, она помчалась вниз по лестнице, на ходу натягивая плащ.

Тетка Шура лежала на полу, широко раскинув короткие бревнышки рук и выставив вверх живот, похожий на надувную пляжную подушку. В углу дивана с вытянутой вперед рукой сидела тетка Мура. Ее указательный палец был нацелен прямо на нос сестры. Она хватала палец и пыталась отвести в сторону, но он не желал слушаться и, дернувшись, каждый раз возвращался обратно с упрямством компасной стрелки.

Татьяна бросилась к желтому, прозрачной мыльной желтизной распластанному телу, но Леонид отстранил ее, схватил тетку Шуру на руки и поволок к высокой девичьей кровати.

Через час, когда уехала «скорая», тетку Муру напоили валерьянкой, прибежали Арик и Рина, примчалась с работы встрепанная Ляля и все они сели за столом в гостиной, стало ясно, что ничего не ясно, и как быть дальше, решительно непонятно. Тетка Шура лежала в

соседней комнате на взбитых подушках, нет, не тетка уже — неподвижная болванка, каменный слепок, пустая матрешка, бесчувственная и бессловесная.

— Какая больница! — раздраженно сказала докторша. — Ей семьдесят пять лет! Что вы хотите?

Они ничего не хотели. Они хотели только больницу.

— А... п-перспективы? — спотыкаясь на согласных, спросила Татьяна.

— Какие перспективы! — еще более раздраженно ответила докторша и даже рукой повела куда-то в сторону, как бы отменяя всё разговоры о перспективах и прочих глупостях.

Собрала чемоданчик и уехала. А они остались. И вот теперь с надеждой глядели на Арика. С его-то связями! И какая-то больница! Оказалось — пустое. Пустая бравада. Пустое бахвальство. Никаких связей нет, а если и есть, то никчемные. А если и не никчемные, то для других целей. Татьяна давно это подозревала.

Дежурить решили в три смены, как в котельной — сутки через двое. Приходили вечером после работы, приносили продукты, поднимали тетку Шуру, обмывали, перестилали постель. Ляля оставалась ночевать — возвращаться ночью в Новые Черемушки было полнейшим безумием. Пытались сунуться к Витеньке с Аллой, но те были так отстраненно-вежливы, так холодно-приветливы... Первые две недели бегали по аптекам, судорожно скупая бинты, йод, мази и притирки. Потом успокоились. Привыкли. Жизнь вошла в свою колею. Леонид снова засел за диссертацию, Ляля — за квартальный отчет, Арик засобирался в командировку в Германию. Это было большим событием. Если не считать Миши, служившего в Чехословакии, никто из них за границей не бывал, тем более в командировке, тем более в капстране. Арик распушил хвост, рассказывал всем о своих достижениях в робототехнике. Он действительно изобрел какое-то устройство по изготовлению прорезиненной обуви.

— Льет галоши! — мрачно констатировала Татьяна.

Это самое «галошное» устройство и собирался демонстрировать Арик на выставке в Дюссельдорфе, что означало: стоять у стенда, наливать начальству кофе и отвечать на дурацкие вопросы праздных посетителей.

Арик улетел в ночь на 1 октября. На следующий день Рина не вышла на дежурство.

Тетка Мура позвонила вечером, часов в девять, кричала в трубку что-то бессвязное. И снова, как месяц назад, Татьяна и Леонид мчались по лестнице, на ходу натягивая плащи, капали валерьянку, приводили тетку Муру в чувство.

— Ну что вы, в самом деле! — выговаривала потом Татьяна. — Мало ли, почему она не пришла! Может, на работе задержалась! Что паниковать-то? Мы же рядом.

Звонить Рине решила Ляля. Она чувствовала себя старшей в семье и вообще умела высказываться веско и значительно.

Разговор не задался с самого начала. Рина бляяла в трубку и на Лялины «безобразия!», «как ты могла!» отвечала, что, мол, звонила, пыталась предупредить, но телефон сломан, ни с кем не соединяет, что она дико устала, чувствует себя отвратительно, вчера вернулась из Шереметьева в третьем часу ночи. Пока уснула... Страшно волновалась за Арика. Просто страшно.

Больше Рина на дежурствах не появлялась и к телефону не подходила. На работе говорили: только что была, вышла, позвоните позже. Пытались позвонить позже, но скоро поняли, что бесполезно, и плюнули. Теперь Татьяна и Леонид ходили к теткам каждый день. Ляля, замотанная бесконечными дорогами в метро, приезжала в пятницу вечером и

оставалась до понедельника.

Они появились неожиданно. Только Татьяна открыла дверь своим ключом, только протиснула сумки с продуктами, а они — тут как тут, уже здесь, уже все сделали, и перестелили, и обмыли, и накормили. И Арик уже сидит за столом в гостиной, прихлебывая чай из персональной поллитровой чашки, и травит байки про необыкновенный успех, постигший его в командировке. И тетка Мура размякла, расслабилась, умильно глядит на него, подливает чаю, поддакивает. И Рина крутится тут же, отжимая Татьяну плечиком и от тетки, и от Арика, и от стола:

— Зачем надо было приходиться, не понимаю, мы давно уже все сделали.

Когда вышли на улицу, Леонид чуть придержал Татьяну. Они остановились под козырьком парадного, закурили.

— Как ты думаешь, Арик знает? — спросил Леонид.

Татьяна помолчала.

— Знает — не знает, какая разница?

— Арик хочет, чтобы мы сейчас заехали к ним. Он там какие-то сувениры привез, фотографии.

— Тряпьем решил потрясти? Ты как хочешь, а я не пойду!

— Пойдешь! Это мои родственники, и их осталось не так уж много.

Леонид говорил жестко, почти грубо, и Татьяне вдруг захотелось ответить ему чем-то злым, обидным.

— Родственники! — почти выкрикнула она. — Они нас бросили, твои родственники! Ее месяц не было! Месяц! Мы с Лялей этот месяц на свете не жили!

...Вечер прошел как обычно. Арик с Леонидом выпили заморской водочки. Рина демонстрировала немецкие тряпки. Выносила по одной из спальни, клала на стул, тихо что-то бормотала, смотрела в глаза — какая реакция? Татьяна хвалила, вымученно улыбалась.

Домой возвращались уже ночью. У подъезда Леонид неожиданно повернул Татьяну к себе и поцеловал, как тогда, первый раз, на бульваре. Татьяна поняла: он был рад, что отношения в семье восстановлены, и благодарил ее за то, что не испортила вечер. Она потерлась щекой о его щеку, но потом резко выкинула руки и оттолкнула его.

— Не надо, Лень.

Назавтра она позвонила Ляле.

— Ты вот что, Лялька, ты Лене скажи, чтоб больше меня к ним не таскал. Не хочу.

Ляля молчала.

— Ты слышишь меня? И с Риной надо поговорить. Давай вместе, а?

— Я слышу тебя, — медленно проговорила Ляля. — Леньке ничего не скажу. Он прав. И с Риной говорить не буду. Она такая, какая есть. Она наша... — Ляля замялась, будто не хотела произносить это слово, — сестра. Мне казалось, ты тоже так считаешь.

— Да, — сказала Татьяна. — Да, конечно, — и положила трубку.

На душе было смутно и странно. Давно не противопоставляя себя этой чужой когда-то семье и разделяя ее судьбу, Татьяна до сих пор очень остро чувствовала свою отдельность. Была «она», и были «они». Не все, впрочем. Леонид был — «она». И Ляля. Кем была Ляля? Все двадцать лет, ровно половину жизни, Ляля тоже была ее частью. Так, по крайней мере, Татьяна числила. Но ведь одна часть предполагает наличие другой. Что было там, в другой части Ляли, куда Татьяна никогда не заглядывала? Там были корни и кровь, переливающаяся по этим корням, как по сообщающимся сосудам. Там были связи, о существовании которых

Татьяна не подозревала, потому что никогда не испытывала тяжести кровных уз. Это были связи, которые невозможно разорвать словом или поступком. Бессмысленно даже затевать. Это были связи, которые разрывались только смертью. В узлах и переплетениях этих связей они все увязли, как мухи в паутине. Все, кроме Татьяны. Ее связь с ними была другой — поверхностной, внешней. С кем-то формальной, с кем-то душевной, но — не кровной. Ей было отведено место на генеалогическом древе, но соки этого древа питали не ее. Иногда ей до слез хотелось стать одной из них, почувствовать, что же это за штука такая — голос крови. Узнать, что ощущает Ляля, глядя на Рину, — злость, стыд, какое-то иное чувство, похожее на то, что испытывает человек, когда теребят больное место? Иногда она радовалась, что стоит в стороне, гордилась своей способностью оставаться неподвзятым судьей. Но чего стоит объективность, если ты никому не сестра?

После этого разговора Татьяна чуть-чуть отодвинула Лялю — не слишком далеко, так, слегка. Была в середине души, а теперь сбоку. Образовался кусочек пустоши. Значит, зря затеяла разговор про Рину. Не надо было. Себе же сделала хуже. А может, это ее слегка отодвинули? Дали понять, чтобы не вмешивалась не в свое дело? Определили границы, когда попыталась занять слишком много места?

Тетка Шура умерла через неделю после триумфального появления Рины, аккуратно в Татьянино дежурство. Татьяна закрыла ей глаза, позвала тетку Муру и пошла звонить Ляле, Рине и в «Скорую». Тетка Мура подошла к кровати, потыкала тетку Шуру в плечо одним пальцем, поднесла палец к глазам, рассмотрела его со всех сторон и поверила, что тетки Шуры больше нет. Рина прибежала первой. Ворвалась в квартиру, безумными глазами посмотрела на тетку Шуру, бесполезным комом тряпья громоздящуюся в углу, прижала пальцы к губам и бросилась под кровать. Стоя в дверях, Татьяна видела, как ритмично двигается Ринин широкий плоский зад. Леонид утверждал, что у Рины зад как у камбалы. «Что там можно искать?» — подумала Татьяна и поймала себя на том, что тоже прижимает пальцы к губам. Хлопнула дверь. Леонид тихо подошел к Татьяне и через плечо заглянул в комнату. Рина вынырнула из-под кровати, смахнула с носа паутину, тряхнула багровыми щеками и с какой-то горделивой самодовольной повадкой подняла над головой старый желтый кожаный портфель со сломанным замком и залысинами в углах.

— Вот! — крикнула Рина, будто перебивая кого-то, кто и не думал ей возражать, и устанавливая свое личное и непреложное право на владение этим символом семейной власти. — Вот! Тут... облигации... она сама... она мне... она все мне... сама говорила...

Татьяна беспомощно оглянулась, будто ища у кого-то защиты, и увидела, как у Леонида дернулась щека. Он отвернулся и быстро ушел в кухню. Тетка Мура подошла к Рине, обхватила ее голову старческими пергаментными руками и легонько погладила.

— Ты не волнуйся, девочка. Она тебе... она все тебе... сама говорила.

На похоронах тетки Шуры были все, кроме Марьи Семеновны, — она уже почти не выходила из дому. Даже Татьянина мать пришла. Тетка Мура немножко попричитала, что Мусеньки в такой день нет, немножко поплакала, выпила валокордину и успокоилась.

— Удивительно, как самые близкие люди быстрее всех успокаиваются, — сказала Татьяна Ляле, когда ехали с кладбища к Рине, на поминки. — Или у стариков притупляются чувства?

— Просто она ее давно похоронила. В тот, первый, день, — ответила Ляля. — А чувства... Конечно, притупляются. Надо же как-то выживать. А как, если сил мало?

На следующий день тетка Мура убрала комнату, вымыла кухню, приготовила обед и стала жить дальше.

— Лень, ты спишь?

— Ммм... Сплю.

— Ты не спи. Я тебя спросить хочу.

— Ммм... Тогда не сплю.

Леонид садится в кровати, повыше подтыкает подушки и просовывает руку Татьяне под голову.

— Ну давай, спрашивай.

— Зачем она ее к себе зовет?

— С этого места поподробней, пожалуйста. Кто, кого, куда? Адреса, пароли, явки.

— Ты что, ничего не знаешь?

— Абсолютно! Чист, как слеза ребенка.

— Рина зовет тетку Муру к себе. Жить. Как ты думаешь, зачем она ей нужна?

— Тоже мне бином Ньютона! Сама не догадалась?

— Нет.

— Ну подумай, а я пока посплю. — Леонид целует Татьяну в плечо и отворачивается к стене.

— Ленька, ты... ты мерзавец! Говори немедленно!

— Квартира, матушка моя, квартира, — бормочет Леонид, уткнувшись в подушку. — Ринина трехкомнатная плюс теткина двухкомнатная — сумасшедший вариант! А ты у меня как была дурочкой, так и осталась. Спокойной ночи.

— Лень, ты не спи. У меня к тебе еще вопрос.

— Ммм... А вот этого я не знаю.

— Чего не знаешь?

— Поедет тетка Мура к Рине или нет.

— Ты как понял, что я хочу об этом спросить?

— Нетрудно догадаться.

— Так не знаешь...

— Не знаю. Впрочем, думаю, что поедет. Что ей еще остается?

— Ты, Ленька, у нас самый умный!

Татьяна берет его прядь волос, накручивает на палец. Леонид поворачивается и начинает гладить ее грудь.

— Самый умный, а ничего не понимаешь.

— Ну, кое-что понимаю. — И его рука скользит вниз.

— Кое-что, но не все. Никто ни с кем не будет жить, потому что иначе жизни конец.

— Ммм... Да? Ну и ладно. Ну и хорошо. Та-а-анька... Я, кажется, совсем проснулся.

К Рине тетка Мура не поехала.

— Ты уж прости, девочка, я лучше дома.

Рина сначала удивилась, потом разозлилась, но сделать ничего не смогла. Тетка Мура проявила редкую несговорчивость. Молча обходила все разговоры на эту тему, молча сносила Ринины упреки, и увещевания — «На себя бы посмотрела! Одна ведь совсем! А если ночью плохо станет? Кто «скорую» вызовет?», — и уговоры, и обвинения в бесчувственности — «Аркашеньку бы пожалела! У него комната десять метров. Арик без

кабинета! А он столько работает, столько работает! Иногда даже ночует на работе!».

— Знаем мы, где он ночует, да, Тань? — говорила Ляля, которую Рина вызывала к тетке Мура в качестве арбитра.

Арбитр из Ляли был никудышный. Бессловесно, но твердо — взглядом, кивком, рукой, положенной на птичье старушечье плечо, — она поддерживала тетку Муру в ее нежелании уступать Рининой атаке. Через три месяца Рина выдвинула тяжелую артиллерию. Призвала на помощь Арика. Арик на призыв откликнулся, к тетке Мура приехал, сел за стол, выпил чаю, рассказал, что творится у него на работе, покачал лысой головой, дескать, вот такие у нас печальные дела, и убрался восвояси. Тетка Мура осталась в полном недоумении. Рассказала Ляле. Та тоже понедоумевала. Рассказали Татьяне. Татьяна развела руками. Подумали вместе. Объяснение напрашивалось одно: Арик не знал, как говорить с теткой Мурой. Не было у него способов воздействия. Не мог он перепрыгнуть ее упрямство. Да и как? Просить? До этого Арик никогда не опускался. Увещевать? Все аргументы были давно приведены Рининой и оказались подложными. Грозить? Как? Чем? Это же не деловой партнер, не подчиненный, не сосед-пьяница, которого можно привлечь по статье. Пригрозила Рина. Пригрозила, что ноги ее больше не будет в «этом доме, где ее так обидели!». Тетка Мура дрогнула, но устояла. Пообещала одно — прописать к себе Аркашеньку, когда тому исполнится восемнадцать.

Рина обещание сдержала. С полгода не появлялась у тетки Муры. Когда слышала ее имя, выпрямляла сутулые плечи, вздергивала подбородок и отворачивалась. Выходило, что Рина опять пострадавшая сторона. Через полгода наступило время отпусков. Рина с Ариком засобирались в Эстонию. Нужно было пристраивать Аркашеньку к супчикам и котлеткам. Рина перестала выпрямлять плечи, вздергивать подбородок и отворачиваться. Тетка Мура была прощена. Не совсем, не до конца, но все же. Все же Рина пошла на серьезные уступки, позвонила и разрешила ей ухаживать за Аркашенькой в течение трех недель. Ну а там видно будет. Если будет хорошо себя вести... Тетка Мура обрадовалась, засуетилась, смахнула пару слезинок, собрала вещички и отправилась к Рине — стоять вахту.

— А что ей остается, служивой, раз генерал приказал, — сказала Ляля, и все вздохнули с облегчением.

Равновесие в семье было восстановлено.

— Купите апельсины и молока! — распорядилась толстая месткомовская тетка.

— Где же я апельсины возьму? — пробормотал Миша. — И молоко?

— Ну что вы, Михаил Давидович, честное слово! — раздраженно протявкала тетка. — Ну, яблок купите, что ли! — и выдала деньги под расписку.

И так всю жизнь. В этом НИИ Миша работал о... нет, правда, с 63-го. Так бывает. Даже в наши дни. И всю жизнь: на картошку — Михаил Давидович, на субботник — Миша, в подшефный детский сад с новогодними подарками — Мишенька, миленький, кроме вас некому! Безотказный человек. Палочка-выручалочка. Вот и сейчас. К черту на рога. На Юго-Запад, в Олимпийскую деревню. Вроде и от дома недалеко, но это если километрами считать, а вы посчитайте двумя автобусами в час пик и одной маршруткой, посчитайте двумя авоськами с апельсинами и молоком и одним портфелем, а у него, между прочим, не три руки. Миша ехал к человеку, которого видел два раза в жизни. «Так выражается забота коллектива об одной отдельно взятой личности посредством охомутия другой отдельно взятой личности», — покорно думал Миша и месил жирную окраинную московскую грязь, энергично отмахивая сеткой с апельсинами. Апельсины достались с боем. Но достались. И это был хороший признак. Может, удастся вырваться пораньше. Может, не придется сидеть весь вечер, судорожно сводя лицевые мускулы в печальную гримасу, не менее судорожно пытаясь вспомнить имя-отчество хозяина и мечтая об одном: оказаться дома у Ляли на диване с чашкой горячего чая в руках.

Человек, которому Миша нес апельсины, был сотрудником из отдела снабжения. И у него был грипп. Сотрудник немножко покашлял на Мишу, и Миша тоскливо подумал, что температуры не избежать.

— Ну как там, на работе? — вяло спросил сотрудник, имени которого Мише в месткоме так и не сказали. А спрашивать было неудобно.

— Ничего, — так же вяло ответил Миша.

— Чайку? — предложил сотрудник, втайне надеясь, что от чайка Миша откажется.

Миша отказался. Облегченно вздохнув, сотрудник выпроводил его к лифту. Облегченно вздохнув, Миша распрощался и нажал кнопку.

Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул и побежал к метро. Страшно хотелось есть. Впереди что-то мигнуло, мелькнуло, и Миша вышел прямо к неоновой вывеске «Ласточка». «Зайду! — решил Миша, вспомнив о двух автобусах и маршрутке. — Авось не обеднеем. Когда еще до дому доберусь». И зашел.

В «Ласточке» было хорошо. В «Ласточке» было тепло. В «Ласточке» было дымно, шумно и людно. Но главное — в «Ласточке» было сытно. Он сел в уголок и первым делом выпил рюмку водки. Для профилактики. Закусил киевской котлеткой и стал думать, отчего это так происходит, что он у всех на посылках, что никто не воспринимает его всерьез, и еще о том, что завотделом сегодня при всех назвал его «мальчишкой». А «мальчишке», между прочим, хорошо за пятьдесят уже, а Сергееву всего тридцать, считай, только институт закончил, а вчера получил завсектором. Мысли были тяжелые и привычные. Потом он подумал о Ляле и повеселел. Выпил еще. Огляделся. Зал был большой, темный. В зале шла своя, непривычная и непонятная ему жизнь. Кто-то кричал. Кто-то танцевал. Кто-то громко и невнятно пел, одновременно пережевывая кусок отбивной. Миша близоруко сощурился, но

лиц все равно было не разглядеть. За стеклянной стеночкой, отделяющей кусок зала, помещался бар. Миша доел свою котлету, расплатился и пошел вдоль стеклянной стеночки в гардероб. Там, за этой стеночкой, размывающей и искажающей черты лица и контуры фигуры, он ее и увидел. Она сидела на высоком стуле, поставив локоть на стойку и далеко отведя тонкую кисть с сигаретой («Она — курит?» — успел подумать он), помешивала соломинкой в стакане, пыталась подцепить со дна вишенку, делая это так непринужденно, будто всю жизнь только тем и занималась, что ходила по барам, сидела на высоких стульях и ковырялась в высоких стаканах с вишенками. Вишенка не цеплялась, и она смеялась. Миша не слышал ее смеха, но за столько лет изучил наизусть все его обертоны, взлеты и падения, ухабы и воронки. Она смеялась, наклоняясь к спутнику, почти касаясь его лица черными волосами, а тот щелкал зажигалкой, клал руку ей на плечо, не сводил глаз, будто боялся отпустить такую ненадежную, такую лучистую невидимую шелковую нить, которую она разрешила ему протянуть между ними. Она держала эту нить двумя пальчиками, а он, ухватившись обеими руками, с силой тянул к себе, как в игре по перетягиванию канатов. Но победительницей была она.

Все это Миша понял почти мгновенно. Стоял, оцепенев, за стеклянной перегородкой. Думал... Нет, не думал. Он и о Леониде-то ни разу не вспомнил. Просто стоял и смотрел. Она повела чернильным глазом — он первый раз видел, чтобы она так поводила глазом, — обернулась, увидела его. Лицо ее, которое глядело на него сквозь неровные наплывы толстого стекла, странным образом исказилось, будто сморщилось, стало некрасивым и жалким, и он увидел то, чего не видел никогда. Что чернильный глаз окружен сетью морщинок, что ей уже сорок пять, что молодой она была очень-очень давно и что дешевая юбочка, которую — он знал — она надевала по исключительным случаям, делала ее смешной и нелепой молодящейся теткой. Она помахала в воздухе сигаретой, и он расшифровал ее жест: уходи, Мишка, не мешай, ты меня не видел, я тоже тебя не видела.

Он шел домой, поскользываясь на осенних замерзших лужах, и ему казалось, что это его застывшие слезы. «Вот наступит весна, и слезы растают. Растают и выльются», — говорил он себе и вспоминал о четырех шоколадках «Слава Октябрю!», купленных почти четверть века назад в кондитерской на углу. О том, как одну из них он целиком засунул в рот, о том, как стоял посреди комнаты и все никак не мог ее прожевать, и улыбался идиотской счастливой улыбкой.

Дома, отмахнувшись от Ляли — ну да, выпил, а что, нельзя, ну, где-где, в «Ласточке», ты не знаешь, там на «Юго-Западной», — он лег на диван. В душе, как на промокашке, расплывалось черное бесформенное пятно, съедая те разноцветные — зеленые, желтые, красные, синие — буковки, кляксочки, значки, что отпечатались на ней за всю его более чем пятидесятилетнюю жизнь. «Как много, оказывается, было хорошего! Как жалко, что больше не будет!» — подумал Миша, привыкая к разрастающемуся внутри чернильному пятну, и уснул. Почему не будет? Отчего не будет? Какое отношение случившееся имело к нему лично? И что, собственно, случилось? Ничего не случилось. Что, собственно, он видел? Да ни черта он не видел! Ну, сидят люди в кафе, пьют коктейли. Что особенного? Ничего особенного. Но чувствовал, что особенное есть, потому что ни это кафе, ни высокий стул у стойки, ни отставленный в сторону локоток, ни сигарета в тонкой руке, ни взгляд чернильных глаз, ни вишенка в стакане, ни облезлый мужик с сальной улыбкой — все это не имело к Татьяне никакого отношения. Как говорится, из другой оперы. И Татьяна ко всему этому не имела никакого отношения. Та Татьяна, которую он знал двадцать пять лет. Он

чувствовал, что от него откололи какой-то очень важный кусочек. А без одного, даже очень маленького кусочка — целое не целое. Так, серединка на половинку. Его семья перестала быть целой. Или, может быть, его семья перестала быть? Пусть только для него одного, но перестала. И значит, ничего хорошего больше быть не может.

В нем как будто что-то надорвалось. К Татьяне и Леониду почти не ходил. В семейных мероприятиях участия старался не принимать. «Двойной предатель» — так он себя называл. Рассказать — предать Татьяну. А это почти что себя. Не рассказать — предать Леонида. А это то же самое, что себя. В любом случае предательство получалось двойным. Он выбрал второе.

Ляля недоумевала, злилась даже. Решила, что Миша за что-то обиделся на Леонида.

— За что? — спрашивала.

— Да брось ты! — отмахивался Миша. — Все нормально! Работы очень много. Устал. Вот и неохота ехать.

— Ну какая такая у тебя работа! — сердилась Ляля и, хлопнув дверью, уезжала к Татьяне и Леониду.

На Татьяну он не мог смотреть. Боялся себя выдать. Еще боялся, что снова увидит ее такой — некрасивой, жалкой, старой. Думал, она сама заговорит. Если заговорит, значит, ничего не было, показалось. Не заговорила. Он смотрел на нее жалобными глазами. Ждал. Неужели ничего не скажет? Она улыбалась в ответ.

В начале марта позвонили Витенька с Аллой и напросились в гости на 8-е. Ляля удивилась: в последнее время виделись редко, считай, совсем почти не виделись. Но в гости позвала и обещала полный семейный состав из «оставшегося в живых контингента». Витенька на это заявление вздохнул тяжело, немножко посопел и, кажется, даже пустил слезу на том конце трубки. Но Ляля все его ахи и охи быстро пресекла, с Витенькой распрощалась, сказала: «Жду к пяти!» — и повесила трубку.

Восьмого загрузились в «Волгу» Арика. Тетка Мура поместилась на переднем сиденье, Рина, Татьяна и Леонид — на заднем. Ехали молча. Рина глядела в окно, дулась. После неудачной операции с квартирой она тетку Муру почти не замечала, если надо было обратиться, делала это с подчеркнутой холодностью, в дом действительно почти не ходила, с праздниками не поздравляла. Аркашенька, впрочем, был прописан, и конфликт таким образом подлежал ликвидации. Но главным оставалось другое: тетка Мура проявила строптивость, тетка Мура не послушалась Рину, сделала не так, как Рине хотелось. А это не прощалось.

Арик с каменным лицом вел машину. Мокрый снег слепил ветровое стекло. Арик чертыхался, подпуская в чертыханье матерок, а один раз высказался совсем неприлично.

— Аринька! — укоризненно проблеяла тетка Мура.

— Ах, оставьте! — раздраженно бросил Арик.

И тетка Мура оставила.

Татьяна просунула руку в карман к Леониду и слегка поскребла там пальцами, мол, эй, я тут, а ты где, мы вместе? Леонид наклонил голову и потерся своей меховой шапкой о ее. Наконец приехали. Ляля возилась с пирогами. Миша открывал бутылки. В кресле, укутанная в огромный пуховый платок, сидела Марья Семеновна.

— Му-усенька! — сказала тетка Мура и вдруг заплакала.

Марья Семеновна зашевелилась под платком и высунула наружу подбородок.

Подбородок был маленький и остренький, почти детский. Под подбородком висели две полоски морщинистой кожи. Татьяна посмотрела на Марью Семеновну и увидела то, что все последние годы заслонял образ другой, прежней Марьи Семеновны — широкой, сильной, властной, громогласной. Той, что заходила без стука в их спальню, курила мужские папиросы, стряхивая пепел в чашку, раскладывала по груди тяжелые черные косы и говорила: «Ты, деточка, тряпочку-то выкручивай, выкручивай, а то вон какое болото развела!» Старушка, сидевшая перед ней в кресле с кукишем из седых волос на затылке, тревожно глядела выцветшими детскими глазками, будто боялась, что ее сейчас обидят, и цеплялась за подлокотник крошечной куриной лапкой. Тетка Мура села рядом на стул и взяла ее лапку в свою. Татьяна почувствовала, как сдавило горло, быстро отвернулась и ушла к Ляле. В узком коридорчике столкнулась с Мишей. Миша вздрогнул и поспешно вжался в стену, будто боялся, что она до него дотронется. Татьяна проходя, привычно дотронулась до его плеча, и Миша быстрым, точным жестом смел ее руку, как паутину. Татьяна мимолетно удивилась и пошла дальше.

На кухне Ляля резала пирог с капустой.

— Вот! — сказала она, окидывая взглядом тарелки с синеватой «Докторской» колбасой и селедкой. — Деликатесов не обещаю, но голодать не будете.

Татьяна покопалась в сумке и выудила банку шпрот и коробку конфет «Птичье молоко».

— Боже мой! — сказала Ляля. — Ты ограбила спец-распределитель.

— Почти. У Ленки на работе давали заказ из какого-то энзэ. Считаю, что это стратегический запас родины.

— Ну, раз у родины такие запасы, я спокойна за наше будущее. Иди открывай!

Татьяна пошла открывать. Витенька с Аллой стояли на пороге, припорошенные снегом, какие-то очень новогодние, нарядные и торжественные. Вошли как обычно — с приседаниями и придыханиями. Алла сделала маленький книксен. Витенька бросился целоваться. Татьяна подставила щеку и отступила. Вертя круглой попкой, Витенька снял с Аллы шубку, выставил вперед огромную коробку с тортом.

— Рыжий прямо с утра бросилась в кулинарию. Как же так, к Ляленьке и без торта! Мы не так часто видимся! Простояла два часа. Вернулась без ног, просто без ног! Да, Рыжий?

Алла кивнула. Татьяна с удивлением оглянулась на Лялю. Ляля пожала плечами. Не водилось еще за Витенькой и Алой такого — чтобы и с тортом, и два часа в очереди. Что-то тут было не так. Прошли в комнату. Увидев Марью Семеновну, Витенька произвел горлом петушиный клекот, подбежал семенящими шажками к креслу, упал на колени и поцеловал край байкового халата.

— Мусенька! — задушевно произнес Витенька. — Мой добрый ангел!

Алла смотрела одобрительно. Ляля еще раз пожала плечами и ушла за своим пирогом.

За столом молчали. Арик налегал на водочку. Витенька нахваливал пирог: «Изумительный! Просто изумительный! Как давно, как непростительно давно я не ел, Ляленька, твоих пирогов!» Ляля кивала, как бы принимая похвалы к сведению. Рина осведомилась, сколько стоила Аллина шубка. Алла ответила, заев ответ куском колбасы. Татьяне казалось, что кто-то невидимый натянул между ними тонкую стальную нить — вроде барьера, не дающего приблизиться друг к другу. Вот сидят за столом десять человек. Они вместе жили. Они вместе дружили. Они вместе почти все пережили и почти все прожили. Они давно не собирались вместе. «Норка?» — спрашивает Рина у Аллы. «Норка», — отвечает Алла Рине. «Почем?» — спрашивает Рина у Аллы. «Столько-то», —

отвечает Алла Рине. «О!» — говорит Рина. «Кому еще пирога?» — спрашивает Ляля. «Мне!» — говорят хором Арик, Витенька и Леонид и протягивают тарелки. «Что-то у нас не так, — думает Татьяна. — Какие-то мы больные. Неужели они ничего не спросят про Катю или про Аркашеньку? А я? Я что-нибудь у них спрошу?» Ляля вносит торт и широкие черные чашки с золотыми пагодами и китайчатами в треугольных шляпах. Торт высокий, пышный, почти свадебный, украшен кремовыми кружевами и маленькими золотыми меренгами, похожими на церковные луковички. Витенька смотрит на торт с гордостью, как на личное достояние, поигрывает серебряной ложечкой, и глазки его влажнеют. С годами Витенька окончательно определился с контурами тела, будто прочерченными циркулем. Округлая попка, округлый животик, округлые плечики. И походка, и жесты, и движения маленького нежного ротика — тоже плавные, округлые, очень женственные. Алла, напротив, подсохла, стала похожа на ржаной сухарик. Татьяна голову готова дать на отсечение, что под столом Витенька держит ее за руку. Улучив момент, она бросает на пол ложку.

— Оставь! — говорит Ляля. — Я подниму потом.

Но Татьяна лезет под стол: Витенька держит Аллу за кончики пальцев, робко, как неуверенный ухажер, изредка поглаживая ее указательный своим большим.

— Ну вот что, ребята! — наконец говорит Витенька. — Мы с Рыжим подумали и решили — уезжаем! Положение очень, очень неважное. Сведения самые достоверные — скоро будем грызть одну вермишель. Лично мне просто страшно оставаться! — Витенька обводит компанию печальным выжидающим взглядом. Компания безмолвствует. — Так вот, уезжаем... — повторяет Витенька и добавляет безнадежно, уже не рассчитывая на всплеск родственного отчаяния: — Навсегда.

Ляля кашляет.

— Да, — говорит она. — Ужасно. Это мы от неожиданности оцепенели, прости. Куда решили?

— В Германию.

— Почему не в Израиль?

— Боже мой, Ляленька, ну что там делать, в Израиле?! В стране, где идет война! Это несерьезно.

— Ну, тогда в Америку...

— Нет, нет, только Европа! Прелестные старинные города, утопающие в зелени парков! Вековые традиции! Маленькие кофейни! И культура! Главное — европейская культура! Культура отношений, быта, театр, музыка...

— Цирк, — вклинивается Арик и опрокидывает в себя рюмашку. — Давай, Витька, на посошок!

Витенька теряет, но рюмку берет и даже делает маленький глоточек.

— Мы будем писать вам каждую неделю!

— Лучше каждый год. — И Арик коротко всхрипывает.

— Вить, — говорит Ляля. — А что ты там будешь делать? Тебе сколько сейчас, пятьдесят?

— Сорок девять, — сухо отвечает Алла. — Виктор будет работать. Он прекрасный специалист.

— Мы будем гулять, наслаждаться жизнью, есть прекрасные свежие продукты, общаться с интеллигентными людьми! — надывается Витенька. — Мусенька! Родная моя Мусенька! Как тяжело, как невыносимо тяжело расставаться с юностью, с родными, с

любимыми местами! Воспоминания! Что может быть прекрасней и грустней! В памяти мы сохраним этот теплый дом, эти стены, где всегда чувствовали себя своими, куда могли принести свои печали и горести!

Марья Семеновна слушает, мелко трясая седой головой.

Домой ехали тоже молча. Мокрый снег слепил ветровое стекло. Арик чертыхался. Тетка Мура испуганно на него поглядывала. Тетку Муру завезли первой. Леонид выгрузил ее из машины, поманил Татьяну. Татьяна вылезла.

— Куда? — удивился Арик. — Мы вас довезем.

— Спасибо, мы пройдемся.

— Ну, пройдитеесь.

Шли не спеша. Татьяна крепко держала Леонида под руку. Этой зимой она уже падала три раза — один раз ногу подвернула, другой раз кто-то толкнул... Старая стала.

— Тебе грустно? — спросила она Леонида.

— Грустно? — переспросил он. — Почему? Смотри, у Катьки свет горит. Значит, дома уже. Как ты думаешь, выйдет она замуж за этого своего обалдуя?

— Выйдет, наверное. — Татьяна покрепче ухватила за его локоть. — Я бы вышла. Чего ты так смотришь? Он мне нравится. Он на тебя похож.

В конце мая Витенька с Аллой уехали. Оказалось, что разрешение получено уже давно и даже место определено — малюсенький городок, у черта на рогах, правда, где-то в горах, но, говорят, изумительной красоты, с пряничными домиками на ратушной площади и старинной крепостью на холме, которую лет эдак тыщу назад один немецкий князек отбил у другого вместе с молодой женой — не то Сигизмундой, не то Брунгильдой. О Сигизмунде с Брунгильдой Витенька рассказывал с упоением, как о личной заслуге. Все остальное вызывало большие сомнения. А главное — вопрос, «Что делать?». Скучища в этом городке намечалась редкостная. Но Витенька не был бы Витенькой, если бы кому-то в этом признался. Все, что принадлежало ему, — даже чужой скучный пыльный городок на краю Европы, — предполагало наличие его, Витенькиного, личного знака качества. Счастливая особенность организма, считала Татьяна, всю жизнь сомневавшаяся во всем, что касалось ее жизни, ее решений, ее свершений, ее успехов. Ну не видела она этих успехов. Что поделаешь? Вернее, видела, но сомневалась — так ли уж они успешны, эти успехи? Леонид ругался, говорил, что она себя недооценивает, и вообще, что это за самоуничижение такое, что за позиция — я хуже всех, и платье у меня самое дешевое, и квартира самая бедная, зато комплексов хватит на десятерых? Комплексов и правда хватало. «Поедем на метро», — говорила Татьяна, когда они собирались куда-нибудь большой компанией. «Зачем? Арик за нами заедет». — «Не хочу. Что они вечно нас возят, как бедных родственников? Ты заметил, какой он стал самодовольный? Он как будто ищет все время, что бы такое гадкое сказать. Катьку обидел». — «Правда? Я не заметил». Эта способность Леонида не замечать того, что было для Татьяны так важно и так болезненно, злила ее чрезвычайно. А Арик... Он ведь действительно стал самодовольным. И Катьку обидел. Сказал, что такие бабушкины платья носят старые девы. Намекнул сразу и на то, что у них денег нет прилично одевать дочь, и на то, что в двадцать четыре года можно было бы уже и замуж выйти, а так вроде и не берет никто. Катька потом плакала полночи. И что самое гадкое — неправда. Берут, и еще как. Катька — дурочка. Ей за них обидно. Что их унижают. Катька — маленькая, несмотря на свой столь преклонный двадцатичетырехлетний возраст. Не понимает, что у Арика свои

комплексы. Не было бы комплексов — не лезли бы из него эти червяки. Комплексы бедного мальчика из Мариуполя, всю жизнь кому-то — и, главное, себе — доказывающего свое право на первенство. Комплексы, не понятные ни Катьке, ни его собственному сыну Аркашеньке. Кстати, Катькиному обалдую совершенно наплевать на то, как она одета. И этим он Татьяне чрезвычайно мил.

Провожали Витеньку с Аллой бестолково. Чуть не опоздали к отлету. Ляля по дороге к метро вспомнила, что забыла дать Марье Семеновне какое-то лекарство, вернулась, выяснила, что лекарство дано, побежала обратно, в суматохе села не в тот поезд, проехала три остановки в другую сторону. Миша, молча плетущийся сзади, был отруган и почти побит. Татьяна с Леонидом ждали их на «Речном вокзале». Нервничали, встретили упреками, потом яростно штурмовали автобус. Ехали стоя, в жуткой тесноте, выпрыгнули почти на ходу. Выпрыгивая, Ляля подвернула ногу и с трудом доковыляла до входа в аэропорт. Влетели в зал, когда Витенька с Аллой уже подходили к таможне. Бросились наперерез толпе, чмокнули подставленные щеки, отскочили. Витенька с Аллой исчезли из вида. Зачем неслись? В сторонке, под табло, стояли Арик и Рина. Между ними висела тетка Мура. Тетка Мура заливалась слезами, что было, кстати сказать, довольно странно. Витеньку с Аллой она никогда особенно не любила и даже дома у них ни разу не была. Да и к себе звала нечасто. В руке тетка Мура держала клочок, вырванный из школьной тетрадки в клеточку.

— Что это? — спросила Ляля, указывая на листок.

— Ви-и-итенька подарил! — провыла тетка Мура. — На па-амять! Ма-альчик мой! Последняя воля его покойной матушки! — Тетка Мура развернула листок, шмыгнула носом и начала читать: — «Дорогой мой, любимый сыночек! Ты — моя единственная радость и утешение в старости!..»

— Пошли, что ли, домой, — сказала Ляля.

И они пошли. Сзади Арик с Риной волокли тетку Муру. Тетка Мура всхлипывала, бормотала что-то себе под нос и время от времени принималась читать по бумажке. На улице остановились перекурить.

— Ну и что все это значит? — спросила Ляля тетку Муру. — Что это вы так рассупонились, хотела бы я знать? Витеньку жалко? Алочки будет не хватать?

— Ты не понимаешь! — строго сказала тетка Мура. — Когда умирают старики, это нормально. Но когда живые, молодые — и вот так, навсегда... — И она принялась тереть глаза.

Когда тетку Муру водрузили на переднее сиденье Ариковой «Волги», она вдруг высунулась из окна и поманила Татьяну.

— Тебе скажу, — прошептала тетка Мура, цепляясь за Татьянин рукав. — Больше никому, даже Ляленьке. Я ведь тоже скоро... Ну, соберусь.

— Куда соберетесь, тетя Мура? — спросила Татьяна, холодея. Она решила, что речь идет о кладбище.

— В Израиль. Нечего мне тут делать. Не хочу быть вам в тягость.

— Не говорите глупостей, тетя Мура! — сердито сказала Татьяна. — Кому вы в тягость? Что вам делать в этом Израиле? Кому вы там нужны? Как вы поедете? Вы представляете?

— Не волнуйся, девочка, как-нибудь доеду. Вот уберу Шурина могилку и начну собираться.

— Здравствуйте, Таня! Меня зовут Люся, — быстро проговорил высокий жеманный молодой женский голос, слегка раскатывая «р» и проглатывая «л». — Я... как бы вам сказать... я — жена вашего отца.

Татьяна молчала.

— Алло! Вы слышите?

— Да, да, — поспешно сказала Татьяна. — Слышу. Как вы меня нашли?

— Не важно. Это нетрудно. Вы давно с ним не виделись...

— Давно? Лет сорок, — насмешливо вставила Татьяна, успевшая прийти в себя.

— Простите. Он просил вас найти и передать... понимаете, он очень болен и... Может быть, вы его навестите в больнице?

— Навещу. Давайте адрес.

Она записала адрес и тут же повесила трубку, не слушая картавого клекота на том конце провода.

— Кто? — спросила мать, крутившаяся тут же.

— Жена отца.

Лицо матери окаменело. Она повернулась и ушла в свою комнату, плотно прикрыв дверь. Через полчаса появилась на кухне.

— Интересно, какая по счету, — язвительно сказала мать, как будто никуда не уходила, но взгляд ее был так напряжен, что казался мертвым. — Чего хотела?

— Отец болен. Просит навесить.

— Пойдешь?

— Пойду.

— Ну, как хочешь. Когда соберешься, мне не говори.

Татьяна собралась назавтра.

Палата была огромная, десятиместная. Пахло влажным бельем и невымытым мужским телом. Татьяна топталась у двери, пыталась разглядеть лица на серых подушках. Отца она не узнавала, да и узнать не могла.

— Вы к кому, девушка? — спросил дедулька с крайней койки.

Татьяна назвала фамилию. Дедулька махнул костлявой рукой куда-то в сторону.

Отец лежал у окна, запрокинув голову на низкой подушке, и глядел в потолок. Кадык, поросший густой седой щетиной, ходил вверх-вниз на тощей жилистой шее. «Сейчас подавится», — подумала Татьяна. Она села рядом на стул и вытащила из пакета яблоки. Как позвать? Вот проблема — как позвать? Папа? Невозможно. Отец? Тоже. Просто: «Я пришла»? Глупо. Она кашлянула. Отец оторвался от потолка и перевел на нее мутные лужицы глаз.

— А, это ты, — сказал он так, будто они только вчера расстались. — Как дела?

— Хорошо. Вот, яблоки тебе привезла.

Отец посмотрел на яблоки и вдруг улыбнулся.

— Не знаю, разгрызу ли.

Он взял одно яблоко, и Татьяна вспомнила. Большой палец с круглым гладким ногтем, которым отец, смешно выворачивая руку, стряхивал пепел с папиросы. У этого незнакомого человека был палец из детства. Она закрыла глаза и увидела картинку из детства: высокий человек в гимнастерке, чай в розовых фарфоровых чашках, похожих на лепестки диковинного цветка, у бабушки горят щеки; повернувшись к высокому человеку, она заглядывает ему в глаза, гладит широкую мужскую руку с папиросой, зажатой между

указательным и средним пальцами, суетливо пододвигает пепельницу, подливает чай, стуча носиком чайника о край чашки; на пороге появляется мать, бледнеет, резко разворачивается и уходит к Белкиным, в соседнюю комнату, и там сидит на чужой кружевной постели, похожей на торт с меренгами, сгорбившись и закрыв лицо руками. Татьяна вспомнила, но все равно не узнала. Тот, кто лежал сейчас перед ней на кровати, задрал к потолку щетинистый кадык, был чужой, чужой, чужой. И никаким другим быть не мог.

— А я, Танька, умираю, — дернувшись, сказал кадык.

Внутри появилось чувство, которое Татьяна называла «бельевая прищепка». В груди защемило. Жалость? Вина? Сочувствие? Горечь? Татьяна сглотнула.

— Ну ладно, я пойду, — сказала она и поднялась.

— Иди, — спокойно ответил он и снова уставился в потолок.

Татьяна стояла возле кровати. Что-то еще сказать? Спросить? Или подождать, может, он скажет? Отец молчал. Татьяна тоже помолчала и пошла прочь.

Во дворе больницы она прислонилась к стволу старого тополя и подставила лицо солнцу. Так она стояла и щурилась, и воробьи скакали у ее ног, и толстая санитарка везла из пищеблока тележку с кастрюлей гречневой каши, а на углу, возле автобусной остановки, продавались плюшки с изюмом. Татьяна купила плюшку и стала жадно запихивать в рот. Она жевала плюшку, зубы вязли в клеклом тесте, спотыкались о виноградные косточки. Татьяна подавилась, закашлялась, прослезилась и проглотила, наконец, последний кусок. Отдышавшись, пошла вдоль больничной ограды, помахивая сумочкой. Зацепилась за какую-то железную штуковину. Чулок немножко подумал и спустил петлю. Татьяна смотрела на спущенную петлю, на безобразную дыру, образовавшуюся на самом видном месте, и все — и дыра, и петля, и железная штуковина, и виноградная косточка, застрявшая в зубах, и толстая тетка с гречневой кашей, и воробьи, — все было прекрасным. Во всем были радость и освобождение.

К отцу она больше не приходила. Он умер через три недели. На похороны она тоже не пошла. И матери ничего не сказала. Да та и не спрашивала.

Собираться тетка Мура начала очень быстро. Увещеваний не слушала. Возражений не принимала. От соображений здравого смысла отмахивалась. Отрядили Лялю вправить тетке мозги. Ляля просидела у тетки Муры целые выходные, задавая один-единственный вопрос: как тетка Мура собирается жить в чужой стране одна-одинешенька? Доводы не подействовали. Оказалось, что у тетки Муры в Израиле живут школьная подруга с семьей и еще какие-то родственники, никому, кроме нее, не известные, разве только Мусеньке, но она уже ничего не помнит, и письма приходят сказочные, просто сказочные, в доме ее подруги лифт с зеркальными стенами, и вообще бывших советских пенсионеров там очень уважают, особенно тех, кто воевал, а что сыр там только мягкий, так это ничего, это потому что, он кошерный, а кошерный сыр твердым не бывает.

— Какой сыр? — Ляля потрясла головой, отгоняя наваждение. — Вы что, тетя Мура, с ума сошли?

— Чеддер, — просто ответила тетка Мура. — Обыкновенный чеддер. Но, говорят, вкусноты необычайной.

И Ляля поняла, что проиграла.

Собиралась тетка Мура резво. Она вообще оказалась резвой старушкой во всем, что касалось этой ее голубой мечты об израильском рае. Как-то сама собой, почти незаметно,

была залита цементом могила Шуры — «чтобы вам, деточки, не надо было сорняки ковырять, когда я уеду», — так же неожиданно быстро пришло из Израиля приглашение от незнакомых родственников, вдруг оформились документы, было получено разрешение на выезд и въезд, и тетка Мура с гордостью сообщила, что стоит на каком-то листе ожидания в «Аэрофлоте». Встал вопрос о квартире.

— Продавайте! — сказала Ляля. — Вам деньги нужны.

Тетка Мура помотала головой.

— Аркашеньке! — прошептала она.

Встал вопрос о мебели.

— Отправляйте медленной скоростью! — сказала Ляля. — Там пригодится.

Тетка Мура помотала головой.

Ляля подошла и обняла ее за жалкие вздрагивающие плечики.

— Ну скажите вы мне, тетя Мура, дуре старой, зачем ей ваш облезлый сервант? Или вы ее боитесь? Ну что вам бояться, тетя Мура! Вы же уезжаете!

Тетка Мура помотала головой.

О китайском сервизе встал отдельный вопрос. И о серебряных ложечках тоже. Оба вопроса были решены однозначно. А больше у тетки Муры ничего не осталось.

Провожали с Киевского вокзала. В последний момент оказалось, что лист ожидания — большая фикция и ни о каких билетах на самолет не может быть речи, потому что они распроданы на полгода вперед. Пришлось срочно брать билеты на поезд — через Чоп, в Чопе таможня, до Чопа довезет Миша, поможет с вещами, пересадит на другой поезд, а там — сама. Одна, одна, одна.

Тетка Мура сидела у окна в купе, а они стояли на перроне. Миша пересчитывал чемоданы. Ляля давала последние наставления. Татьяна стояла просто так. Поезд тронулся, тетка Мура вскочила, засуетилась, стала торопливо и как-то хлопотливо махать. Они бросились за поездом, запоздало крича какие-то ненужные слова. Тетка Мура становилась все меньше и меньше и в конце концов исчезла совсем. Была тетка — и нету. С вокзала шли медленно. Все, гурьбой, впереди, Татьяна — сзади. Почему-то не хотелось идти со всеми. Хотелось остаться на вокзале и смотреть вслед поезду, который, в отличие от машины, никогда не дает заднего хода. Почему-то казалось очень важным — вот так стоять и смотреть, как будто это могло что-то изменить. «Одна, одна, одна», — выстукивали колеса, увозившие от них тетку Муру.

Рина приостановилась и дала Татьяне себя догнать.

— Ты видела? — спросила она и взяла Татьяну под локоть.

— Что?

— Брошку. Она ее приколола под воротник и платочком все время прикрывала. Это чтобы таможенники не заметили.

— Какая брошка, Рина?

— Бриллиантовая. Один крупный и семь мелких. Я посчитала. Главное — никому ни слова!

— Эту брошку, Рина, я ей подарила на прошлое Восьмое марта, стоила она десять рублей.

— Врешь! — уверенно сказала Рина.

Татьяна рванулась вперед, обогнула застывших в изумлении Лялю и Леонида и побежала прочь с вокзала. Леонид догнал ее уже на улице. Схватил за руку, повернул к себе

и с силой прижал ее лицо к своему плечу. Она смотрела через его плечо на площадь Киевского вокзала, на баулы, тюки, тележки, на молоденького милиционера в сбитой на затылок летней фуражке, на людей, которые уезжали и приезжали, делая это как-то легко, весело, между прочим, которые провожали без сожаления и прощались без печали, и все это — баулы, тюки, тележки, люди, молоденький милиционер — отражалось в ее глазах, как в лужицах, наполненных до краев прогорклой московской дождевой водой.

— Плохо? — спросил Леонид.

— Плохо, — ответила она. — Одним домом меньше.

Подождали остальные.

— Ну что, — сказал Арик. — Давайте к нам. Посидим, выпьем, как люди.

Леонид посмотрел на Татьяну. Она покачала головой.

— Мы домой. — Он развернул ее и повел прочь, держа, как ребенка, за воротник платья.

— Я не хочу домой, — вдруг сказала она.

Он остановился:

— Гулять?

Она кивнула, глядя на его расплывающееся лицо сквозь слезы, которые все дрожали и дрожали у нее в глазах и никак не могли пролиться, не хотели дать ей освобождения.

Они перешли мост, переулками добрались до Арбатской площади и на бульварах свернули налево.

— Хочешь мороженое? — спросил Леонид.

— Хочу.

— Крем-брюле?

— Крем-брюле.

Она ела мороженое очень медленно, как будто нехотя погружая палочку в липкую коричневую слякоть.

— Вкусно?

— Вкусно. — Она облизнула палочку и сунула стаканчик ему в руки. — Гадость какая! Меня сейчас стошнит! — и неожиданно улыбнулась.

— Играем? — спросил он.

Она укоризненно посмотрела наверх, будто он сказал что-то недозволительное, увидела очень серьезное лицо и неуверенно кивнула.

— Что это? — Он показал на какой-то дом.

— Это Париж.

— Париж? Почему?

— Ты что, не понимаешь? Так в Париже бывает, видишь, улица входит прямо в дом. Как будто не дом на улице строили, а улицу для дома.

— А ты что, была в Париже?

Она засмеялась:

— Была.

— Когда?

— А ты не помнишь? В прошлом году мы отдыхали в Ницце и заехали в Париж за покупками. Ты купил мне желтые бриллианты. А вот здесь я жила в XV веке.

— Этот дом в середине прошлого века построили.

— Какая разница! Есть такие места, где ничего никогда не меняется. Воздух остается.

Тут, наверное, ступала нога Ивана Грозного.

— Нога дядя Вани из пятого подъезда тут ступала! Пойдем по Чистым прудам.

— Пойдем. Только это не Чистые пруды. Это Чистые лапы.

— Это еще почему?

— А у нас на работе есть одна девушка, к ней приезжала подружка из Англии семидесяти двух лет, и эта девушка показывала ей Москву. Я тебе не рассказывала? Нет? Так вот, они шли по бульвару, и наша девушка забыла, как по-английски пруд, и говорит: «These are the Clean lakes!» Ну, то есть Чистые озера. А подружке послышалось «legs». Она говорит: «Как, как? Чистые лапы? Какое странное название!» А я вот думаю — почему странное? Здесь же утки плавают и лебеди, у них лапы всегда чистые.

— Ты фантазерка. Тебе доверять нельзя.

Они вернулись домой, когда уже почти стемнело. Катьки не было. Мать смотрела телевизор. Встретила их кислой полуулыбкой, кивнула на часы. «Ну почему!.. — с отчаянием подумала Татьяна. — Ну почему мы не можем вернуться домой когда хотим! Кому мы должны? Что мы должны?» — и пошла ставить чайник. Леонид сидел за кухонным столом, курил.

— Ты знаешь, — сказал он. — Я, кажется, влюбился.

Она испуганно оглянулась. Он смотрел серьезно и строго, как будто говорил очень важную вещь. И она поняла.

— Лет двадцать назад?

— Нет. — Он пошевелил губами, как будто подсчитывая. — Двадцать шесть. А что, видно?

— Видно, видно, не сомневайся. Что думаешь делать?

— Думаю, почему это у уток всегда чистые лапы? Они же иногда по земле ходят.

— Потому что они их часто моют. Ужинать будешь?

— Буду. Крем-брюле. И гранаты.

— Может, рубины?

— Может быть. И желтые бриллианты тоже. — Он взял ее руку, вынул кухонную тряпку и поцеловал в нежную раковину запястья.

После отъезда тетки Муры они остались без стержня. Не то чтобы все развалилось — нет. Все осталось по-прежнему. Но вот представьте, что из шариковой ручки вытащили стержень. Ручка та же. Только почему-то не пишет. Может, и чернил-то в этом стержне была самая малость. Но была же, была! А теперь нет. В отсутствие тетки Муры Ляля пыталась взять на себя роль каменщика, скрепляющего цементом кирпичики семейной идиллии. Теперь она была за старшую. Выступала от имени семьи, имела право выразить порицание или одобрение. Все ее слушали, только не слушались. И кирпичики почему-то не поддавались, не склеивались. Лежали вроде рядом, вместе, но — каждый сам по себе. Встречались. Нечасто — по выходным. Перезванивались. Чаще — почти каждый день. Вместе — на Новый год, вместе — на 8-е Марта, вместе — на днях рождения. Татьяна рассказывала Ляле все. Ну, почти все. Всего ведь не расскажешь. Ляля рассказывала Татьяне все. Кажется, все. Всего ведь о другом не узнаешь. Ляля таскала по врачам Марью Семеновну. Марья Семеновна усохла и почти ничего не слышала. Ляля жаловалась, что она совсем не ест и не разговаривает. Татьяна таскала мать по врачам. Мать капризничала, придирками доводила ее до крика. «Мам, что на ужин сделать, пюре или рис?» — «Ну, если лень чистить картошку...» — «Да не лень. Просто рис быстрее». — «Вот-вот, именно об

этом я и говорю». — «Мам, я задала тебе простой вопрос. Тебе чего больше хочется?» — «Ты спрашиваешь, чего мне хочется? Вчера ты этого вопроса не задавала». И мать поджимала губы. Каждый вечер к Катьке приходил обалдуй. Татьяна его кормила, и они запирались с Катькой в маленькой комнате. Шептались до ночи. Мать, надувшись, сидела в большой комнате на диване перед телевизором. Деваться Татьяне с Леонидом было решительно некуда, разве что на пятиметровую кухню. Когда обалдуй уходил и мать перебиралась к себе на кровать, Татьяна раскладывала диван, стелила постель, ложилась и с ужасом начинала думать о предстоящем Катькином замужестве. Получалось, что при наличии в доме обалдуя им с Леонидом придется ночевать на вокзале в камере хранения, или, как там у них называется, в комнате матери и ребенка.

Рина по врачам никого не таскала, но очень волновалась за здоровье Арика. Ляля считала, что повод волноваться имеется нешуточный. Арик пил как лошадь. Девочки опять же не переводились. Рина сильно нервничала — не из-за девочек, а из-за того, что такой образ жизни Арику не по силам. Все-таки полтинник уже. Еще Арик встречался с большими мальчиками. Мальчиков водили по ресторанам, принимали дома, потом запирались с ними в спальне и долго разговаривали полусшепотом. Арик делал дела. Рина проговаривалась — как бы нехотя, — что намечается создание со-оператива (Рина произносила это слово раздельно и очень значительно), причем приставка «со-» обозначает именно то, что и должна обозначать, — совместное производство. Большие мальчики получали от Арика большие суммы, ставили резолюции, что-то разрешали, что-то продвигали, суммы увеличивались, рестораны становились все дороже. Со-оператив был создан. Через полгода Рина заговорила о том, что Арика могут посадить. Татьяна ахала. Ляля усмехалась. Леонид отворачивался и закрывался газетой. Миша вывешивал на лицо табличку: «Не беспокоить!» Разговоры эти были им неприятны. Рина сидела счастливая, выпрямив сутулую спину, обводила всех гордым взглядом. Разговоры про «посадят» велись не просто так. «Посадят» — значит, ставки такие, какие вам, господа хорошие, и не снились, миллионные ставки, господа, значит, добыты, или украдены, или прикарманены, или — назовите как хотите — такие деньги, что ой-ё-ёй! Арик поводил лысой головой, как бы намекая на значительность суммы. Значительность суммы — это личная значительность Арика, достояние его маленькой республики, предмет мужской гордости, свидетельство оборотистости и удачливости. Значит, разговоры велись не о деньгах и уж точно не о гипотетических неприятностях, которых Арик совсем не боялся. Разговоры велись о том, что Арик обогнал их всех на крутом вираже, обставил, как неразумных котят, не умеющих и никогда не умеющих устроиваться в жизни. Арик сменил «Волгу» на подержанную иномарку и тут же объявил, что ему надо немедленно от кого-то скрыться. Желательно на полгода. Но сойдет и месяц. Позвонили тетке Муре. Тетка Мура спешно, с оказией, выслала гостевое приглашение. Арик отбыл на Землю обетованную.

Через месяц Рина устроила большой прием по случаю возвращения Арика. Подавали красную рыбку и салями, что по тем временам проходило по статье подвига. Арик был весел, скалил белые зубы, сверкал загорелой лысиной, называл Израиль «Израиловкой» и обещал «таких делов с евреями наделать, что вы все вздрогнете».

— Евреи это кто? Тетка Мура? — спросила Ляля.

Арик смеялся и намекал на какие-то умопомрачительные знакомства, которые он свел на пляже в Тель-Авиве. На вопрос о тетке Муре сказал, что «старушка бэсэдэр», в том смысле, что «нормалек», и быстро переключился на крокодилий питомник, сильно

поразивший его воображение во время экскурсии на север страны. Раздавал подарки: Ляле с Мишей банку кофе, Татьяне с Леонидом маленький красный пластмассовый флакончик. Татьяна думала — духи. Оказалось — ванильная пропитка для торта. Татьяна повертела флакончик в руках, сунула в сумку и забыла. Через год, роясь в сумке, обнаружила флакончик со сползшей этикеткой и долго морщила лоб. Потом вспомнила, решила тут же использовать и даже завела тесто, но из флакончика пахло такой кислотой, что Татьяна чихнула, быстро заткнула пробку и выбросила флакончик в ведро. «Ну почему с Ариком всегда так? — подумала она, усмехаясь. — Снаружи Версаль, а внутри — кислотина?»

Позвонили чужие родственники, которым Арик должен был привезти посылку от их — для Арика тоже чужих — израильских родственников. Арик захохотал, замахал руками, выронил изо рта кусок красной рыбы, подхватил, засунул обратно, заплакал от смеха. Оказалось, что посылки нет. То есть была, конечно, но Арик слопал ее в самолете. В посылке был килограмм шоколадных конфет, а Арик шоколадные конфеты очень уважал. Ну не мог удержаться человек! Ну что вы хотите! С кем не бывает. Татьяна-то была уверена, что ни с кем, кроме Арика, не бывает, но промолчала.

— Танька, а может, тебе осенью тоже к Муре съездить? — предложила Ляля, когда они шли к метро.

— Почему мне? — спросила Татьяна.

— Я не могу, я при маме.

— Я тоже при маме.

— Поезжай, а, Таньк? — вдруг сказала Ляля жалобно, как будто упрашивала, как будто речь шла о личном ей, Ляле, одолжении, и Татьяна посмотрела на нее с удивлением. — Ну что ты так смотришь? Тетку порадуешь. Что ей Арик? И сама... Ты когда в отпуске последний раз была? И мне потом... расскажешь, как она там. А я твоих кормить буду, Катьке «наполеон» испеку. Поезжай, а?

— Денег у меня нет, — буркнула Татьяна и поехала.

Осенью не получилось. Осенью Катька вышла замуж за обалдуя. Пришла вечером домой и сказала:

— Субботу не занимайте.

— А что такое?

— Да ничего. Замуж выхожу.

— Совсем ты обалдела, матушка! — сердито сказала Татьяна. — Так не делают!

— А как делают?

— Как люди.

— Люди делают по-разному, — деловито объяснила Катька, засовывая в рот бутерброд. — Свадьбы не будет, не надейтесь. Жить будем у Мити. Его мама в курсе. Можете пригласить ее в гости, а что касается подарков...

— Никаких подарков! — отрезала Татьяна. — Нет свадьбы — нет подарков!

— Ладно, — легко согласилась Катька. — Тогда купите диван просто так. А Ляля — постельное белье, — и ушла к себе.

Маму пригласили. Мама оказалась милой. Диван купили. Постельное белье тоже. Арик притащил невероятных размеров коробку со столовым сервизом на двадцать четыре персоны.

— Что мы с ним делать будем? — смеялась Катька. — В квартире помещаются три

человека и кошка! Ну ладно, как раз на всю жизнь хватит!

Татьяна смотрела на Катьку, запихивающую в чемодан свои тряпочки, и ловила себя на глупом и стыдном. Она завидует своей дочери. Завидует той легкости, с которой та входит в новую жизнь. Той бестрепетности и бесстрашности, с которой вступает в новую семью. Ей не надо приглядываться, приспособливаться, подделываться, ей не надо ломать себя. Она такая, какая есть. Такой и останется. Она примет чужие устои и обычаи, оставив за собой право решать, следовать им или нет. И никто не скажет ей: «Деточка! Тряпочку-то как следует выжимай!» И никто из ее гостей не услышит свистящее: «Здрассьти!» Она никому ничего не должна. Она в своем праве.

— Как ты думаешь, они... ну, целовались уже? — спросила Татьяна Лялю, когда они выходили из ЗАГСа.

— Насчет «целовались» не знаю, а все остальное точно делали, — ответила Ляля.

Татьяна испуганно вздрогнула.

— Ну что ты пугаешься! Раньше надо было пугаться. Теперь все уже. Поздно.

Прошел почти год, пока обустроили Катьку, собрали деньги и получили от тетки Муры приглашение. Последнюю неделю перед отъездом Татьяна гоняла по Москве, покупала подарки. Подарки были такие: две павловопосадские шали, одна черная, другая вишневая, набор расписных разделочных досок и три семейства матрешек. Кому нужны в Израиле расписные доски и матрешки, Татьяна слабо представляла, но Ляля сказала: «Покупай!» — и она купила. А вот шали — это вещь. Тетка Мура очень жаловалась, что зимой там не топят и от каменного пола у нее стынут не только ноги, но и спина с поясницей. Накануне отъезда Арик не спросясь притащил десятикилограммовый масляный обогреватель для каких-то дальних родственников. Татьяна возмутилась было эдаким бесстыдством, но Арик этого даже не заметил. Вытащил из кармана маленький металлический кружок с дыркой посередине.

— А вот сейчас я вам сделаю царский подарок! Называется осемон. Они там в Израиле им звонят. Вы слышали? Нет, слышали? Опускаешь в щель и звонишь.

— Многоразовый, что ли? — спросил Леонид.

— Почему многоразовый! Звонишь — и все. Упал — пропал. Фантастика!

В чем тут фантастика, Татьяна не поняла, повертела осемон в руках — двушка с дыркой, не более того, но Арик был так уверен, что подарок действительно царский, так радовался своей щедрости, так много об этом говорил, так шумно пил чай, так вгрызался в бутерброд с сыром! Пришлось осемон взять, поблагодарить и тащиться в Израиль с масляным обогревателем в специально купленной для этого огромной дорожке сумке.

Израиль Татьяну ошеломил и напугал. Напугало главным образом ощущение собственной провинциальности. Провинциалкой Татьяна, родившаяся и всю жизнь прожившая в огромном городе, никогда не была, но тут... Как платить в автобусе, если нету касс? Как это — брать деньги из стенки? Ах, банкомат. И что, у всех есть счета в банке и — как их там — кредитные карточки? Даже у вас, тетя Мура? Как войти в кафе, чтобы не поняли сразу, что у тебя почти нет денег? Сесть за столик или подойти к стойке? А если мест нет? Ах, всегда есть... А если остановит швейцар? Ах, не остановит... А что сказать официанту, если не знаешь ни языка, ни названий, ни цен? Однажды Татьяна расхрабрилась — очень уж захотелось торта со взбитыми сливками и клубникой, — твердым шагом вошла в кафе — как потом оказалось, из дорогих, — потянула официанта за рукав, подвела к стеклянной витрине, где вертелись тарелки с кусками торта и пирожными, и ткнула пальцем

в свою клубнику. Торт оказался нежнейший, а тетка Мура очень потом ругала за напрасно выброшенные деньги, Тетка Мура как-то на удивление ловко обустроилась и в этом Израиле, и в своей крошечной квартирке, где входная дверь открывалась прямо в гостиную и стоял обшарпанный шкаф, который притащили сердобольные соседи. Подружилась с соседками-старушками, ходила с ними в драматическую судию при матнасе — местном доме культуры. Скакала с тележкой между полок супермаркета, объясняла Татьяне, что творог с цифрой «0» надо брать, а с цифрой «5» — нет, не та жирность, что если на банке огурцов написано «5 см», то длиной именно пять сантиметров будут огурцы в банке. Татьяна тихо изумлялась. Тетка Мура пичкала ее йогуртами и местными плодоовощными культурами. Клубника оказалась кислой, кукуруза — кормовой, а мандарины — сладчайшими. Мандарины тетка Мура покупала в арабской лавочке и уверяла, что хозяин, старый араб в пестром платке, так хитро накрученном на голове, что походил на Курочку Рябу, так вот, тетка Мура утверждала, что «он нас не любит».

— Вот вхожу и чувствую — не любит! — говорила тетка Мура и закатывала глаза.

— А вы его любите? — спрашивала Татьяна.

По вечерам вместе с тетки-Муриной собачонкой Мулькой, которую всучили ей все те же сердобольные соседи в нагрузку к шкафу, шли гулять и подолгу сидели на вершине холма, глядя на раскинувшийся внизу Иерусалим. Иерусалим был похож на раскрытый гранат со светящимися зернами. Как-то тетка Мура повела Татьяну на склад. Склад представлял собой огромную комнату с горами мешков. В мешки израильтяне складывали ненужную одежду. Она так и называлась — из мешка — и раздавалась бесплатно. Татьяна сначала думала, что только богатые израильтяне складывают одежду в мешки. Оказалось — все. И тетка Мура — даже тетка Мура, в Москве латавшая чулки и боявшаяся выбросить старые трусы — вдруг пригодятся, тряпочек наделаю! — тетка Мура тоже бестрепетной рукой складывала в пластиковые мешки старые юбки и кофты и тащила на склад. Но вот вопрос: если все тащат барахло на склад, то кому оно там нужно?

Хозяйка склада — старая израильтянка, которую родители вывезли сюда годовалым младенцем в черт его знает каком двадцатом году, — носила усы под носом и говорила с чудовищным акцентом — «музэй», «пионэр».

— А у вас назначают еще в пионэры? — спросила она Татьяну первым делом.

Татьяна засмеялась и стала рыться в мешках в поисках каких-нибудь приличных вещичек, но быстро поняла, что вещички дрянь, и махнула рукой.

— Подумайте! — возмутилась хозяйка, очень недовольная таким оборотом дела. — У них есть нэчего, а она выбирает!

Родственникам и знакомым тетка Мура передавала Татьяну с рук на руки как драгоценность — из Иерусалима в Тель-Авив, из Натании в Эфрату, из Ришон-ле-Циона в фургончик посреди Иудейской пустыни — в поселении без названия, без дороги, без продуктовой лавки, но со стиральными машинами и унитазами, которые дома, в Москве, Татьяна видела только по телевизору. В пустыню вела дорога с желтой разделительной полосой — чтобы сверху, из вертолета, было видно, что дорога еврейская. В поселение ехали на разбитом автобусе через арабские кварталы. Мальчишки бежали следом и кидали в автобус камнями. Один камень разбил окно и упал к ногам Татьяны. Солдатик с автоматом, сидевший сзади — такой солдатик полагался каждому автобусу, — вскочил и залопотал что-то на иврите, а Татьяна подумала, что, пролети камень на сантиметр выше, солдатик мог бы уже не лопотать. И еще подумала, что солдатиков сажай не сажай — бесполезное это дело.

Так она побывала на войне.

В фургончике у старых московских знакомых, уехавших всего полгода назад и не успевших обзавестись нормальным жильем, на самом видном месте лежал автомат. По вечерам мужчины брали оружие, собирались по двое-трое и выходили на дежурство. Здесь Татьяна провела свою лучшую в Израиле ночь — спала как убитая под бдительным оком старого московского друга, бродившего под окнами со своей пушкой.

— Странно, — сказала она ему утром. — Вот я русская на двести пятьдесят процентов, а чувствую себя тут как дома.

— Ты по мужу еврейка, — ответил старый московский друг.

Через неделю после приезда тетка Мура отпустила ее одну на иерусалимский рынок. Поручила купить крошечных, почти игрушечных, кабачков, маслин и скумбрию. Нормальная селедка в Израиле не водилась. Татьяна стояла у бочек с маслинами и глядела, как они из рассола подмигивают ей разноцветными глазками. Вдруг кто-то потянул ее за рукав. Обернулась. В нос ударил запах дешевых духов и распаренного тела. Татьяна отшатнулась и увидела красное широкое лицо с капельками пота на верхней губе. Лицо улыбалось чуть жалкой улыбкой и глядело на Татьяну знакомыми глазами — когда-то голубыми, а теперь выцветшими, покрытыми паутиной лопнувших кровеносных сосудов, как старый фарфор сеточкой трещин. Татьяна сделала еще шаг назад и увидела фигуру в целом. Фигура не имела определенных очертаний и с трудом была втиснута в ситцевое платье с низким вырезом и огромными красными розами по зеленому полю.

— А ты почти не изменилась, — сказала фигура. — Пошли, ну пошли же! — и потащила Татьяну за собой.

Татьяна, спотыкаясь, бежала за красными розами и гадала — кто бы это мог быть. Наконец прибежали в какое-то кафе. Плюхнулись за столик. Татьяна перевела дух и взгляделась в мелкие рыжие кудряшки, дыбом стоящие над широким низким лбом, в нос-пимпочку, затерявшийся среди барханов малиновых щек, в губы, густо намазанные такой же малиновой помадой. Губы задвигались.

— А я вот... изменилась, — услышала Татьяна и увидела, как толстые пальцы скользят по мощной груди. Ногти на пальцах были короткие, обрезанные почти до мяса, и мясо это выступало из-под ногтей со всех сторон, как будто ему мало было отведенного на пальце места. Татьяна вдруг вспомнила тонкие пальчики с короткими гладкими ноготками и узнала.

— Маргоша! — тихо ахнула она. — Ты как здесь?

— Да я с мужем. И детьми. Мальчик у меня и девочка. Взрослые уже. У мальчика уже свой мальчик. Работает тут, устроился хорошо. И муж работает. А ты как?

— А я у тетки Муры в гостях. Помнишь такую?

— Помню, как не помнить. Я вас всех помню. Ты с Леной все?

— С Леной. А Ляля с Мишей.

— Хорошо, — вздохнула Маргоша и замолчала. — А... он как? — спросила после долгой паузы.

— Кто?

— Витя. Как он? Вы часто видитесь?

— Мы не видимся. Он уехал. В Германию. — Татьяна помолчала. — С Аллой.

— А, — сказала Маргоша. — Увезла-таки. Он вам пишет?

— Пишет. — И Татьяна вспомнила Витенькины письма, где он рассказывал о своем

чудесном житье-бытье, о чистых подъездах, мощеных улицах, подстриженных лужайках, о том, как все в восторге от Рыжего, и, когда она выходит из парикмахерской, нет ни одного мужчины, который не посмотрел бы ей вслед. Как они гуляют под ручку по двум с половиной улицам своего городка, названия которого нет ни на одной карте мира, и соседи-немцы наперебой приглашают их то обедать, то ужинать, потому что какой ужин без Витеньки и Аллы — не ужин, а каторга. В Витенькины письма Татьяна не вчитывалась, так, проглядывала бегло. Иногда только всматривалась в очертания букв и чем-то сильно смущалась. Что-то в них было не так. Однажды пришла к Ляле, увидела Витенькино письмо на столе и ахнула — письма были написаны под копирку.

— Это она от меня его увезла, — вдруг сказала Маргоша, наклоняясь и придвигая капельки пота вплотную к Татьянинному лицу.

— Так ты же сама... тоже уехала, — пробормотала Татьяна, вжимаясь в спинку стула.

— От меня, от меня, — не слушая, тараторила Маргоша. Глаза ее потемнели, мясистые пальцы с коротко обрезанными ногтями вцепились в платье на груди. — Она меня боялась... эта... его... Ал-лочка! — Маргоша скривила губы, капелька пота сорвалась и упала в стакан с соком. — Мы же встречались с ним. Ты не знала? Пять лет назад. Восемнадцатого октября. Он сам позвонил. Правда сам. На работу. Мы как раз чай пили, в полпятого, с тортом. Знаешь, с таким бисквитно-кремовым, с розами. Тут он звонит. «Попросите, — говорит, — Маргариту Анатольевну». Я говорю: «Я Маргарита Анатольевна». Он говорит: «Маргоша!» Так и сказал: «Маргоша! Мне очень надо с тобой увидеться». С цветами ждал. Гвоздики. Три штуки. Розовые. Нежные-нежные такие. Я потом их засушила в энциклопедическом словаре. Я их с собой всегда ношу, чтобы муж не нашел. Вот... — Маргоша торопливо полезла в хозяйственную сумку из коричневой клеенки и извлекала на свет полуистлевший розовый комок. «Она сумасшедшая!» — с ужасом подумала Татьяна. — Мы потом по Москве гуляли, долго-долго. — В голосе у Маргоши появился надрыв, нос стал подозрительно распухать. — Он меня любит, я точно знаю, любит! Он на коленях стоял, хотел обручальное кольцо выкинуть. В лужу. С пальца уже снял. Только я не дала. У меня ведь... дети у меня. А ему с ней плохо, он сам говорил, плохо! Он ведь меня любил, одну меня. Правда любил. Ты веришь?

— Правда, Маргош, правда. Я верю, — сказала Татьяна и заставила себя дотронуться до Маргошиной руки. — Он одну тебя любил. Ты прости, мне бежать надо, тетка Мура ждет, у нас гости вечером.

Она вскочила, подхватила сумку и, задев стулья, бросилась вон из кафе.

— Ты ему напиши, — донеслось ей вслед. — Про меня напиши!

Тетка Мура молча слушала Татьянин рассказ.

— Как вы думаете, тетя Мур, они правда встречались? — спросила Татьяна.

— Думаю, встречались, — задумчиво ответила тетка Мура, помешивая чай и глядя в окно. — Надо же ему было кому-нибудь пожаловаться.

— А как вы думаете, тетя Мур, он ее правда любил?

— Думаю, любил, — задумчиво ответила тетка Мура. — Надо же ему было кого-нибудь любить.

Накануне отъезда чужие родственники прямо с утра начали торить народную тропу к Татьянинному чемодану. Тетка Мура открыла двери нараспашку и ушла плакать на кухню. Она была не готова к тому, что три недели Татьянинного визита пролетят так скоро. Родственники входили и по одному, и группками, протягивали конверты с письмами —

только не заклеивайте, ради бога! у нас не выпустят, у вас не впустят! — застенчиво улыбались и просили разрешения передать еще кое-что, совсем чуть-чуть, буквально граммов двести, легонькое, ну, вы же понимаете, маме к чаю израильский шоколад и коробочку аспирина для дяди Бори, ему врач прописал для разжижения крови, у дяди Бори такой застой в крови, просто ужас, не могут взять на анализ. Письма уместились в дамскую сумочку. Кое-чего набралось на девять килограммов. Тетка Мура, бормоча что-то нелестное о человеческой бестактности, полезла на антресоли за старым чемоданом, который с момента своего приезда хранила для такого случая. Пока переключивали подарочки, обнаглевшая Мулька стащила втихаря пакетик с дорожными шоколадными конфетами, которые тетка Мура купила для своей восьмидесятилетней подружки, и показала себя достойной последовательницей Арика — страшно чавкая, сожрала конфеты под кроватью. Тетка Мура всплеснула руками и потрусилась в магазин восполнять ущерб.

— Тетя Мура! Тетя Мура! — надрывалась Татьяна. — Да бросьте вы, честное слово! Да кому нужны эти конфеты! Ну, обойдутся они без конфет! Я им свои отдам!

— Ты с ума сошла! — кричала тетка Мура, перебегая дорогу перед мордой автобуса. — Люди ждут конфет! У вас же совершенно нечего есть!

— Тоже мне Белый и Рыжий, Мулька и Мурка! — бормотала Татьяна, отпихивая Мульку от чемодана и пытаясь застегнуть «молнию». В Москве она перепутала все подарочки, выпавшие из незаклеенных конвертов письма рассовала куда придется, выдержала несколько скандалов от чужих родственников по поводу не попавшего по адресу аспирина и наконец-то вздохнула с облегчением.

В Вострякове пели птицы.

— Это не кладбище, а концертный зал какой-то! — сказал Леонид.

Они с Мишей шли по аллее. Небо висело над ними высокое и выпуклое, как купол парашюта. Ветки деревьев тянулись из него, словно перепутанные веревки, удерживающие землю на весу, и казалось, что те, живущие теперь наверху, могут взяться за эти веревки и последний раз спуститься по ним домой. Или хотя бы подержаться немножко, чтобы продлить хоть на минутку связь с землей. Миша с Леонидом положили цветочки на тетке-Шурин мрамор, покрасили ограду у Мишиных родителей, смели прошлогодние листья у Изи и Капы, зашли к отцу Леонида, постояли молча, подергали сорняки. Сорняки сидели крепко. Корни старых деревьев оплели землю густой сеткой и не желали отдавать ничего, этой земле принадлежащее. Цветочную рассаду, купленную у входа, — Ляля особенно настаивала, чтобы купили рассаду и высадили цветы на всех могилах, кроме Шуриной, — так вот, рассаду пришлось отдать обратно. «Эй, милки! — крикнула им вслед бабка. — Деньги-то возьмите!» Но Леонид махнул рукой.

— Пойдем помянем? — спросил он Мишу, когда они уже подходили к метро. — Вон смотри, кафе какое-то.

Они подошли ближе. «Ласточка», — прочитал Миша неоновые буквы.

— Нет, Лен, я не пойду, не надо, меня Ляля ждет, — неуверенно сказал он и попятился.

Мысль о том, что сейчас он вместе с Леонидом будет сидеть в этом кафе, казалась невыносимой. Он бормотал что-то невразумительное и все пятился и пятился, но Леонид не слушал, упрямо тащил Мишу за рукав.

— Слушай, — сказал он, когда они уже сели. — Ну что ты уперся, ведь мы с тобой за

всю жизнь ни разу вдвоем не выпили. Вот она, семейная жизнь, — и заказал сто граммов водки.

Миша промолчал. Огляделся. В «Ласточке», кроме названия, ничего прежнего не осталось. Ни официантов, ни перегородки стеклянной, ни высоких стульев, ни коктейлей с вишенками. Стерильное бистро с пластиковыми столами и наспех поджаренными полуфабрикатами.

— Я здесь не был года два. Нет, три, — продолжал Леонид, разливая водку. — Да, точно, с осени 90-го. Ты не помнишь? — Он посмотрел на Мишу так, будто хотел узнать то, что все эти годы оставалось от него скрытым.

— Я? — удивился Миша и одним махом опрокинул в себя рюмку водки. — Помню? Что?

Он силился понять, что имеет в виду Леонид. Если... нет, конечно нет, он же ничего ему не говорил, а больше Татьяну никто не видел. Значит, тогда, три года назад, она ходила сюда часто, и Леонид обо всем знал. Значит, Леонид сам ее здесь видел. Мише вдруг стало душно, тяжело и гадко, будто вместо чистокровной «Столичной» он плотнул самопального мутного спирта, зная, что послевкусие будет мучить его всю жизнь.

— Да вы же с Танькой виделись тогда. — Леонид ничего не замечал. — Неужели не помнишь? В ноябре. Она Ваську Гордеева встретила. Сто лет не виделись, а тут столкнулись на улице. Ты хоть Ваську-то помнишь? Из пятого дома? У него еще сестра была, Нонка, я от нее в окно прыгал. Она на мне жениться хотела. Вернее, замуж выйти. Ну, Мишка, ты даешь! Ну Нонка, с зубами наружу! Ну вспомни!

Миша смотрел на него пустыми глазами. Какая Нонка? Какие зубы? О чем он?

— Они с Васькой вон там сидели, в баре, — продолжал Леонид, показывая в сторону несуществующей стеклянной перегородки, — меня ждали. Танька потом рассказывала, что позвала тебя, а ты как-то странно дернулся и ушел. Вроде испугался. Ее еще Васька курить учил. Она потом сказала: «Мишка испугался, что я курю. Он думает, я еще маленькая». А мы тогда почти всю ночь сидели. Васька на день рождения звал. Не получилось. Ты знаешь, ни черта не получается встречаться со старыми друзьями. А может, и не надо? Может, пусть в прошлом остаются? Давай лучше выпьем за наших всех. И живых, и мертвых.

В груди у Миши вдруг стало горячо, так горячо, что он задохнулся. Будто вспыхнула живущая там промокашка с черным расплзшимся пятном. Вспыхнула, свернулась в трубочку и сгорела дотла. Даже пепла не осталось. В душе у него теперь было тихо и чисто. Чисто и тихо. Только пусто очень. Как будто там никто никогда не жил.

— Подожди, — сказал он и пошел к пластиковой стойке, смешно загребая тощими ногами.

Вернулся. Сел. Раскрыл ладонь.

— Вот, — сказал глухо. — Таньке передай. Я ей должен. Так, давний спор, ты не знаешь. Все забывал Отдать, — и протянул Леониду четыре шоколадные медальки.

Арика так и не посадили. Ляля утверждала, что он очень расстраивается по этому поводу, как-никак умалется масштаб его деяний. Арик сначала комплексовал, а потом начал компенсироваться. В течение двух лет он строил дачу из красного кирпича, с финской баней и крытым бассейном. Еще на даче были камин и три этажа. Третий этаж полностью отводился под кабинет Арика.

— Он столько работает! — вздыхала Рина. — Ему необходимо уединение!

— Уединение, конечно, ему необходимо. Главным образом от Рины, — комментировала Ляля.

В дачный кабинет Арик перетащил огромный стол под зеленым сукном — такой стоял у него когда-то в советском НИИ — и страшное количество книжных полок. На полках громоздились альбомы с фотографиями, бутылки с коллекционным коньяком и виски, чугунная голова Льва Толстого и полное собрание сочинений Мариэтты Шагинян.

— Статьи о Ленине почитываешь на досуге? — спросила Ляля, когда их всех впервые пригласили на дачу.

Арик хохотал и открывал коньяк.

Рядом с большим домом стоял еще один, поменьше, о двух этажах, но тоже из красного кирпича.

— Аркашеньке, — прожужжала Рина на ухо Татьяне. — Когда женится, — и повела на экскурсию по дому.

Домик был хорошенький, как конфетная коробка, с розовым кафелем в ванной, обоями в цветочек и семейными фотографиями в серебряных рамочках, развешанными по стенам. Чтобы Аркашенька не забывал родителей. В спальне на кружевном покрывале лежали две розы — белая и алая, слева и справа.

— Она что, с ума сошла? — тихо спросила Татьяна Лялю. — Пластмассовые цветы, как на кладбище.

— Сейчас модно, — так же тихо ответила Ляля. — Как в лучших домах Филадельфии. Гнездо любви, черт возьми, — добавила она мрачно и повернулась к Рине: — А что, у Аркашеньки кто-нибудь есть?

— Боже упаси! — воскликнула Рина и даже взмахнула рукой, как испуганная курица крылом. — Боже упаси! Он еще так молод, совсем ребенок! Нежный мальчик! — и начала жаловаться, что строительство дачи материально их совершенно подкосило и что надо срочно что-то предпринимать.

— Ну, предпринимать — это как раз по части Арика. Он у нас предприимчивый, — сказал Леонид.

— И эти облигации... — бубнила Рина. — Все обесценилось. Газетная бумага и та дороже. Тетки нарочно их мне завещали, знали, что они ничего не стоят. А самое ценное она с собой увезла, в свой Израиль, я знаю.

Татьяна вспомнила обшарпанный шкаф тетки Муры, и ее передернуло.

В новенькой кованой беседке, еще не успевшей увиться виноградом и оттого казавшейся пустой и неудобной, будто поставленной на семи ветрах, Арик жарил шашлыки. Дым поднимался вверх, обволакивал коричневую лысину, лез в глаза, высекая тяжелые, дымные, жгучие слезы.

— Как раньше. — Арик утирал мокрые щеки. — Как в Мамонтовке. Да? — И глаз его наливался новой шашлычной слезой.

Через месяц от тетки Муры пришло письмо.

— А ехать вам совсем ничего! — радостно сказал человек по имени Рудик.

Совсем ничего — это две пересадки на метро, час на чужой ноге, носом в волглую плащовку чужой куртки, к концу зимы впитавшей все мыслимые и немыслимые запахи муниципального транспорта — тяжелого пота, немытого тела, невыполосканных стиральных порошков, французских духов польского производства и освежителей для

полости рта, слегка подпорченных застарелым кариесом и свежим перегаром. Потом минут пятнадцать на автобусной остановке. Ноги — в ледяной жиже, голова — на ледяном ветру. Пятая остановка ваша. Дорогу сразу не переходите, дойдите до перекрестка, буквально пятьсот метров, там осторожней под горку, мальчишки раскатывают, скользко очень. На перекрестке светофор, только плохо работает. Неправильно показывает. Дождитесь красного — да-да! именно красного! — и бегите как можно быстрее. Он переключается сразу. Вдоль забора — знаете, такой бетонный, как на стройках, только там не стройка, там кладбище, но вам туда не надо, ха-ха-ха! Я говорю, ей туда не надо! Это жена, интересуется, почему я вам смеюсь. Так вот, вдоль забора до конца и сразу во двор. Наш дом третий с противоположной стороны. Я говорю, третий с противоположной стороны! Это жена, интересуется, зачем я посылаю вас на противоположную сторону. С этой стороны она не дойдет! Я говорю, не дойдет с этой стороны! А! Вы ее не слушайте. Вы меня слушайте. С этой стороны, где вы пойдете, наш дом седьмой, но счет идет наоборот. Так что вы с этой стороны не считайте, считайте сразу с противоположной. Нет-нет, заходить с этой, а считать с той. Наш подъезд номер пять. Код 1486. Четырьмя пальцами одновременно. Если не нажмет, кричите. Что кричать? Как что? «Рудик» кричите! Ру-дик! Наши окна, правда, в другую сторону... Нет, туда не надо, там овраг. Я выйду на лестничную клетку, буду ждать, как вы мне кричите. Что? Нет, это совершенно исключено. Во-первых, у меня гайморит. Как раз сейчас обострение. И потом, ваша тетя Мура твердо обещала, что вы сами приедете. Я не могу бегать к метро с каждым письмом.

Письмо от тетки Муры свалилось как снег на голову и внушало большие опасения. Нужны были очень веские основания, чтобы вообще писать письмо, да к тому же присылать его в Москву с незнакомым и, кажется, немножко полоумным Рудиком. Письма не писали давно. Года два, если Татьяна не изменяла памяти. Письма прекратились почти сразу после ее приезда из Израиля. Вдруг обнаружилось, что можно звонить — запросто, по коду, и не так уж дорого, и не надо ждать по пять часов, когда телефонистке вздумается вас соединить. И вообще — все как у людей, в смысле — как во всем мире. Звонки тетке Муре стали ритуалом. В воскресенье вечером, когда вся семья дома, да и скидки, что немаловажно, набирался тетки-Муриной номер.

— Тетечка Мурочка! — кричала Татьяна. Разговор с теткой Мурой почему-то всегда проходил на повышенных тонах. — Вы как? Как глаза? Что сказал врач? Как Мулька? Оценилась?

— Немедленно клади трубку! — орала в ответ тетка Мура. — На сколько мы наговорили? Это же бешеные деньги!

— Ни на сколько мы не наговорили! У нас скидки по выходным, ну, вы помните.

Но тетка Мура ничего такого не помнила. Для нее жизнь давно уже раскололась на «вы» и «мы», «у вас» и «у нас». «Вы» относилось к прошлому. «Мы» — к настоящему. Последний разговор с теткой Мурой совсем вывел Татьяну из себя. Откричав положенное про телефонные счета, которые Татьяна получит буквально завтра, разумеется, забудет оплатить, а если не забудет, то не оплатит все равно, потому что нет таких денег, уж она-то, Мура, знает, будьте уверены, так вот, нет таких денег, которые можно за просто так выложить за разговоры со старой, никому не нужной бабкой, затерянной в песках Иудейской пустыни.

— Камнях, — машинально поправила Татьяна.

— Что? — осеклась тетка Мура.

— Я говорю, затерянной в камнях. В Иудейской пустыне не песок, а камни.

— Камнях, — послушно согласилась тетка Мура и продолжила экзекуцию.

Минут через пятнадцать она иссякла и начала бляеть что-то невразумительное. Невразумительное заключалось в том, что тетка Мура хотела Татьяну о чем-то попросить, а Татьяна не могла понять о чем. Наконец тетка Мура решилась.

— Позвони Рине! — сказала она сухим тоном человека, заранее готового к отказу.

— Нет! — твердо ответила Татьяна, уже понимая, о чем дальше пойдет речь.

— Позвони Рине! — еще суше сказала тетка Мура. — И зайди.

— Нет! — еще тверже ответила Татьяна.

— Занесешь ей от меня сто долларов. Ей сейчас очень тяжело.

— Ей всегда тяжело.

Отнести Рине то сто, то пятьдесят долларов тетка Мура просила уже не раз. Потом пересылала деньги со знакомыми, и Татьяна никак не могла взять в толк: почему надо сломя голову мчаться к Рине сразу после заполошного звонка тетки Муры, почему Рина сама не может дождаться какой-нибудь okazji, которые, к слову сказать, случались довольно часто. Однажды поинтересовалась у тетки Муры, та замялась, а потом пробормотала что-то в том смысле, что «Риночка бедная девочка, ей срочно нужны деньги». С обратными оказиями Татьяна передавала тетке Муре шерстяные носки и баночки красной икры. Что передавала Рина, она не знала.

Нынешняя просьба оказалась более чем некстати. Тут очередная неприятность с работой Леонида — его кафедру в институте хотели расформировать, и он пребывал в самом мрачном расположении духа, — и зима, и сапоги прохудились, и настроение, и голова болит, и сидеть Арика слушать и — все-все-все, отстаньте от меня! В постель, под одеяло, и погасите немедленно свет!

— Ты же знаешь, у них дача и все такое. Я тебе вышлю, — бормотала на том конце провода тетка Мура.

— Нет! — твердо сказала Татьяна. — Никакие сто долларов никакой Рине я не понесу. И не надо мне ничего высылать.

— Как хочешь, — сухо ответила тетка Мура. — Но имей в виду, ты меня очень обидишь. И вообще, я не понимаю, почему ты ее так не любишь?

— Не понимаете? Вы не понимаете, почему я ее не люблю? Да она вас доит всю жизнь! Вы что, не помните, как после тети-Шуриной смерти она у вас чемодан с облигациями требовала? Не помните? Как она под кровать лезла за этим чемоданом? А китайский сервиз? Китайский сервиз не помните? Как Арик его в коробку паковал и домой тащил? А ложки серебряные? А уезжали — вы с чем уезжали, тетечка Мурочка? Как мы с Лялькой уговаривали вас квартиру продать, тоже не помните? У вас бы деньги были, вы бы сейчас в своей квартире жили, а вы гвоздь в стену боитесь вбить, потому что хозяин не разрешает!

И китайский сервиз... И серебряные ложки... Было, было. И тетка Мура, живущая в своем драгоценном Израиле на выселках — в райончике, застроенном грязными пятиэтажками почище московских хрущоб, на последнем этаже, без горячей воды, с громогласным семейством о девяти отпрысках в соседях, выехавшим из Бухары и не знающим, что мокрое белье нужно развешивать на специальной вешалке за окном, а не на лестничной клетке. Когда отпрыски особенно доставали тетку Муру, и голова болела, и выносить гортанные крики, летевшие сквозь картонную перегородку, не было уже никаких сил, она уходила к подружке Фане на третий этаж, пила чай и ждала, когда отпрыски угомонятся и улягутся в постель. Фаня вздыхала, подливала тетке Муре чай и тоже ждала —

когда тетка Мура уберется на свой пятый этаж. У Фани был больной муж, и сидеть полночи с теткой Мурой на кухне ей тоже было ни к чему. «Гвозди в стену не вбивать!» — объявил тетке Муре хозяин квартиры и обещал навещать каждую неделю, проверять, все ли в порядке. В том смысле — не развела ли тетка Мура в этом оазисе комфорта тараканов и прочей живности. И навещался. Поэтому тетка Мура в свои семьдесят с большим гаком страшно трепетала и каждый вечер перемывала изнутри все кухонные шкафы.

— Ну, с этими деньгами я бы в Израиле все равно квартиру не купила, — резонно заметила тетка Мура, но Татьяна уже не могла остановиться.

— А вы знаете, что мне Арик звонил, интересовался, не можете ли вы на время их приезда в какой-нибудь дом престарелых отвалить — он так и сказал «отвалить»! — потому что Аркашеньке нужна отдельная спальня? Это они за ваш счет к вам в гости собрались, а вас — в дом престарелых! В общем, ни о каких долларах даже не заикайтесь!

— Не знаю, не знаю, — пробормотала тетка Мура. — Не знаю, что это ты так разгорячилась. Сервиз я ей сама отдала. Зачем мне сервиз? И ложки тоже. А мальчику действительно надо спать отдельно. Он уже взрослый. И...

Но Татьяна уже повесила трубку.

И вот теперь письмо. Весельчак Рудик, бетонный забор, за забором кладбище, только вам туда не надо, ха-ха-ха! Кричать не пришлось. Код нажался на удивление легко. Рудик ждал ее на лестничной клетке. Был он весь покатый, с меховой опушкой вокруг широкой лысины. Опушку хотелось потрогать, а Рудика — повалить по полу, как ваньку-встаньку.

— Нашли? — бодро спросил Рудик.

— Нашла, — вяло ответила Татьяна и хотела добавить, что, если бы не наша, ее бы тут не было, но промолчала.

— Тапочки, тапочки! — пропел Рудик и подсунул ей под нос два свалявшихся отвратительных куска войлока.

Больше всего на свете Татьяна ненавидела чужие тапки. И стаскивать в чужой прихожей сапоги, нелепо изогнувшись, отставив в сторону попу и кряхтя, и засовывать их подальше, под вешалку, в угол, и бормотать виновато, мол, извините, тут натекло немножко на ваш чудесный коврик, зима, знаете ли, но я подотру, подотру, вы не волнуйтесь, вот только тряпочку, тряпочку дайте, пожалуйста. И, подтягивая сползшие колготки, стыдливо прикрывать побежавшую петлю. А если еще дырка на большом пальце... Впрочем, дырка на большом пальце бывает как раз на чужих тапках, и терпкий грибной запах чужих ног, и стоптанные засаленные задники, и идти в этих задниках на чужую кухню, выпадая при каждом шаге и неловко цепляя согнутыми пальцами войлок, и вообще она не собиралась надевать никаких тапок, ей домой надо, у нее мама на диване перед телевизором, и муж не кормлен, и на работу завтра, и...

— А чайку! — пропел Рудик, когда Татьяна влезла в тапки и сказала все слова про лужу, натекшую на чудесный коврик, про тряпочку, про «я вытру, вы только не волнуйтесь» и прочие неудобства, причиненные гостеприимным хозяевам. — Сарочка нам сообразит, а я вам все, буквально все расскажу!

Что собирался рассказывать Рудик, Татьяна спросить не догадалась. Чай не входил в ее планы. Но Сарочка уже соображала, Рудик уже рассказывал, чай уже наливался — бледно-желтый, замученный жизнью, астенический чай, состоящий из водопроводной, почти неподкрашенной воды.

— Пейте, пейте! — пропел Рудик. — Свеженький, утром заваривали.

Больше всего на свете она ненавидела пить вечером заваренный утром свеженький чай, состоящий из водопроводной неподкрашенной воды, сидя на чужой кухне у незнакомых людей в сорока километрах от дома.

— Вам, наверное, не терпится узнать... — доверительно начал Рудик, заглядывая ей в глаза и трогая пальчиком за руку. — Вам, наверное, не терпится узнать про Левочку. Чудный мальчик, просто чудный! Будущий гений. Вы слушайте, я вам точно говорю — будущий гений! Моссад еще будет бороться заполучить его в свои ряды. Конечно, с ним были проблемы. Ну, вы понимаете, как со всеми талантливыми детьми. Не любили в школе, просто не любили, и все тут. Он так долго учил иврит, просто не мог его запомнить! А они это не приветствовали, я имею в виду в школе. Тетя Рая так переживала! Вы не поверите, ночами не спала, все думала, как забрать мальчика из школы и учить его дома. Но у них так не принято. У них там принято, чтобы все дружили в одном месте, сидя на полу. Вы знаете, у них там детей учат на полу! И Левочка тоже сидел на полу и сильно простудился, и тетя Рая оставила его дома, и пришла учительница, и сказала, что у них так тоже не принято, у них принято ходить с соплями в школу, имея в кармане рулон туалетной бумаги. Вы слышали? И Левочка взял туалетной бумаги и пошел в школу. Но сейчас уже все нормально. Он прекрасно учится, просто прекрасно! Они там все с ума сходят, как он учится. Начал говорить по-арабски. Правда, иврит так и не выучил, но это ничего. Бар-мицву ему справляли в лучшем ресторане. Правда, немножко русском, там, вы не поверите, дают свиную колбасу и бородинский хлеб. А все остальное очень вкусно, ну просто очень! И тетя Дора тоже была. Ей сделали операцию на глазах, и она буквально прозрела! В девяносто четыре года! Это какая-то фантастика! И теперь она записалась в хор, и каждый вторник ходит в матнас, и поет там свое колоратурное сопрано, У нее чудное сопрано! Просто чудное! До войны она занималась в хоре железнодорожников по адресу прописки и там исполняла несколько дуэтов на разные голоса. Но дядя Мойша не пустил ее на сцену. Он был большой самодур, наш дядя Мойша. Вы должны его помнить. Еще такой внушительный мужчина, который умер на перроне, когда они с тетей Дорой возвращались из Сочи в 1981 году по профсоюзной путевке. Он умел сделать себе со скидкой, наш дядя Мойша. Жаль, не дожил до Израиля, а то бы порадовался за тетю Дору. И тетя Дора приехала на бар-мицву к Левочке. Села на автобус и приехала. Вы видели еще где-нибудь такую тетю Дору? И Жора Зильберкранцер тоже был. Он теперь стал большим американцем, Джорджем Зильбером, и купил дом за страшно сказать какие деньги. Правда, его печени это не помогло. А Дина — вы помните Дину, дочку Жорика от первого брака с чужой женщиной из продуктового магазина, еще когда говядина стоила по рубль двадцать? — так вот, эта Дина поступила в их американский университет и теперь выходит замуж за их американского миллионера! Он точно сказал — за миллионера!

Татьяна сделала резкое движение, как будто хотела вырваться на волю, и Рудик тут же схватил ее за рукав.

— Ну хорошо, ну не волнуйтесь так, может быть, не за миллионера, но за очень богатого зубного врача. У него свой кабинет на Брайтон-Бич на троих с двумя киевлянами. Теперь Дина наконец-то вправит передние зубы. Бедная девочка! На нее же страшно смотреть!

— Простите, Рудик, — вклинилась Татьяна. — А кто такой Левочка?

— Левочка? — Рудик споткнулся на полуслове и слегка удивился. — Внук тети Раи.

— Тети Раи? — Татьяна пыталась выудить из памяти хоть какую-нибудь тетю Раю. Что-то такое там слабо трепыхалось. — Но ведь тетя Рая умерла... в 1978 году. В Москве.

— Тетя Рая жива и прекрасно себя чувствует! — сухо сказал Рудик. — Вы что, не знаете Тартаковских?

— Нет, — сказала Татьяна почему-то шепотом.

— А Зайдманов? А Файнштейнов?

— Нет. — Ей было мучительно стыдно за то, что она не знает Тартаковских, Зайдманов и Файнштейнов. — Я за письмом... от тети Муры...

— Ну, я не знаю... Если вы не знаете Тартаковских! — И Рудик развел руками, как будто на Татьяне после этого заявления можно было ставить большой жирный крест. — Имя! Фамилия! — посуровев, отрывисто бросил он командным тоном.

Татьяна назвала имя и фамилию. Рудик покопался в толстой стопке писем, выудил на свет незаклеенный тетки-Мурин конверт и сунул его Татьяне.

— Вот. Получите. Я, конечно, не почтовое отделение, но все понимаю. Послушайте совета старого бедного Рудика: посылать по почте письма — ни-ни! Вы знаете, одна знакомая Моти Фишера получила по почте письмо, так они... — Рудик выразительно закатил глаза и поднял кверху указательный палец, намекая на кого-то свыше, — так они даже не потрудились его обратно заклеить! Все, буквально все прочли и пожалели каплю клея!

«Что там было читать? — устало подумала Татьяна. — Что у тети Рахили из Реховота разыгрался ишиас?»

— Спасибо! — опять прошептала она, отодвинула нетронутый чай и поволокла тапки в прихожую.

Она выскочила из подъезда, ударом ноги захлопнула железную дверь, запахнула пальто и помчалась так, будто за ней гнались. Третий с Противоположной стороны, вдоль забора, знаете, такой бетонный, как на стройках, только там не стройка, там кладбище, но вам туда не надо, ха-ха-ха, до перекрестка, там осторожней, мальчишки раскатывают, скользко очень, буквально пятьсот метров, минут пятнадцать на автобусной остановке, ноги — в ледяной жиже, голова — на ледяном ветру, пятая остановка ваша... Татьяна бежала, отмахивая рукой, как на соревнованиях по конькобежному спорту, но забор все не появлялся.

— Где тут кладбище? — крикнула Татьяна какой-то невнятной фигуре, затормозив на полном скаку и неловко вывернув ногу. Нога поехала по ледышке, Татьяна ойкнула, вскинула руки, будто пытаясь за что-то схватиться, схватила воздух и плюхнулась со всего маху в снег. Фигура испуганно прыснула в сторону, осторожно, чуть ли не на цыпочках, обошла Татьяну и растворилась в темноте.

— Тебе, девушка, обратно надо, — услышала Татьяна сухой пергаментный голос.

Девушкой ее давно никто не называл. Она подняла голову и увидела над собой старушечье лицо. Лицо висело в воздухе, как луна в небе. Татьяна помотала головой, поморгала и, наконец, широко распахнула глаза, пытаясь увидеть ниточки, на которых держалось это чудо природы. Но ниточек не было. Татьяна зажмурилась.

— Я говорю, тебе, девушка, обратно надо, если на кладбище-то, — снова послышался пергаментный голос.

Татьяна открыла глаза. Старушонка склонилась ниже, и тусклый фонарь вдруг неожиданно ярко облил ее желтым подсолнечным светом. Черный платочек, черный цигейковый воротничок, черное драповое пальтишко, мучнисто-белое лицо с кратерами темных беззубых впадин на том месте, где у обычных людей располагаются щеки. Татьяна засмеялась. Значит, она еще не сошла с ума, замороженная Рудиком с его тетидорами и

девочками. Старушонка растерянно посмотрела на нее:

— Нога-то болит?

— Болит! — радостно сказала Татьяна.

— Так ты до кладбища не дойдешь! До кладбища-то знаешь сколько! Во-он! — Старушка махнула рукой в сторону Рудикова дома. — Туда иди, а там через овраг, по тропинке, аккуратно к кладбищу и выведет. Только тебя туда не пустят, поздно уже.

— Да мне туда не надо.

— А куда ж тебе надо?

— К метро.

— К метро? — почему-то удивилась старушка. — Так метро — вон оно.

Татьяна прищурилась. На другой стороне улицы сквозь ночную изморозь светилась красная буква «М». «Чертов Рудик! — пронеслось в голове. — Даже объяснить толком не мог, гонял по району, как зайца!»

— Спасибо, бабушка! — Татьяна попыталась встать.

Старушка нагнулась, ловко подхватила Татьяну под мышки и поставила на ноги. Кивнув старушке, Татьяна закусил губу и потащилась к метро, подволакивая ногу и проклиная на чем свет стоит и бестолкового Рудика, и пятнадцать минут в ледяной жиже, и пять остановок на автобусе, и кладбищенский забор, и «вы туда не ходите, вы сюда ходите!», и тетку Муру с ее письмами, и Рину, и всех остальных милых родственников, включая Леонида, который сидит сейчас дома, между прочим, в тепле и, разумеется, без ужина, сидит и ждет, когда она, Татьяна, вернется, поставит на огонь сковородку, нарежет хлеб, вынет тарелки и подаст ему яичницу.

«Почему так долго? — с дежурным недовольством спросит Леонид. — У меня уже все свело от голода!»

«Ты на стол накрыл?» — с дежурным равнодушием ответит Татьяна.

«Тебя ждал», — с дежурной беспомощностью пояснит Леонид.

«На стол, чтоб ты знал, накрывает не тот, кого ждут, а тот, кто ждет», — с дежурной назидательностью скажет Татьяна и пойдет накрывать на стол.

Никаких таких разговоров между ними никогда не происходило и происходить не могло. И никакого дежурного равнодушия или недовольства — вообще ничего дежурного — между ними никогда не стояло. Но сейчас, когда Татьяна брела к метро, волоча тяжелую сумку и больную ногу, когда хваталась за железные перила замерзшей рукой и безуспешно пыталась поустойчивей пристроить ногу на оплывшие ледяные ступеньки, ее измученное воображение именно так представляло возвращение домой.

В метро она плюхнулась на сиденье, вытянула ногу и закрыла глаза. Перед глазами плавали огненные круги. Мучнистое лицо в черном платочке, склонившись над Татьяной, шамкало беззубым ртом и мелко бормотало:

— Обрати тебе, девушка, обратно, туда не ходи, сюда ходи.

— На кладбище! — грозно командовал Рудик, тыкал пальцем куда-то в сторону и укоризненно качал меховой опушкой на голове, мол, что же это вы, девушка, задерживаетесь с таким важным делом. — Сарочка, сообрази!

— А свеженького! — ласково пела Сарочка и протягивала Татьяне граненый стакан с водопроводной водой. — Левочка так любит свеженького. Чудный мальчик, просто чудный!

— Езжайте к тете Доре! — на чисто русском языке строго говорил остроносый араб в пестром платке, обмотанном вокруг головы, медленно расплываясь и превращаясь в тетку

Муру. — И отдайте ей сто долларов! Пусть заплатит за хор!

Поезд резко затормозил, Татьяна подпрыгнула на сиденье, мотнула головой и проснулась. Напротив мирно похрапывал молоденький солдатик. Больше в вагоне никого не было. «Как в том автобусе!» — подумала Татьяна, вспоминая поездку на израильские территории. Покопалась в сумке, нацепила на нос очки и вытащила на свет божий тетки-Мурино письмо. Писала тетка Мура ужасно. Коряво, разбросанно, сокращая слова и делая вставки поверх написанного. Буквы в цирковом азарте карабкались друг на друга. Строчки выплескивались за границу листа. «У тетки Муры в письмах всегда весна, — подумала Татьяна. — Половодье!» И принялась разбирать тетки-Мурины каракули.

«...ты ее, конечно, помнишь, она еще к твоему приезду сварила суп из цветной капусты. Бульончик — чистая сладость! Так теперь она ухаживает за одной очень милой пожилой женщиной и делала ей стол к девяностолетию. Женщина пригласила своего племянника из Реховота, и он был в совершенном восторге от того, как она из апельсинов и ананасов сделала часы, а стрелки выложила из зеленого лука. Только эти часы никто не ел, потому что боялись испортить красоту, и теперь они стоят у этой женщины на подоконнике и прекрасно сохранились, только пожухли чуть-чуть. Стрелки, правда, пришлось заменить, а все остальное она сбрызгивает из распылителя для глажки, когда приходит мыть эту женщину. Женщина очень довольна, как она ее моет, и даже прибавила ей пять шекелей за визит. Теперь она еще читает ей газеты. Только женщина по-русски не понимает, а она на иврите читает плохо, просто из рук вон плохо читает, но женщина все равно слушает, говорит — меня ваш голос успокаивает. А она...»

Она — это, конечно, Фаня, тетки-Мурина соседка. Татьяна перевернула страницу.

«...и делали спектакль на тему правил уличного движения. Я играла зеленый свет, и руководительница сказала, что такого зеленого света у них в кружке еще не было. А Ривка из двадцать пятого дома — ты помнишь Ривку? У нее еще неприятности с невесткой. Не хочет жить с ее сыном. Ривка и так и эдак, и чуть ли не на коленях перед ней — не хочет, и все! Ривка думает, может, купить им собаку? Из-за этой невестки она пропустила все репетиции и осталась без роли. Так вот, Ривка утверждает, что драматический театр — мое призвание и что мне надо было идти на сцену».

В своем матнасе тетка Мура принимает участие во всех пенсионерских затеях. Во время визита Татьяны тетка Мура готовилась к лекции «Особенности кочевого образа жизни у народов, населяющих верхнюю излучину Евфрата во 2-м тысячелетии до нашей эры». Татьяна улыбнулась и отмахнула сразу несколько страниц. Тетка Мура всегда писала очень объемистые письма. Но тут Татьянин глаз зацепился за знакомое имя. Рина! Ну конечно, Рина! Как она не догадалась! Вся эта затея с письмом была затеяна для того — и только для того! — чтобы заставить Татьяну пожалеть бедную девочку. Даже не пожалеть, нет — убедить Татьяну в том, что Рина бедная девочка. Не сумев обработать Татьяну по телефону, тетка Мура начала эпистолярную атаку. Татьяна поморщилась и уставилась на разворошенные ученические листочки с отчеркнутыми шариковой ручкой полями.

«...когда девочке было три года, — писала тетка Мура, — умерла ее мама. Девочка была не в состоянии это осознать и не переставала ждать маму. Когда отец привел в дом красивую молодую женщину, девочка радостно признала в ней мать».

Татьяна почувствовала, как обожгло щеки. В груди вспыхнул и заболел уголек — почти физическое воплощение ее чувств. За пятьдесят лет уголек прожег в ее душе маленькую черную ямку и почти совсем перестал вспыхивать. А ямка осталась. Ямка всегда при ней. И

вот — опять. «Я знала! — подумала Татьяна. Мысли были лихорадочные, спутанные, невнятные. — Я же все знала! И им говорила! Она неродная! Она неродная дочь! Она всю жизнь неродная! Поэтому они так вокруг нее и прыгали! Чтобы она не чувствовала. Забыла. А как забыть?»

«Вскоре наступила война, отец ушел на фронт и вернулся только через четыре года. Мачеха оказалась недоброй, неумной, истеричной. Как в сказке про Золушку. Родственники мужа жалели девочку, но сама она, несмотря на постоянные попреки и окрики, очень любила свою новую маму. Через год после возвращения отца у девочки родилась сестричка — очаровательная девчушка, копия мать. Отец обожает норовистую жену и души не чает в маленькой дочке, которая с каждым месяцем становится все пленительней. Живут они тесно, в одной комнате, и большая девочка всем мешает. Мешает отцу любить жену. Мешает мачехе, которая начинает ненавидеть падчерицу. Видя, каким обожанием окружена младшая сестричка, девочка понимает, что она лишняя в семье. Мачеха изошренно издевается над ней, унижает. Девочка вырастает из школьной формы, отец покупает новую, но мачеха не разрешает ее носить, и девочка ходит в школу в куцем платьишке с продранными локтями. Живя летом на даче, мачеха посылает девочку в Москву, с огромным тюком белья для прачечной. Обрато она тащит тяжелые сумки с продуктами. Девочке тринадцать лет. Она худенькая, бледненькая, слабая. Ей нельзя таскать тяжести. Иногда с ней случаются обмороки. Но мачеха не желает этого замечать. Две одинокие бездетные тетки, сестры отца, ты уже поняла, что это мы с Шурой, пытаются оградить бедняжку от домашнего террора. Вызывают к себе отца, отчитывают, ненавидят невестку.

Ты знаешь, Изя был добрым человеком, но совсем не волевым и слишком любил жену. Жизни у него не было: дома жена жаловалась на дочь, а дочь на жену, у сестер приходилось выдерживать скандалы в защиту девочки. Сама девочка рассказывала теткам, что о них говорит мачеха, а мачехе — что о ней и отце говорят тетки. Она не давала затихнуть семейной вражде, получая от нее тайное мстительное удовлетворение. Характер формировался двуличный, лживый. «Нехорошая девочка», — говорила о ней по-еврейски одна из стареньких родственниц.

Когда девочке было пятнадцать, случилось несчастье. Заболела полиомиелитом маленькая сестричка. Через несколько дней ее не стало. Девочка переживает, плачет — несмотря ни на что, она очень любила сестричку — и в то же время начинает надеяться, что теперь сможет заменить мачехе родную дочь. Но мачеха, чуть не лишившаяся рассудка, вдруг начинает обвинять девочку в смерти сестры. Сначала она совершенно теряется: в чем же она виновата? Но потом понимает, что мачеха обвиняет ее в том, что умерла сестра, а не она.

Девочка стала девушкой. У нее были синие глаза, пышные каштановые волосы и нежный цвет лица. Но плечи она держала опущенными, голову наклоняла набок и, даже улыбаясь, смотрела исподлобья, как будто ожидая окрика. Ей хотелось одеваться, как одеваются другие девушки, и тетки на деньги отца втайне от мачехи шили ей наряды в ателье. Наряды висели в шкафу у теток, и, приходя к ним, девушка снимала старенькое платье и надевала новое.

Наконец ее выдали замуж за разбитного паренька из бедной многодетной семьи. Она была влюблена. Он женился «на деньгах» — тесть был директором магазина. Ее жизнь в замужестве, так же как и в родной семье, протекала без любви. Муж гусарил, ходил по бабам, выпивал, старался выглядеть суперменом. Она ждала своего плейбоя долгими

вечерами и ночами, но, как ни странно, гордилась тем, какой он у нее — настоящий мужчина. В своих модных туалетах она выглядела жалкой, в компании тихим невыразительным голосом хвасталась тряпками и даже тем, что муж вчера пришел поддатым. Денег не хватало для того, чтобы обеспечить тот образ жизни, который, как она считала, должен вести ее муж, а тут еще он захотел машину. Ну как без машины такому мужчине! Она клячила деньги у отца, а когда тот отказался их дать, стала его шантажировать, грозя «сообщить куда следует о его магазинных делах». Отец деньги дал, но окончательно от нее отдалился.

Ей никак не удавалось выносить ребенка — сказывались тюки и сумки, которые мачеха заставляла таскать в переходном возрасте. Выкидыши следовали один за другим. Она боялась потерять мужа, который страстно хотел сына. Выкидыши истощили ее. Началась депрессия. Она не могла работать, пришлось уволиться. Целыми днями сидела дома одна. С мужем почти не разговаривала. Последний раз она выкинула близнецов. Муж горевал, много пил, но даже этим умудрялся хвастать: «Вы подумайте, двух парней выбросила!»

Вскоре после этого, в очередной раз прождав мужа до полуночи, она вышла на кухню, притворила за собой дверь, открыла газовые горелки, села к столу и закрыла глаза. Она устала от нелюбви...»

Татьяна вскочила, как будто какая-то страшная сила сбросила ее с сиденья. Рванула пуговицу на пальто — было душно, казалось, что в рот ей засунули меховой воротник. «А мы! А мы!» — билось в голове. Что «мы»? Как «мы» к ней относились? Что «мы» о ней думали? Как «мы» о ней говорили? Что «мы» ничего не хотели замечать? «Она устала от нелюбви...» Как «мы» ее не любили? Татьяна скомкала письмо. Солдатик проснулся и удивленно взглянул на нее.

— Извините, — зачем-то сказала она и села на место.

«Мы виноваты», — обреченно думала она. Но в чем? Этого она не знала.

— Ты что? — спросил Леонид, забирая у нее сумку и вглядываясь в лицо. — Что-то случилось?

Она вяло помотала головой:

— Устала очень. Дашь чаю?

— А что тетка Мура? Письмо прочла?

Она вяло кивнула:

— Ничего. Играла в любительском спектакле о правилах уличного движения.

— Кого? Постового?

— Зеленый свет. Пишет, что у нее драматический талант. Так что с чаем?

— С чаем все в порядке. Сейчас будет. Она прислала письмо, чтобы это сообщить?

— Почти.

Ей почему-то было неприятно говорить с ним об этом письме. Неприятно. Невозможно. Невыносимо. Ей было стыдно рассказывать ему эту историю, в которой она отчего-то чувствовала себя виноватой. Опять же — в чем?

«Мы виноваты, — думала она, лежа в постели. — Мы виноваты. Мы виноваты в том, что она жила рядом и была несчастной. Мы виноваты в том, что не хотели ничего замечать. Мы виноваты».

— Эй, — сказал Леонид и пошебаршил рукой под одеялом. — Ты чего не спишь?

— Лень, у нас есть сто долларов?

— Не-а.

Назавтра она позвонила Ляле. Назначила встречу у памятника Пушкину.

— Что-то ты темнишь, девка, — сказала Ляля. — Давненько мы с тобой вот так вдвоем не встречались. Точно все в порядке?

— В порядке, в порядке.

На встречу с Лялей она пришла на полчаса раньше. Ждала с нетерпением, переминаясь с ноги на ногу и поминутно глядя на часы.

— Танька! — услышала резкий окрик.

Навстречу ей от подземного перехода, смешно перебирая коротенькими ножками в тупоносых сапожках, бежала старушка в старомодном драповом пальто. Старушка махала ей рукой. Седые кудряшки, выбившиеся из-под вязаного беретика, прыгали на лбу. Старушка споткнулась, чуть не упала и, нелепо взмахнув рукой, схватилась за какого-то высокого парня.

— Держитесь, бабушка, — сказал парень и поддержал старушку под локоть.

«Нет! Ляля не старушка! Нет!» — отчаянно подумала Татьяна и поняла, что именно старушка и именно Ляля. Они взялись за руки и пошли вниз по Тверскому бульвару — как некогда, накануне Татьяниной свадьбы, шли от Кары, сгнувшейся где-то за углом 70-х, и мечтали о золотом платье с серебряной лентой и хвостом. Нашли какое-то захудалое кафе, уселись за столик.

— Вот, смотри. — И Татьяна подвинула Ляле письмо.

Ляля читала внимательно, водя толстеньким пальчиком по строкам, шевелила губами, иногда фыркала, иногда качала головой — мол, ну и ну! — иногда тихонько смеялась. Наконец аккуратно сложила письмо и засунула в конверт.

— Тетка Мура — чудо! — сказала Ляля и закурила. — Ну что, кофе?

— Лялька! — Татьяна глядела на нее с каким-то священным ужасом. — Ты, наверное, не поняла. Там про Рину...

— А! — Ляля отмахнулась от Татьяны и просыпала пепел на скатерть. — Да она все выдумала!

— Выдумала? — Татьяне казалось, что Ляля чем-то тяжелым стукнула ее по голове.

— Ну да. Это же мыльная опера какая-то! Рабыня Изаура! А слог! Слог! Злая мачеха! Бедная падчерица! Пленительный ребенок! Шантаж! Смерть! Чуть не лишилась рассудка! Она устала от нелюбви! Ждала мужа долгими вечерами! Ужас! Кстати, машину они купили, когда Изя уже умер.

— А... как же сестра? Ее что, не было?

— Ну, разумеется, не было. И близнецов не было. И злой мачехи тоже. Не берусь утверждать, что Капа ее сильно любила, но и она не очень-то Капу жаловала.

— Нет, она ее любила, — сказала Татьяна, вспоминая, как Рина переживала Капицу смерть. — А... самоубийство?

— Господи, ну какое самоубийство! Что ты несешь! Подумаешь, не могла родить пару лет, зато потом замечательно родила Аркашеньку. Кстати, ты заметила, Арик при всем своем суперменстве с рук у нее, клюет. Он же не дурак, прекрасно понимает, кто вожак стаи. Что он без Рины-то?

Татьяна сидела, оглушенная.

— Так не бывает, — сказала она наконец. — Это все правда. Такое нельзя придумать.

— Не хочешь — не верь.

Они молча пили кофе.

— Тань. — Ляля подалась вперед и заглянула в Татьянино лицо, как будто умоляя о чем-то очень важном. — Ты что, решила, будто в чем-то лично виновата?

Татьяна кивнула.

— Тань, я тебе клянусь, это все сказка. Ну хочешь, у мамы спросим, пока она еще что-то помнит?

Татьяна покачала головой:

— Это не важно. Ты понимаешь, Лялька... не важно, правда это или нет. Важно, что мы знали, что она несчастная. Знали — и смеялись над ней. А тетка Мура просто первый раз сказала все своими словами.

Они помолчали.

— Ляль, у тебя есть сто долларов?

— Есть, — сказала Ляля. — Как раз собиралась менять.

— Не меняй. Дай мне. Я Рине отвезу. А лучше — давай вместе отвезем, а?

И они повезли.

«Все правильно, — думала Татьяна, пока они медленно брели к метро. — Все правильно. Правда — неправда, какая разница! Ведь у нас совсем никого не осталось. Только Рина и Арик. А больше — никого».

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Рассказы

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Рассказы



КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

А солнечные зайцы все прыгали и прыгали. Один забрался ей в нос и долго там возился, устраиваясь поудобнее. Она чихнула, тряхнула головой, и солнечный заяц переместился на щеку. Крыша соседнего дома горела так, будто на нее вылили подсолнечное масло и поставили на открытый огонь. Она высунулась из окна и попыталась вдохнуть раскаленный воздух. Двор со всеми своими песочницами, скамеечками, чахлыми кустиками и красным жестяным грибом, утыканным белыми горошинами, валялся внизу как детский рисунок, выброшенный с верхнего этажа. Мир вдруг крутанулся, встал на дыбы и развалился на части. «Калейдоскоп», — подумала Она. Такой калейдоскоп в виде картонной подзорной трубы Она недавно купила Ваське-маленькому. Тот целыми днями вертел его в руках и пялился на цветные осколки, думая, что в конце концов досмотрится до какой-нибудь осмысленной картинки. Она-то считала эту игрушку совершенно бессмысленной. Никакой внятной картинки калейдоскоп показывать не собирался. В общем, сплошной обман, как ни крути. Но Васька-маленький очень ныл, и Васька-большой тоже смотрел жалобными детскими глазами.

— Если родится сын, назовем Васькой, — сказал Он в их первый медовый месяц. Первый, потому что медовых месяцев у них потом было много.

— А если дочь? — спросила Она.

— Дочь тоже Васькой, — подумав, ответил Он.

Она вцепилась в подоконник. Пальцы как будто заоченели и никак не хотели разжиматься, по спине пробежала струйка холодного пота, к горлу подкатила тошнота. Внизу бабуля Федотова выкрикала внука. Бабуля Федотова — это было что-то определенное и осязаемое. Постоянная величина. Безусловный признак стабильности. Ничего не изменилось. Бабуля Федотова выкрикает внука. Утром бабуля Федотова встретила ее у лифта.

— Ой, — сказала бабуля. — А вы уже из магазина? А ваши спят еще? И когда вы только успеваете?

Она засмеялась и кивнула. Она действительно бежала из магазина. И первая вставала. И никогда не опаздывала. И все успевала. И сейчас Она поднимется наверх, откроет рассохшуюся деревянную дверь в рыбьей чешуе облупившейся краски, на цыпочках проберется в кухню, поставит в холодильник бутылку можайского молока и посидит минут пять, покурит. Потом бухнет на огонь огромный чайник и пойдет будить «своих». «Вставайте, — скажет Она им. — Вставайте, лентяи!» — и потреплет по волосам — сначала одного, потом другого.

Она бухнула на огонь огромный чайник и пошла будить «своих».

— Вставайте! — громко сказала Она. — Вставайте, лентяи.

И потрепала Ваську-маленького по волосам. Васька вскочил с диким индейским криком, будто и не спал вовсе, выпрыгнул из кровати и помчался в ванную, свалив по дороге стул. Она вошла в спальню и села на край широкого дивана. Муж лежал поперек дивана, укрывшись с головой простыней.

— Эй, — сказала Она. — Вставать сегодня будем?

Он замычал, привычным натренированным движением схватил ее руку и прижал к губам.

— Будем, будем, — пробормотал Он.

Он всегда так бормотал. И мычал. И прижимал ее руку к губам. И спал поперек дивана, натянув на голову простыню. Каждое утро, садясь на край постели, Она знала, как Он будет бормотать, и мычать, и хватать ее руку. Она все о нем знала. Еще с той первой сухумской ночи, которую они провели на чужом дворе под инжиром. Инжир падал им на головы, они смеялись, пытались укрыться под толстыми махровыми пляжными полотенцами, а утром собирали огромные треснувшие инжирины и запихивали друг другу в рот. Инжирины были приторно сладкими и очень кожаными.

— Это наш первый супружеский завтрак! — важно сказала Она и надкусила инжирину. — Как ты думаешь, мы теперь совсем взрослые? — Инжирина крякнула, лопнула и потекла по подбородку липким соком.

В том сухумском дворе они провели свой первый медовый месяц. У чудных грузинских стариков была снята комнатуха по рублю за ночь. В комнатухе стояли раскладушка и один стул. Раскладушка им досталась костистая, а комнатуха душная, и смысла в ней не было никакого. Они вытаскивали одеяла на улицу и спали прямо под своим инжиром. Водопровода в доме не было. Канализации тоже. Зато море шумело в двух шагах. Они шли к нему садом, заросшим какими-то странными огромными дикими анилиновыми цветами. Она этих цветов боялась и не разрешала рвать. По вечерам ночь рассыпала в саду светлячков. Они шли к морю по светлячкам, плавали по лунной дорожке и по светлячкам возвращались обратно. Однажды Он посадил ей светлячка в волосы.

— Это тебе подарок, — сказал Он. — Ко дню рождения сына. Обычно дарят кольца, а я светлячка.

— Какого сына? — засмеялась Она.

— Ну будет же у нас когда-нибудь сын. Назовем его Васькой, ладно?

— А если дочь?

— Дочь тоже Васькой, — подумав, ответил Он.

С Васькой Она познакомилась самым комичным образом. Шла по Аничкову мосту, пищала себе под нос старую песенку: «Ленинград, Ленинград, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Летний сад, Летний сад, ля-ля-ля, ля-ля-ля». И вдруг полетела со стертых скользких ступенек. В этом полете Васька ее и подхватил. Она увидела круглые голубые глаза, круглую розовую физиономию и круглую голову с пухом цыплячьих волос.

— Больно? — спросила физиономия и, потащила ее во двор Аничкова дворца. — Я сейчас, сейчас. На скамеечку. Я тут знаю, я тут в шахматы играл, во Дворце пионеров. Вот так, остороженько, — бормотала физиономия.

Потом физиономия куда-то делась и появилась снова минут через пять с охапкой бинтов. Оказалось, бегала на ту сторону Невского в аптеку. Нога была упакована в бинты. Физиономия топталась рядом.

— Давайте я вас домой отведу, — сказала физиономия и протянула круглую мягкую руку. — Василий, — и солидно откашлялась.

На следующий день они отправились на прогулку в Летний сад.

— Вы не бойтесь, мы ходить не будем, мы на скамеечке посидим, — заверил ее бдительный Василий. — Я вас с другом своим познакомлю.

Когда друг поднялся ей навстречу, Она вздрогнула и попятилась. Потом задрала голову и поглядела в небо. Друг маячил где-то на уровне верхушек деревьев. Василий суетился сбоку, пытался их познакомить, совал круглую мягкую ладонь то одному, то другому.

— Васька, — сказал друг глубоким басом. — Ты не в фокусе.

И Васька пропал.

На свадьбе Васька выступал в качестве свидетеля.

— Ты как думаешь, Васька с твоей или с моей стороны должен быть? — спросил ее друг, теперь уже будущий муж.

— Пусть будет с твоей, — разрешила Она. — Он тебя лучше знает.

— А к тебе лучше относится, — сказал будущий муж.

Они помолчали, как по команде уставились друг на друга, как по команде открыли рот.

— Тогда с обеих! — сказали хором и расхохотались.

...Она отняла руку от его губ, сдернула простыню и шлепнула его по спине.

— Давай уже, подымайся! — и пошла на кухню.

— Охо-хо-нюшки-хо-хо! Концлагерь на дому! Никакой жалости к мыслящей единице! — бормотал Он, плетясь сзади. Доплелся до ванны, распахнул дверь. В ванной на табуретке спал Васька-маленький.

Она рассеянно разливала чай. Из ванной доносились крики, визги, стоны, плеск воды и даже один весьма ощутимый шлепок. «Господи, что у них там происходит?» — подумала Она и уже двинулась в их сторону, но тут они сами выкатились ей навстречу в мокрых трусах и со следами зубной пасты на физиономиях. Она стояла в дверях кухни и, улыбаясь, смотрела на них.

— Ты чего, мам? — спросил Васька-маленький. — Чего смеешься?

— Ничего я не смеюсь. Давайте пейте свои чай-кофеи, натягивайте штаны и выметайтесь. У меня, между прочим, сегодня выходной, если кто не в курсе. Я, между прочим, от вас отдохнуть хочу. Все понятно?

— Все понятно! Есть выметаться! — Они взяли под козырек, выдули по чашке чаю и вымелись. А Она пошла застилать кровати.

В комнате Васьки-маленького был чудовищный кавардак. Она вытащила из постели рванный носок, два засохших комка жвачки, гаечный ключ, хоккейную шайбу, безухого плюшевого зайца и раздавленный «киндер-сюрприз». Потом подобрала с пола грязные штаны, смахнула с письменного стола футбольный мяч и вытащила на свет божий учебник русского языка, засунутый за батарею. «Марь Ивана — кошка драна!» — было написано поперек обложки с широким красным фломастерным размахом. Она бросила учебник на стол и наткнулась взглядом на камень. Камень был удивительный. Море прорыло в нем множество ходов, лазеек и норок, спрятало в них ракушки и мелкие камушки, превратив серый кулак булыжника в пригоршню, полную сюрпризов. Ракушки высывались на свет круглыми ребристыми любопытными боками, но ни одна из них за пятнадцать лет не выпала из своего гнезда. Она взяла камень в руки, потрясла его, и он отозвался легким шелестящим звуком. Ей всегда казалось, что там, внутри, ракушки разговаривают друг с другом. Они нашли его ночью на берегу моря в свой первый медовый месяц.

В их сухумском домике никогда ничего не менялось. Так они его и называли — «наш сухумский домик». Сколько лет они туда ездили? Пять? Шесть? Нет, точно пять. Все сто пятьдесят отпускных дней, проведенных в «нашем сухумском домике», слились в один жаркий день. И инжир был все тот же, и гладкоструганый стол под ним, и одеяла на дворе, и раскладушка, и светлячки, и странные цветы, и компания. Моисей Семеныч с супругой Клавой. Моисей Семеныч был жилистый кривоногий и кривоносый еврей темно-

коричневого цвета, а Клава — дебелая русская красавица, эдакая бело-розовая пастила. Когда Клава сидела на пляже под китайским зонтиком в своем ярком, цветастом купальнике, темпераментные сухумские мужчины в черных костюмах, застегнутых на все пуговицы, крахмальных белых рубашках и галстуках толпились вокруг и цокали языками. Они специально приходили на пляж посмотреть на Клаву и поцокать языками. Моисей Семеныч нервничал, суетился, отгонял их, как птиц, мелкими взмахами рук — кыш! кыш! поди! поди! — и пытался укрыть Клаву полотенцем. Клава полотенце скидывала. Мужчины цокали. Моисей Семеныч хмуро собирал сумки и уводил Клаву домой. Клава плыла по саду под китайским зонтиком, и казалось, что это плывет по воздуху огромный дикий анилиновый цветок, случайно спорхнувший со своего могучего стебля.

— Нет, вы мне скажите, — горячился Моисей Семеныч, сидя вечером под инжиром со стаканчиком красного вина. — Что за манера такая — таскаться на пляж в пиджаках? Им что, не жарко? Нет, вы скажите, не жарко?

— А вы хотите, чтобы они голыми таскались? — лениво спрашивал кто-то из-за стола.

Мулечка вскакивала, хваталась за щеки и убегала в дом. Юлечка бежала за ней. Юлечка была девушка пятидесяти пяти лет. Она курила крепкие мужские папиросы, говорила басом и ухаживала за Мулечкой. Мулечка тоже была девушка, только пятидесяти трех лет, нежное создание. Когда-то, лет тридцать назад, она пережила на этом берегу, усеянном острыми камнями, любовь. Любовь быстро испарилась — то ли уехала, то ли переключилась на более интересный объект, — но Мулечка поранилась навсегда и с тех пор каждый год предавалась сладостным воспоминаниям, бродя по скалистым берегам среди репейника и козьего навоза. Юлечка с Мулечкой носили длинные мешковатые платья, делающие их похожими на монашек, и круглые пионерские панамки, глубоко нахлобученные на седоватые стрижечки. За глаза их называли «опенками». Моисей Семеныч в приватной беседе как-то поведал, что Юлечка с Мулечкой сразу после получения аттестата зрелости прошли процедуру мумификации, и если кому-нибудь удастся подойти к ним поближе и отколупнуть от открытой части тела кусочек сухой копченой древесинки, то кусочек этот можно будет сдать в музей за большие деньги как свидетельство исторического открытия. Петр Спиридонович, профессор Московского университета, заслуженный, между прочим, биолог и доктор наук, хмыкал, улыбался в усы, покачивал белоснежной головой и опрокидывал в себя полстакана красного вина. Его жена Верунька распахивала голубенькие глазенки и ахала. Верунька была наивная, верила всему, что ей говорили, мужа своего звала «дедулечкой» и была младше его на... Впрочем, это не важно. А девушка с винным именем Изабелла... Нет, девушки с винным именем Изабелла тогда еще не было. Она появилась потом, в их последний, кажется, год. Да, точно в последний.

— Ты вот что, милая, — втолковывал Веруньке Моисей Семеныч. — Ты этому Склифосовскому на глаза лучше не попадайся, — и показывал глазами на хибарку, где квартировал одинокий и интересный, по мнению Клавы и Веруньки, хирург из Питера. Хирург приезжал в «наш сухумский домик» с определенными целями, которых сильно опасались Моисей Семеныч и Петр Спиридонович. С садовой общественностью на связь не выходил и проводил вечера в прибрежных ресторанчиках. Верунька слушала Моисей Семеныча, распахивала голубенькие глазенки и ахала. Потом задумывалась и спрашивала робко:

— А почему?

— Потому что, милая, у таких, как он, с собой всегда неплохая музычка, хороший

коньяк и отличная пальпация.

Верунька ничего не понимала, но кивала. Хирург взялся за нее голыми руками в первый же вечер.

— Вас ведь, кажется, Верой зовут? — задумчиво спросил он.

— Д-да, — пролепетала Верунька.

— Любите ли вы джаз, Вера? — спросил хирург.

— Н-не знаю. Н-наверное, — пролепетала Верунька.

— Я мог бы вам поставить чудные записи. У меня с собой неплохая музыка, хороший коньяк...

— И отличная пальпация? — выпалила Верунька, распахивая голубенькие глазенки.

Хирург залился каким-то невероятным химически-лиловым цветом, как будто окунулся в ведро с масляной краской, резко развернулся и ушел в свою хибарку.

...Она засмеялась, вспоминая все эти курортные глупости, разнеженно поцеловала камень и положила его на Васькин стол. Когда Васька-маленький еще жил в коляске, камень работал погремушкой. Получалось, что Васька вырос под ракушкины сказки. С Васькой у них долго не выходило.

— Если родится сын, назовем Васькой, — сказал Он.

— А если дочь? — спросила Она.

— Дочь тоже Васькой, — подумав, ответил Он.

Но никакого Васьки пять лет не было. А на шестой появился. Они, когда ехали в «наш сухумский домик», уже знали, что теперь их не двое, а трое. Еще знали, что едут сюда последний раз. То есть, может быть, и не последний. Даже наверняка не последний. Но под инжиром им долго не сидеть. И красного вина не пить. И не ловить светлячков среди странных диковинных цветов. И не таскать по вечерам одеяла во двор. И не бегать на пляж за вареной кукурузой, которую орденосец и дед пятнадцати внуков Вахтанг Илларионович Габуня каждый день ровно в двенадцать часов выносит в корзинке из дома и, щедро посыпав солью, раздает страждущим курортникам просто так, бесплатно. И мамалыгу не есть. И не бегать по вечерам на танцы в соседний студенческий лагерь. Однажды ночью они брели с танцев по шоссе домой и вдруг застыли, задрав головы и глядя в сухумское небо, похожее на круто сваренный черный турецкий кофе.

— Смотри, — сказал Он. — НЛО.

По небу медленно и как-то очень важно летел крупный светлячок. Даже не светлячок — светляк величиной с хороший мужской кулак. Светляк пересек линию пляжа, чуть-чуть повисел на верхушке кипариса, поглазел на их макушки и не спеша удалился в горы.

— Да брось ты, — сказала Она. — Какой НЛО! Обычный спутник.

А через день в какой-то центральной газете появилась заметка: «Такого-то числа жители и отдыхающие Черноморского побережья могли наблюдать...»

— Это мы могли наблюдать! — гордо сказал Он. — И — главное — видели!

А на танцы они в последний год и так не ходили.

Всю беременность ей было стыдно. Стыдно синих кругов под глазами, взмокшего бледного лба, задравшейся на животе юбки. Стыдно, что нету сил утром встать и сварить кофе, а вечером встать и поставить чайник. Стыдно распухших ног, не влезающих ни в одни приличные туфли. Стыдно каждые полчаса бегать в туалет и там сидеть на низкой пластмассовой табуретке, склонившись над унитазом, потому что стоять уже нет никакой

мочи. Васька-большой приходил каждый день, вынимал ее из кровати и прогуливал под дождем. В ту осень дожди шли каждый день, а может, ей так казалось. Во всяком случае, Она не помнила ни одного погожего дня. Так вот, Васька-большой приходил, вынимал ее из кровати и вел под дождь.

— Да брось ты, — вяло отмахивалась Она, когда он впихивал ее в плащ. — Да брось ты, Васька, ей-богу! Занимался бы лучше своими делами.

— Нет у меня своих дел, — невозмутимо отвечал Васька. — Только ваши остались.

Своих дел у него действительно не было. Писалась какая-то невразумительная диссертация. Название Васька держал в секрете, но ей почему-то казалось, что, может, он и не помнит его, названия-то? Диссертация была ему нужна, чтобы волыннить время. Время от времени он появлялся на работе, перекидывал на столе пару карандашей, останавливался посреди комнаты, стоял, заложив руки за спину и покачиваясь на носках, задумчиво глядел в потолок. Потом как бы между прочим, как бы невзначай говорил в пустоту:

— Так я, пожалуй, в библиотеку... Н-да.

И уходил. И впихивал ее в старое бабушкино вытертое пальто, и вел под дождь. По вечерам они втроем сидели за чаем. Вернее, двое сидели, а одна лежала. Лежа Она видела из-за валика своего дивана две головы и каждый раз поражалась, какие они разные. Одна — круглая, с цыплячьим пухом волос, на узких клетчатых плечиках — все время была в движении. Вертелась, клонилась то к одному, то к другому плечу, вытягивалась на тонкой шейке, встряхивала пухом. Вторая — с густыми темными жесткими волосами — с какой-то упрямой монументальностью возвышалась над высокой спинкой вольтеровского кресла, придвинутого к столу. Иногда головы вступали в пререкания.

— Чур, не жухать! — кричала цыплячья, чуть подвизгивая.

— Сам ты жухаешь! — невозмутимо отвечала темноволосая, спускаясь в басы.

«Дети малые!» — думала Она, улыбаясь, и закрывала глаза. У этих двоих всегда была в запасе какая-нибудь недоигранная шахматная партия, которая тянулась годами. Совершенно никому, кстати говоря, не нужная партия. Но, доиграв ее, они смешивали фигуры и зачем-то начинали все заново. Ей казалось, что они всю жизнь разыгрывают один и тот же гамбит — просто не знают других ходов, не умеют иначе переставлять фигуры. Еще ей казалось, что шахматы им нужны, чтобы обмениваться мыслями. Она подозревала их в телепатии. Потом, когда начался преферанс, телепатию отменили за ненужность. В картах они самовыражались вполне откровенно. А тут лишь — «Чур, не жухать!» — «Сам ты жухаешь!». И все. «Где там можно жухать, в шахматах?» — лениво думала Она. Как-то спросила, оказалось, они подозревают друг друга в воровстве фигур. Водился за ними такой грешок — любили стибрить исподтишка королеву или какого-нибудь слона и улыбаться эдак независимо, дескать, вас тут не стояло!

В тот последний год в «нашем сухумском домике», когда их было уже не двое, а трое, Он и Моисей Семеныча подбил на шахматные безумства — по гривеннику за партию. Моисей Семеныч почесал шоколадную лысину и согласился. Кончилось скандалом. Через десять минут Моисей Семеныч уже орал на весь двор, что «приличные люди так не поступают, или отдавайте пешку, или я возьму свои меры!». Какие такие меры собирался брать Моисей Семеныч и — главное! — где, осталось тайной. А шахматы на этом закончились. Она тогда уже плохо себя чувствовала. Вернее, вообще никак себя не чувствовала. Лежала целыми днями на раскладушке и пыталась дышать в открытое окно. Дышать не получалось. Воздух вливался в легкие как расплавленный свинец — тяжелый,

вязкий, горячий. По вечерам Он вытаскивал ее вместе с раскладушкой во двор, под инжир. Она судорожно сворачивалась калачиком, подтягивая к подбородку простыню, — только бы никто ее не видел! А ведь раньше проводили под этим инжиром целые ночи — и было хорошо. Но тем летом ей уже все было стыдно. Она поднималась и брела обратно, в дом. Он нес за ней раскладушку. Шел обратно. Под инжиром смеялись, и этот смех был ей почему-то неприятен. Однажды, когда небо вызвездило и воздух неожиданно полегчал, Она вышла из своего заточения, запрокинула голову и вздохнула полной грудью. Он сидел на лавочке за столом, спиной к ней, и курил. Она подошла, положила ладони ему на глаза и чмокнула в макушку. Он замычал, привычным движением взял ее руки и прижал к губам. Не отнимая рук, Она обошла лавочку и присела перед ним на корточки.

— Эй! — сказала Она. — Давай открывай глаза. Это я, твоя жена.

Он медленно открыл глаза и с трудом сфокусировался на ее лице.

— Ты? — удивленно спросил Он.

— Ага. Не узнал?

— Не узнал. Ты чего встала?

— За тобой. Пошли?

— Ну пошли.

В кустах что-то затрещало, мелькнула белая тень. Он вздрогнул.

— Что там?

— Там? Не знаю. Наверное, винная девушка Изабелла пробирается к Склифосовскому.

— А что, девушка Изабелла навещает по ночам к Склифосовскому?

— Говорят. Спроси Моисей Семеныча, он тебе в подробностях расскажет.

— Моисей Семеныча не могу. У нас с ним идеологические расхождения.

— Идеологические расхождения на гривенник, — засмеялась Она.

Кусты разошлись, и винная девушка выскочила прямо на них. Выскочила, постояла, посмотрела и нырнула обратно. А они пошли спать.

С тех пор они ни разу никого не видели — ни Моисей Семеныча с Клавой, ни Мулечку, ни Юлечку, ни Склифосовского, ни Веруньку с седовласым Петром Спиридоновичем, ни винную Изабеллу. Впрочем, нет, с Моисей Семенычем и Клавой столкнулись как-то на Невском, у «Севера». Они шли за пирожными, а Моисей Семеныч и Клава — с пирожными. Поохали, поахали, порасспросили друг друга за жите-бытье, договорились встречаться, дружить домами и разошлись навсегда. Еще она как-то налетела на Изабеллу. В метро, на переходе, в толпе вдруг мелькнула знакомая фигура, выскочила прямо на нее, как тогда из кустов. Ноги длиннющие. Какая-то немислимая куртка с косо обрезанным подолом. Маленькая головка на прямо поставленной высокой шейке.

— Изабелла! — крикнула она. Неожиданно крикнула. Что ей Изабелла? Что она Изабелле? Пара встреч на излете сухумской эпопеи. Моисей Семеныч с Клавой, Мулечка с Юлечкой — эти все-таки родные, а Изабелла — кто она им? Нет, не хотела она ее окликать, а вот — окликнула. Зачем? — Изабелла, — повторила она. — Вы меня не узнаете?

— Нет, — медленно ответила Изабелла. — Не узнаю.

— Ну как же... Сухуми, инжир, пять лет назад... Неужели не помните? — засуетилась она. Зачем засуетилась?

— Нет, — еще медленней ответила Изабелла. — Не помню.

Повернулась маленькая головка на высокой шейке. Глухой ворот. Тоненькая цепочка. На цепочке — виноградная гроздь. В ложбинке между ключиц. Серебро, крошечные топазы.

Стекляшки, наверное. Винная девушка.

— Извините, — пробормотала она. — Извините. Я, наверное, ошиблась.

— Наверное, — равнодушно ответила Изабелла и нырнула в толпу.

От этой встречи осталось какое-то странное мятое чувство. Она была уверена, что Изабелла ее узнала. Узнала и не захотела узнавать. Почему? Решила не разводить досужих разговоров, пустых, неинтересных воспоминаний? Ну и хорошо. Ей самой не очень-то хотелось говорить с Изабеллой. И зачем окликала?

— Ты знаешь, — сказала она вечером, когда они втроем сидели за чаем. Он, Она и четырехлетний Васька-маленький. — Я встретила старую знакомую.

— Кого? — спросил Он, перелистывая газету.

— Изабеллу. Помнишь, из Сухуми?

— Изабеллу? — Он сложил газету и повернулся к ней: — Помню, конечно. А где ты ее встретила?

— В метро. Она меня не узнала. Вернее, сделала вид, что не узнала.

— Глупости какие! Чего ей вид делать! Наверное, спешила просто, не хотела останавливаться. О чем ей с тобой говорить?

— Не о чем, — согласилась Она. Но мятое чувство осталось.

...Она встряхнула головой и быстро вышла из Васькиной комнаты. Можно, конечно, устроить день воспоминаний, но как тогда быть с уборкой, и обедом, и стиркой, и на почту надо, и вечером Васькины уроки, и... И Изабелла к ее воспоминаниям уж точно не имеет никакого отношения. Потому что винной девушки Изабеллы в ее жизни попросту не было. Так, отпускной эпизод. В дверь позвонили, и она бросилась открывать. Васька-большой ввалился в коридор и плюхнулся на пол огромный грязный мешок.

— Получай, — выдохнул он, отчаянно глотая ртом воздух. — Картошка. Рязанская. Сухая. Дешевая. Говорят, хорошая. Пощупай.

Она пощупала. Картошка была рязанская, сухая, хорошая.

— Чаю хочешь, Васька? — спросила Она.

— Хочу.

— А бублик?

— И бублик. И масло, и сыр, и колбасу, и котлету, и от супчика не откажусь.

— Обойдешься без супчика. Иди мыть руки.

Он долго возился в ванной и появился на пороге кухни вполне чистый и розовый. Продемонстрировал ладошки — верх, низ, вот ногти проинспектируйте, пожалуйста, и шею оцените, а уши, не проверите ли уши? Она хлопнула его по затылку, и он плюхнулся на табуретку, как давеча мешок с картошкой.

— Эх, Васька, Васька! — вздохнула Она. — Совсем ты себя извел, Васька!

Васька молча подтягивал к себе сахарницу.

— Ты, Васька, без пропитания скоро с лица земли исчезнешь. И что я тогда делать буду? Кто мне на старости лет поднесет мешок с картошкой?

Васька клал в чай пятую ложку сахара.

— Ты почему не женишься, Васька?

Васька глазел в окно, болтая ложечкой в чае. Она отвернулась к плите, погромела сковородками и выдала ему разогретый бублик. Васька взял бублик розовой рукой, и Она засмеялась.

— Ты чего?

— Совсем ты не загораешь, Васька! Смотри, бублик загорелее тебя.

— Ну, ему положено, он же из печки.

— А помнишь, как я звала вас «Третий интернационал»? Тогда, в Сухуми?

— Ага, один черный, другой красный.

— А Васька-маленький вообще желтый.

— А помнишь, как ты меня мазала сметаной от волдырей?

— Ага, а она вся впитывалась без остатка. Может, ты ее слизывал втихаря? А как на утес ходили, помнишь?

— А Васька-маленький носился внизу по пляжу и искал жемчуг в ракушках.

— И янтарь. Он думал, что на море обязательно должен быть янтарь. А мы сверху смотрели, как он носится. И ты сказал...

— Что?

— Нет, ничего. Не помню. Я тебе давно хотела сказать, Васька, если бы не ты, мы бы тогда на утес не ходили и на Ваську не смотрели. Нас бы вообще не было. Если бы ты не успел...

— Брось, ладно? Так супчику не дашь?

— Не-а, не дам. Нету супчика. Вечером приходи.

— Так я пошел?

— Иди.

И он пошел. И Она пошла. Она пошла в спальню, быстро перетряхнула кровать, сняла белье, надела новое, смахнула тряпкой пыль и направилась к стулу, заваленному одеждой. Он всегда сваливал одежду на стулья. «Опять слонов по углам наставил!» — раздражалась Она, и Он покорно шел разбирать кучи. А назавтра наваливал снова. Она сложила свитер, сунула его в шкаф и взялась за брюки. Брюки зазвенели и высыпали на пол пригоршню мелочи. Вечно Он носил в карманах груды мелочи. Черт! Она медленно опустилась на пол и стала сгребать медяки. Черт! Она помнила: Он стоял в дверях, засунув в карманы стиснутые кулаки. Кулаки прыгали, и ей казалось, что там, в карманах, их кто-то дергает за ниточки. Карманы звенели. Звон был какой-то... неуместный. Радостный звон. Праздничный. Он лез ей в уши, отдавался в голове, серебряными безжалостными молоточками вколачивался в затылок. Она закрыла глаза, но безжалостные молоточки продолжали колотить по закрытым глазам. Она ничего не слышала, кроме этого звона. И не видела. Под веками плавали страшные медные круги, похожие на капли раскаленного масла. Она подняла глаза и увидела, что его губы прыгают. Он пытался что-то сказать, звуки вырывались из горла, но не могли пробиться наружу сквозь эти прыгающие губы. Совершенно синие губы. Черт! Она сгребла мелочь и зажала ее в кулаке.

Этот преферанс они затеяли случайно. Просто встретились со старыми институтскими приятелями, говорить, видимо, было не о чем, засели за карты. Васька-большой продулся в пух и прах.

— Опять по гривеннику играли? — смеялась Она.

— Ты что? — Васька делал большие глаза. — Да я... Да ты знаешь, сколько я проиграл? — Он гордо вскидывал голову. — Да ты представить себе не можешь! Двадцать пять рублей!

— Да, сумма впечатляет, — соглашалась Она.

В следующую субботу решили отыгаться. Так и пошло. Собирались у Васьки. Сугубо мужская компания. Женщины не допускались. Спиртное не допускалось тоже. Чтобы не

нарушать ясность мысли. Звонить не полагалось. Из тех же соображений. Если только какое ЧП. А ЧП у нее никогда не случались. Она и не звонила. И в тот день не позвонила бы, если бы случайно не заглянула в комнату к Ваське-маленькому. Свет погасить. Одеяло поправить. Васька бледно-голубого цвета лежал на спине, закатив глаза, и не дышал. Она дотронулась до его плеча, потом легонько потрясла, потом сильнее. Васька не шевелился. Она наклонилась к его лицу и услышала какой-то странный тоненький свист. «Зачем он свистит?» — растерянно подумала Она и поняла, что это не свист, а Васькино дыхание. Дыхание было как ниточка с острой тонкой иглой на конце. Она беспомощно оглянулась, увидела на полу грязные брюки, мокрые носки и вспомнила. Вспомнила красные горячечные щеки, лихорадочные глаза, потные волосенки, набухшие ранней весенней сыростью сапоги. Он ввалился в дом, кинул на пороге клюшку, рванул в кухню, выдул стакан воды и бросился обратно на улицу.

— Не смей! Домой! Немедленно домой! В ванну! — закричала Она, выскакивая за ним на лестничную клетку, но он, ничего не слыша, уже несся вниз.

Она бессмысленно тыкала в кнопки срывающимся пальцем, набирала чужие номера, что-то спрашивала, выслушивала ответы, снова тыкала, снова спрашивала, снова выслушивала. Чужие голоса говорили чужие слова. Наконец голос Васьки-большого неторопливо сказал:

— Алло!

— Васька... — прошептала Она. И закричала что есть мочи: — Ва-а-аська!

Она сама не знала, к кому относится это «Ва-а-аська!». К тому, кто лежал сейчас в соседней комнате с бледно-голубым лицом и игольчатым дыханием, или к тому, кто на другом конце провода еще не знал, что должен ее спасти.

— Ты что? Что с тобой? Что случилось? — испугался Васька.

— Где? Где? Дай...

Ей хотелось крикнуть: «Быстрее, Васька, быстрее, позови Его к телефону!» — но сил не было даже на то, чтобы произнести имя.

— Он уехал, — растерянно проговорил Васька. — Полчаса назад. Да что случилось-то? Я приеду сейчас!

«Не надо! — попыталась сказать Она. — Не надо, Васька, не приезжай. Раз Он выехал, значит, все в порядке». Но ничего не сказала.

Потом Она сидела на стуле, свесив руки между колен. Дверь стояла нараспашку, мимо сновали люди в белых халатах, носили взад-вперед твердые пузатые чемоданы, а Она удивлялась: зачем тут чемоданы, кто уезжает, или, может, приехал кто? И Васька-большой мелькал тут же, среди белых халатов, что-то им говорил, что-то показывал, что-то давал, и пробегал мимо нее, и опускался на колени, и о чем-то спрашивал, про какое-то одеяло, и еще о чем-то, Она не запомнила, и убегал опять, и снова опускался на колени, и бормотал, бормотал... Что он бормотал? И гладил ей руки, и щеки, и волосы... А Она сидела на стуле, свесив руки между колен и закрыв глаза. Пока не услышала этот звон. Радостный звон. Праздничный. Он лез ей в уши, отдавался в голове, серебряными безжалостными молоточками вколачивался в затылок. Она сидела закрыв глаза, и безжалостные молоточки колотили по ее закрытым глазам. Она ничего не слышала, кроме этого звона. И не видела. Под веками плавали страшные медные круги, похожие на капли раскаленного масла. Она подняла глаза и увидела, как прыгают Его губы. Он пытался что-то сказать, звуки вырывались из горла, но не могли пробиться наружу сквозь эти прыгающие губы.

Совершенно синие губы.

— Ты почему так долго? — Она шевельнула губами, и Он ничего не услышал.

Все стихло. Она лежала на диване в гостиной, а Васька-маленький у себя. Он вздыхал во сне, причмокивал и постанывал. Васька-большой капал в рюмку какую-то пахучую темно-коричневую жидкость и вливал ей в рот. Она глотала, морщилась, откидывалась на подушки.

— Ничего, — бормотал Васька. — Ничего. Сейчас уснешь.

Но Она не спала. Лежала и смотрела на две головы, маячившие над диванным валиком. Круглую, с цыплячьим пухом, мотающуюся над узкими клетчатými плечиками, и темную, неподвижную, шерстяную. Светлая приближалась к темноволосой и что-то ей втолковывала. Темноволосая кивала, оборачивалась. Она видела блестящий беспокойный взгляд и заставляла себя улыбаться — все нормально, все нормально, все нормально. Не волнуйся. Все прошло и больше не вернется. Головы расплывались, мешаясь с желтым блином света на обоях, Она разлепляла непослушные веки, но веки все тяжелели и тяжелели, наливаясь невыносимой каменной усталостью.

— Ладно, — услышала Она сквозь сон голос Васьки-большого. — Я пошел. Ты имей в виду...

Летом поехали в «наш сухумский домик». Первый раз за десять лет. Васьки поместились в хибарке, где когда-то жил Склифосовский, а они — в своей комнатенке с раскладушкой. Ничего не изменилось — тот же сад, заросший дикими странными цветами, тот же инжир, гладкоструганый, потемневший от времени стол, и Вахтанг Илларионович Габуния, орденосец и дед уже восемнадцати внуков, с корзинкой, полной кукурузы, и лунная дорожка, и кизилловые кусты, и светлячки. Не было, конечно, ни Мулечки, ни Юлечки, ни Веруньки с Петром Спиридоновичем. Говорили, что Моисей Семеныч с Клавой приезжали месяц назад, что Клава ужасно растолстела и местные джентльмены в черных тройках и крахмальных рубашках больше не собирались на пляже, чтобы смотреть на нее и цокать языками. Моисей Семеныч был этим очень доволен. Чужие люди сидели по вечерам под их инжиром, и они не подсаживались к ним. Проходили мимо, вежливо улыбались, желали доброго вечера. Каждое утро шли на утес, расстилали одеяла, валялись, шурились лениво на солнечные брызги, также лениво перебрасывались словами, обедали огурцами и помидорами, завернутыми в лаваш. Время от времени поднимались, скатывались вниз, на пляж, окунались в вялую кипяченую соленую воду, поднимались обратно, бросались на одеяло лицом вниз. Внизу Васька-маленький, похожий на китайца в островерхой соломенной шляпе, желтый от загара, искал свой жемчуг и янтарь. Васька-большой обгорел до волдырей, и Она мазала его сметаной. Он вообще никогда толком не мог загореть, этот Васька. Не то что они — два шоколадных негритенка в их разноцветной компании. «Триколор!» — говорил Васька. «Третий интернационал!» — поправляла Она.

Однажды стояли втроем на утесе и глядели, как Васька-маленький ковыряется внизу со своими ракушками.

— Как ты тогда успел, Васька? — вдруг спросила Она. В первый раз за все время спросила. Они никогда не говорили о... Они никогда ни о чем не говорили. — Как ты тогда успел?

— Никак, — буркнул Васька, — взял левака, — и отвернулся от нее. — Хорошо, хоть до тебя дозвонился, — пробормотал Васька себе под нос и положил руку Ему на плечо. — Вечно ты к телефону не подходишь.

Он скинул Васькину руку и побежал вниз. Камни выскакивали из-под его босых ног, и

их острые края, казалось, впивались ей прямо в грудь. «Васька что-то сказал, а я не услышала», — подумала она и легла ничком на одеяло.

...Она разжала ладонь, и мелочь снова высыпалась на пол. Она сидела на полу и глядела, как на ладони наливается алой пульсирующей болью длинная кривая царапина. Вяло удивилась. Разгребла монетки. Ключ, притворившийся медяком, застенчиво лежал на полу. Очень маленький, очень блестящий, очень женский ключ. «Сейчас юркнет под какой-нибудь пятак, и я его не найду», — подумала Она и в испуге, что ключ действительно куда-нибудь спрячется, схватилась за брелок. Сверкнули яркие винные искры. Медленно Она поднесла ключ к глазам — ближе, ближе, как будто зрение вдруг отказало ей. Красивый брелок — виноградная гроздь, серебро, крошечные топазы. Стеклашки, наверное.

Она поднялась с пола, подошла к открытому окну и попыталась вздохнуть. Воздух, горячий и влажный, почти сухумский, медленно вливался в легкие. По спине пробежала струйка пота, к горлу подкатил комок. Солнечные зайчики настырно лезли в глаза. Она попыталась увернуться, но ничего не вышло. Зноем горела крыша соседнего дома. Двор валялся внизу, как детский рисунок, брошенный с верхнего этажа. Мир треснул и раскололся. Она сделала над собой усилие, собрала мир в единую картинку, оторвала от подоконника негнущиеся пальцы и двинулась к телефону. Сняла трубку, не глядя потыкала пальцем в кнопки.

— Алло! — сказала трубка Васькиным голосом.

— Ты же все знал, Васька. Правда? Знал? — спросила Она мертвым голосом. — Никакого преферанса никогда не было. И сейчас нет. Он тогда опоздал, потому что ты до него дозвониться не мог. Ведь не мог, да? Он, наверное, трубку не берет, когда он... там... у нее. Ты не молчи, Васька. Ты что-нибудь скажи.

Но Васька молчал. Она видела его побелевшие пальцы, вцепившиеся в трубку, круглое розовое лицо, застывшее, словно клоунская маска. Опустила трубку на рычаг, взяла брюки, валявшиеся на стуле, осторожно положила в карман ключ с виноградной гроздью, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь.

Он пришел поздно, почти в десять. Васька-маленький уже переделал все уроки, умял тарелку вареников с картошкой, посмотрел «Тома и Джерри», со скандалом почистил зубы и теперь дочитывал в постели «Гарри Поттера».

— Эй! — крикнул Он, услышав, как в замке ворочается ключ. — Отец пришел, не слышишь, что ли?

Она вышла в коридор, прислонилась к дверному косяку и стала смотреть, как Он снимает ботинки. Он сидел на корточках и дергал затянувшийся узелок. Темноволосая макушка вздрагивала и, кажется, даже чертыхалась. Она наклонилась и поцеловала его в эту сердитую макушку. Макушка повернулась, Он поднял лицо и, улыбаясь, потянулся к ней. Она схватила его за уши и прижала к груди.

— Пойдем скорей, я тебя покормлю, — сказала Она. — Вареники будешь?

— Мммм, — замычал Он, целуя ей грудь.

— Васька умял целую тарелку. Он тебя ждет, хочет что-то показать. Зайди к нему сейчас, а то он не уснет.

— Мммм, — ответил Он и потерся об нее носом.

В субботу Он ушел играть в преферанс. Васька-большой принес мешок моркови. Пора

было делать запасы на зиму.

Вовочка и Ксаночка были пара.

Не парой, а именно — пара. Парой можно сходить в кино или в кафе. Парой можно прийти на вечеринку, а после разойтись в разные стороны. Быть парой — значит быть вдвоем, при этом сохраняя свою личную отдельность и отдаленность от партнера. Парой ходят за руку и рядом. Но при этом каждый — сам по себе. Пара — это совсем другое. Пара — это единый организм. Монолит. Четыре ноги, четыре руки, одна дыхалка. У Вовочки с Ксаночкой была одна дыхалка. Они существовали без зазора. Между ними было невозможно просунуть даже лист папиросной бумаги. Говорят, когда люди любят, они смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Вовочка с Ксаночкой умудрялись смотреть и друг на друга, и в одну сторону. Мы считали, что они похожи на двухголового дракончика. Дракончик полыхал огнем. Вокруг Вовочки с Ксаночкой простиралась выжженная пустыня. Не то чтобы мы им мешали. Они просто нас не замечали. Мы были им не нужны.

Сказать, что Вовочка был недотепой, — это не сказать ничего. Вовочка был великолепным обалдуюем. Вы уж мне поверьте, я с ним пять лет проучилась на журфаке. На журфаке с Вовочкой случились две вещи. На экзамене по античной литературе преподаватель выбросил его зачетку в окно. Вовочка пространно ответил на все вопросы, только немножко перепутал предмет. Он думал, что отвечает историю партии. К пятому курсу у Вовочки за все истекшие годы накопилось тридцать два хвоста, которые он с успехом сдал за пять дней, рассказывая преподавателям байку о том, что трое прелестных малюток требуют его неусыпной заботы и поэтому он вынужден подрабатывать грузчиком в овощном магазине. В это время наша большая теплая компания, в которой Вовочка по причине внушительных габаритов занимал значительное место, окончательно рассыпалась на парочки и потихоньку переженилась. Вовочка тоже не отставал. На какой-то дискотеке в главном корпусе МГУ он подхватил Ксаночку. Ксаночка училась на третьем курсе юрфака. Вовочкин диплом они отмечали, уже став женатиками.

Вовочка с Ксаночкой были живой иллюстрацией тезиса о том, что противоположности притягиваются. Ксаночка походила на запятую. Голова у нее была большая и круглая, а тельце — маленькое и тощенькое. Вовочка, напротив, обладал пышными, не вполне определенными формами и такими же неопределенными, мягкими чертами лица. При первом поверхностном взгляде он сильно напоминал торт «Полет», находящийся в той стадии застолья, когда есть уже никто не может, но по привычке ворошит кремове-меренговую толстую плоть, безвольно развалившуюся под ложкой. Ходили они, тесно прижавшись друг к другу.

— Ксаночка! — говорил Вовочка, нежно глядя сверху вниз в Ксаночкины глаза и пожимая маленькую ручку.

— Вовочка! — отвечала Ксаночка, нежно глядя снизу вверх в Вовочкины глаза и отвечая на пожатие.

Дни рождения Вовочка и Ксаночка праздновали вдвоем. Уезжали в лес. Что они делали в лесу — неизвестно. Никого из нас они с собой не приглашали. Однажды мы намекнули, что неплохо было бы всем вместе с шашлычком на природе отметить Вовочкин двадцатипятилетний юбилей, однако получили вежливый, но твердый отказ. На Ксаночкин день рождения мы даже и не просились. Тем более, что приходился он на середину января.

Что они делали в лесу в середине января — об этом нам даже не хотелось думать. По вечерам они играли в баскетбол. Повесили на дверь корзину и, сидя рядышком на диване, бросали в нее мячи. Потом, когда подросла их дочка Мариночка, стали играть втроем.

Между тем журналистская карьера Вовочки походила на путь кенгуру. Она двигалась вперед какими-то неровными замысловатыми скачками. Вовочка пошел работать в одну из московских газеток, и его тут же назначили свежей головой. Свежая голова — для тех, кто незнаком с газетной работой, — это такой человек, который приходит в редакцию к концу дня и прочитывает весь номер насквозь. Подразумевается, что в этот день свежая голова долго спит и потому не пропускает ни одной ошибки. Свежими головами бывают все сотрудники по очереди. Но Вовочку в редакции еще не знали, иначе бы редактор не решился на столь опрометчивый шаг. После Вовочкиного дежурства газета вышла с колонтитулом «37 июня», хотя на дворе было аккурат 15 сентября. Редактор рвал на себе волосы.

— Ну хотя бы июля! — жалобно говорил он, вставая на цыпочки и заглядывая Вовочке в глаза в попытке разглядеть там проблески раскаяния. — Я бы еще понял. Все-таки в июле тридцать один день. Это как-то ближе к правде жизни. Но июня! — И он изумленно всплескивал руками.

Вовочка виновато улыбался.

Ксаночка утверждала, что такое может случиться со всеми, а Вовочка себя еще покажет.

Следующие полгода Вовочка сидел в отделе информации и строчил заметки типа: «Московские строители заложили новую очередь банно-прачечного комбината на юго-западе столицы. О ходе строительных работ нашему корреспонденту рассказал бригадир СУ № 5 А. Понькин». Редактор был им доволен. Но тут навалился грипп. Редакция слегла. Вовочке пришлось стать на время выпускающим редактором. Он поставил на первую полосу фотографию главы государства, вручающего важную государственную награду известной актрисе. «Отсос молока при помощи нового доильного аппарата ведется круглосуточно, даже когда коровы спят. Об этом поведал нашему корреспонденту председатель колхоза «Светлый путь» Мирчуткин», — гласила подпись под фото.

— Придется вам писать заявление, молодой человек, — устало сказал редактор.

— Во-овочка! — укоризненно пропела Ксаночка, по-прежнему нежно глядя снизу вверх в Вовочкины глаза.

— Кса-аночка! — виновато пропел Вовочка, по-прежнему нежно глядя сверху вниз в Ксаночкины глаза.

Какое-то время Вовочка слонялся без дела, пока общими усилиями мы не пристроили его на новое место. На новом месте Вовочку застала смерть тогдашнего генсека. В день похорон он дежурил по номеру, и в общий траурный газетный хор вплелась оптимистическая нотка. «Праздничный вернисаж у стен Кремля», — собственноручно озаглавил Вовочка материал о выставке московских художников в Манеже. И не его вина, что материал случайно попал на первую полосу вместо парадного некролога. Секретаря райкома после Вовочкиного вернисажа прямо с рабочего места увезли с инфарктом в больницу. Главного редактора уволили. Секретарь парткома редакции получил назначение в колхоз, расположенный за сто первым километром. Вовочка пострадал меньше всех. Ему было нечего терять, кроме своих цепей.

Впрочем, он впал в депрессию, а это уже кое-что, учитывая, что Вовочка, будучи журналистом, даже не знал имени-отчества умершего генсека. Ксаночка неотлучно находилась при нем. Она поила его бульонами и за руку водила в туалет. Мы к телу не

допускались. «Тсс! — шептала Ксаночка и прикладывала палец к губам. — Он так слаб!» Мы топтались в прихожей, пристроив на лица скорбные гримасы. Вовочка посылал нам слабые улыбки с дивана.

Перестройка застала Вовочку в состоянии полной деморализации. Но тут какой-то дальний знакомый позвал его делать первый в России глянцевого журнала. Деньги обещал немалые. Вовочка пошел. Через два месяца, когда вышел первый номер журнала, весь трудовой коллектив был распущен по домам без копейки денег.

— Не журишь, старик! — говорил Вовочке дальний знакомый и крепко хлопал его по плечу. — К тебе это не относится. Ты у нас — о-го-го! Ты у нас — костяк! На тебе весь журнал держится!

Вовочка испуганно кивал.

Набрали новых людей. Вовочка стал главным редактором и ужасно загордился.

— А вы не верили! — говорил он нам, и мы смущенно пожимали плечами, потому что — как же можно было не верить в такого бравого молодца!

Вовочку выгнали через полгода, не заплатив ни за один из шести отработанных месяцев. Вовочка подал в суд. В суде выяснилось, что он забыл заключить с журналом контракт и подавать в суд ему просто не на кого.

— Вовочка! — сурово сказала Ксаночка тоном общественного обвинителя.

— Ксаночка! — развел руками Вовочка.

Они взялись за руки и пошли домой играть в баскетбол.

На следующий день Ксаночка объявила общий сбор. С Вовочкой надо было что-то делать. Мы долго и уныло пили чай. Ксаночка пристально смотрела на нас печальными глазами, требуя немедленного вмешательства в Вовочкину судьбу.

— Ну... — наконец сказала одна наша приятельница. — Не знаю... Есть одно место... Деньги платят регулярно.

Мы восторженно загалдели, дескать, давай, давай твое место! Давай быстрее!

— Ну... — сказала приятельница. — Не знаю... А если что...

Мы замахали руками, дескать, ничего, ничего! Ничего не будет! Правда, Вовочка? Обещаешь?

Вовочка обещал.

«Все-таки молодец эта Ксаночка, — говорили мы друг другу, расходясь. — Такую бы жену да в мирных целях!»

На новом месте Вовочка работал исправно. В смысле — не высывался. Он даже вошел в доверие к главному редактору, главным образом тем, что молчал на летучках. 90-е перевалили за середину. Началась эпоха капиталистического производства. Именно это — смена эпох и необоснованное доверие Вовочке — и погубило главного редактора. Он послал Вовочку делать материал о фирме, выпустившей на рынок эксклюзивную косметику. Косметика была дорогая. Фирма известная. Короче, главный редактор взял немало. Но Вовочка об этом не знал. Он поехал на завод этой фирмы и выяснил, что в эксклюзивный крем добавляют нерафинированное подсолнечное масло из ближайшего ларька. О чем и поведал народу. Редактору пришлось продать новенький «БМВ», чтобы расплатиться с фирмой за такую упоительную рекламу. Главный технолог, разработавший рецептуру крема, даже грозился его убить. Но все обошлось. Пожертвовали Вовочкой. Вовочка снова оказался на улице.

— Вовочка! — вскричала Ксаночка.

— Ксаночка! — промяукал Вовочка.

Ксаночка встала на цыпочки и прижала к груди его буйную головушку.

Итак, Вовочка решил оставить общественную деятельность и полностью порвал с реальностью. Он открыл интернет-сайт. На этом сайте Вовочка со всем своим неизрасходованным журналистским пылом обличал пороки и язвы. Сайт был его личный, поэтому больше Вовочка никого не боялся и ни под кого не прогибался. Он скромно дудел в свою собственную дуду. Особенно доставалось от него премьер-министру Англии и королю Непала. Сайт назывался «Голая правда». Таким названием Вовочка намекал, что в остальных печатных органах читателю предлагалась правда закамуфлированная, то есть не совсем правда, а как бы осетрина второй свежести. Но читатель не понял Вовочкиного намека. Вернее, понял, но не то, что имел в виду Вовочка. В адрес Вовочкиного сайта стали приходить фотографии с голыми девушками и голыми юношами. Глядя на их выразительные позы, Вовочка печалился и с тоской вспоминал об отсосе молока новым доильным аппаратом. Однажды Ксаночка случайно заглянула в компьютер Вовочки.

— Вовочка! — простонала она и зарыдала.

— Ксаночка! — прошептал он и приложил руку к сердцу.

Сайт пришлось закрыть.

История с сайтом сломила Вовочку окончательно. В начале нулевых он решил уехать. Затея была дурацкой. Уже давно никто никуда не уезжал. А некоторые даже возвращались. Но Вовочка не искал легких путей. Он вообще всегда шел своим путем. Он думал, что перемена места жительства влечет за собой перемену судьбы. Он ставил судьбу в прямую зависимость от пространства. Он плел несусветную чушь о том, что душа не везде у себя дома и что он обязан отыскать дом для своей души. Ксаночка преданно смотрела ему в рот. Короче, он собрал нас у себя дома под баскетбольной корзиной и объявил о своем решении. Тут поднялась Ксаночка и тоже объявила о своем решении. Она не собиралась ехать с Вовочкой.

Немая сцена.

Про Ксаночку, между прочим, ничего не было известно. Мы так были заняты спасением Вовочки, что подразумевалось, будто и у Ксаночки нет в жизни других дел, кроме как вызволять Вовочку из дурацких ситуаций. Ксаночка считалась кусочком Вовочки. А Вовочка — большим куском Ксаночки. Выходит, мы ошибались. Ксаночка за годы Вовочкиного бестолкового шатания по редакциям, оказывается, стала известным юристом, занимала приличную должность в солидной фирме и получала хорошие деньги. Тащиться за Вовочкой ей было совсем не интересно. Вовочка скис. Он ходил из дома в дом, из кухни в кухню и страшно надоедал нам жалобами на свою несчастную долю. Вовочка пил водку, ронял слезы в стакан и говорил, что не мыслит своей жизни без Ксаночки и Мариночки. Потом он пил водку без слез и говорил, что не мыслит жизни без Ксаночки и Мариночки. Потом он просто пил водку. Кажется, мысль о предстоящей разлуке прочно укоренилась в его израненной душе. Вовочка смирился. В его голосе появились новые нотки, дескать, что же делать, надо продолжать жить. Вовочка стал энергично готовиться к отъезду. Первым делом он подал на развод. Из соображений мужской порядочности. Он считал, что должен дать Ксаночке свободу. Мало ли как сложится жизнь у женщины. Может, встретит кого-нибудь. На этом месте Вовочка вздыхал и пускал запоздалую слезу. Ксаночка растерянно смотрела на него. Она не ожидала, что Вовочке придет в голову дать ей свободу. Она вообще много не ожидала.

На следующий день после развода Вовочка и Ксаночка уехали в прощальное путешествие. Они сняли домик где-то на Валдае, подальше от человеческих троп. Ровно две недели Вовочка с Ксаночкой бродили по лесу, взявшись за руки, катались в лодке на озере и обнимались под кустами. Вернулись совершенно счастливыми. Мы встречали их на вокзале. Вовочка вышел из поезда и подал руку Ксаночке. Ксаночка спорхнула на платформу, оглядела нас сияющими глазами и сказала:

— Поздравьте нас! Мы решили пожениться!

Потом Вовочка рассказывал, что там, на Валдае, Ксаночка в минуты близости стонала:

— Неужели мы больше никогда не увидимся?

Так вот, свадьба. Свадьбу Ксаночка устроила роскошную. Можно сказать, она взяла реванш за ту, давнюю, студенческую свадьбу, которая имела место черт его знает сколько лет назад. Был снят зал в ресторане «Прага». Сшито белое платье с пышной газовой юбкой. Приглашено сто человек гостей. Мариночка несла шлейф невесты. Из Израиля приехала двоюродная бабушка Ксаночки. Из Тамбова — троюродный дядя Вовочки. Молодым желали долгой счастливой жизни. Кричали «Горько!». Вовочка целовал Ксаночку, и гости хором считали на всю «Прагу»: «Раз! Два! Три!» Ксаночка очаровательно краснела, улыбалась тихой торжествующей улыбкой и демонстрировала гостям бриллиантовое кольцо, которое подарил ей Вовочка. Деньги на кольцо он одолжил у бывшего будущего тестя. Кольцо символизировало окончательную победу Ксаночки. Вовочка с его самодеятельностью был полностью стреножен. Не то чтобы Ксаночка хотела реванша... Но, знаете, все-таки неприятно, когда мужик вырывается из узды. Есть в этом для женщины что-то унижительное.

— Ты как думаешь, они уедут или останутся? — спросила я мужа, когда мы шли со свадьбы домой.

— А это уже Ксаночка будет решать, — ответил он.

После свадьбы Вовочка с Ксаночкой ушли в подполье. Мы почти ничего о них не знали. Слышали только, что они активно готовятся к отъезду. Как-то так получалось, что им было не до нас. А мы что, нам тоже неохота под ногами путаться. Все-таки медовый месяц у людей. В ожидании приглашения на отвальную прошло несколько месяцев. Однако приглашения не последовало. Однажды, собравшись у кого-то дома, мы решили это дело прояснить и набрали Ксаночки-Вовочкин номер. Подошел какой-то посторонний дед и сказал, что здесь таких нет. Были, да съехали. Мы покачали головами, Ксаночку с Вовочкой осудили и выпили за их успехи за океаном.

Прошло года два. А может, три. Я шла по Тверской и вдруг увидела знакомую фигуру. Это был Вовочка. Он почти не изменился. Та же бесформенная нелепая фигура. Те же размытые черты лица. Та же потертая кожаная курточка. Вовочка шел слегка сутулясь, засунув руки в карманы. Меня он не заметил.

— Вовочка! — крикнула я. — Постой!

Вовочка остановился. Я подошла. Вовочка стоял и не мигая смотрел на меня.

— Вовочка! — сказала я. — Ты что, меня не узнаешь?

— Узнаю, — довольно безразлично ответил Вовочка.

— Ты приехал? Надолго? Почему не позвонил? Как Ксаночка? Как вы устроились? Мы же даже адреса вашего не знаем! Уехали — слова не сказали! Ребята, между прочим, обиделись.

— Ксаночка хорошо, — невпопад сказал Вовочка. — Работает в юридической фирме. Купила квартиру в Нью-Йорке.

— Что значит «купила»? А ты? Ты что, опять без работы?

— Опять, — промямлил Вовочка. — Я... ты знаешь... в общем... ты не думай, она мне деньги присылает. И Мариночка каждую неделю звонит. Такая красавица стала! Вся в Ксаночку. Вот, посмотри, это она в университете. — Вовочка суетливо полез в карман и вытащил пачку фотографий. — А я к ним поеду, обязательно поеду. Вот устроюсь на работу и поеду в отпуск. Ты же знаешь, Ксаночка такая умница. А я что... я тут, у мамы... — бормотал Вовочка и совал мне в руки истертые фотографии с заломанными углами.

Был он совсем крошечный и почти прозрачный, сплошь утыканный ржавыми гвоздиками конопушек. Даже уши были рыжими. Когда волосы отрастали и жесткий ежик обминался и опадал, казалось, что на ушах появляются кисточки, и он становился похож на белку. А звали его Ершиком. Почему Ершиком? Зачем Ершиком? Как вообще возник этот Ершик — никто не знал. Он один помнил, как впервые пришел в их класс. Появление его было, так сказать, вне расписания. Факультативным. Посреди года. Посреди месяца. Посреди недели. Посреди дня. Посреди урока.

— Вот, Марья Ивановна, — сказал директор, вводя его за руку в класс. — Привел вам нового ученика. Познакомьтесь — Сережа Тычинкин.

И все грохнули.

Марья Ивановна раздвинула в пластмассовой улыбке узкие губы и указала ему на последнюю парту. Он плелся по проходу, волоча по полу портфель, а все смотрели ему вслед. Портфель был огромный. Дедовский еще портфель. С потертыми кожаными боками и медными нашлепками. Портфель был неподъемный. Он и не пытался его поднять. Волок за собой, как гирю. Если смотреть сзади, получалось, что по земле ползет портфель с рыжей щетинистой макушкой. Он вскарабкался на сиденье, ногами затолкал портфель под парту и поднял глаза. Марья Ивановна стояла над ним со своей пластмассовой улыбкой.

— Причешись, Тычинкин! — сказала она. — У тебя волосы в разные стороны торчат. Расческа-то есть?

Он кивнул и, путаясь пальцами, полез в нагрудный карман. Он дергал расческу за полусломанный зуб, глядя на Марию Ивановну испуганными рыжими глазами, похожими на прозрачные пуговицы из тех, что пришивают к мордам плюшевых медведей. Ему казалось, что, если расческа не вылезет — вот сейчас, сию минуту, — он сползет со стула, ляжет на пол и умрет. Но расческа не лезла, цеплялась за швы, трещала нитками, кололась обломанными зубьями, и тогда Марья Ивановна, оттолкнув его руку, двумя пальцами легко вытащила ее из кармана и протянула ему. Он схватил расческу, запустил в свой колом стоящий ежик и начал продираться от лба к затылку. Ежик укладывался под расческой ровной укатанной дорожкой, но, выбравшись на волю, снова поднимался колючей игольчатой порослью.

— Ладно, Тычинкин! Хватит! — сказала Марья Ивановна и положила ладонь на его колючки. — Ты прямо как... как ершик для мытья посуды!

И все опять грохнули.

На перемене они столпились вокруг его парты, отпихивая друг друга локтями. Тянулись к волосам, отдергивали руку, трясли кистью, дули на пальцы, гримасничали, кривлялись, закатывали глаза, хохотали.

— Ой, не могу, Ершик! Тебя в бутылки как засовывают, в пионерском галстуке?

— Его головой вниз засовывают! А вытаскивают за ноги!

— А он кефир со стенок слизывает!

— И булькает! И булькает!

Он смотрел на них рыжими пуговицами, которые становились все прозрачнее и прозрачнее от набегающих слез.

— Ты что молчишь? Ответь им! — вдруг услышал громкий властный голос.

Повернул голову и увидел высокую девчонку с прямой черной челкой. Девчонка стояла в стороне и в упор смотрела на него. Глаза у девчонки были странные — зеленые и такие длинные, что казалось, убежали за пределы лица, и кончики их, заштрихованные темными ресницами, висели в воздухе. «Как сосновые лапы», — подумал он и улыбнулся.

— Ты что, немой? — строго спросила девчонка.

Он покачал головой и заулыбался шире.

— Значит, дурак, — припечатала она, повернувшись и ушла.

Девчонку звали Катя Вяземская.

Кате он доставал лишь до плеча. Так у них и повелось. Она — выше, умнее, сильнее, главнее. В тот первый день он шел за ней после уроков, прячась за водосточными трубами — чтобы не заметила. Но она заметила. Потом он часто думал о том, что она не заметила, а с самого начала знала. Знала, что будет ждать ее у школьного крыльца, хоронясь под осыпавшимися ступеньками. Что будет идти следом по школьному двору, глядеть издали, как она качается на зеленых детских качелях. Что будет стоять у дверей булочной, вглядываясь близорукими глазами в чужие лица, боясь пропустить. Что будет бежать за ней через дорогу, стуча портфелем по заплетающимся ногам. У входа в свой двор она остановилась. Стояла под сводами подворотни, ждала. Он стоял поодаль. Тоже ждал.

— Ну что же ты, Ершик? Иди сюда!

Он подошел. Она не глядя сунула ему в руки портфель. Он схватил портфель, но тут же получил еще и авоську с хлебом. Он засуетился, стал нелепо перебирать руками. В одной руке — свой портфель, в другой — ее. Уронил свой в лужу, схватил авоську, поплелся следом, спохватился, вернулся, подобрал портфель, бегом побежал во двор. У подъезда она остановилась:

— Ну, пока! — Взяла портфель, авоську. Повернулась. Ушла.

Он ждал ее под ступеньками каждый день. Она вылетала на школьный порог, болтала с подругами, ждала, когда они разбегутся. Потом поводила плечиком, косила глазом в его сторону. Он вылезал из-под ступенек, брал портфель. Шли так: она впереди, он следом. Иногда она заворачивала на детскую площадку. Держась онемевшими пальцами за железный прут, он раскачивал зеленые качели. Выходили на улицу. Летели черные волосы. Косил зеленый глаз. У киоска мороженого она снова поводила плечиком. Он суетливо лез в карман, выкапывал девятнадцать копеек, сэкономленные на школьных завтраках, покупал вафельный стаканчик. Желтую розу она отдавала ему. Не любила крема. «Ну, пока!» — говорила у подъезда и бежала по ступенькам вверх.

Через неделю она позвала его домой. Он сначала испугался, даже головой начал крутить, но она, не оглядываясь, уже бежала по ступенькам.

— Вот, мама. Это Ершик. Я тебе рассказывала.

Рассказывала! О нем! В груди стало горячо, рыжие пуговицы начали прозрачнеть, но тут он поднял глаза и увидел еще одну прямую черную челку и глаза, убегающие за пределы лица.

— Ну, Ершик так Ершик, — сказала мама. — Есть хочешь, Ершик? У нас сегодня котлеты с гречкой. Любишь котлеты? Вот и славно! Идите мойте руки, — и махнула рукой куда-то в сторону.

Он стянул пальто, скинул ботинки и двинулся к ванной, уже представляя, как они втроем будут сидеть на кухне у окна, есть котлеты с гречкой, смотреть во двор, как Катина

мама нальет им чаю в большие толстые кружки, а Катя отдаст ему крем со своего куса торта, потому что — какое приличное чаепитие без торта! Они будут сидеть долго-долго. Стемнеет, но они все будут сидеть. И Катина мама спросит: «А где ты раньше учился, Ершик? А родители кем работают? Что, и старший брат есть? Сколько же ему лет? И такой же рыжий, как ты? А знаете что, дети мои, давайте-ка поиграем в какую-нибудь чепуху! В буриме, например!» И они поиграют в чепуху. А потом выпьют еще чаю. И снова поиграют. И он расскажет им... Да все он им расскажет. Про брата Сашку. Сашка рыжий, такой же, как он, Ершик, но рыжести своей совсем не стесняется, а наоборот, Сашке все время взрослые девчонки звонят, и он с ними, как говорит мать, «крутит крутеж». Иногда девчонки приходят к ним домой, Сашка заводит их в комнату, сажает на тахту, и там они сидят рядышком — Сашка и девчонка, — держась за руки и глядя на Ершика немигающими глазами. «Выдавливают», — говорит отец. Ершик выдавливается на кухню, к матери. Мать, круглая, мягкая, с рыжеватыми кудельками на лбу, сует ему в руки кусок пирога. Ершик взбирается на табурет и начинает жевать пирог. «Отца дождемся, будем ужинать», — бросает мать, не отворачиваясь от плиты. Но отец не идет. Отец редко когда приходит вовремя. Работа у отца вредная и нервная. Какая точно, Ершик не знает, но знает, что отец на ней «все здоровье посадил». Отец звонит домой, что-то долго объясняет матери. Она слушает молча. Потом входит в кухню, снимает фартук, швыряет его прямо на пол, отталкивает Ершика, если тот попадает под руку, и закрывается в ванной. Вода течет громко. Мать сидит долго. Выходит с красным пятном на левой щеке. Закрывается в спальне. Ершик ставит на огонь тяжелый эмалированный чайник с отбитым боком, наливает чай, кладет кусочек лимона, достает из аптечки тройчатку, несет в спальню. Мать лежит на кровати, отвернувшись к стене. Ершик тихо ставит на табуретку чай и выскальзывает за дверь. В гостиную нельзя — там Сашка с девчонкой. В спальне — мать. Ершик берет недоеденный пирог и раскладывает на кухонном столе тетрадки.

Тут он почувствовал, как Катя ухватила его за рукав.

— Мама! — сказала она укоризненно, как нерадивому ребенку. — У нас же не столовая все-таки!

— Да, да, спасибо! — закивал Ершик. — Я есть не хочу совершенно... почти.

— Пойдем, — потянула его Катя. — Контурные мне нарисуешь. Марь Иванна говорила, ты контурные здорово рисуешь.

В восьмом классе он взял билеты в кино. Фильм назывался «Ромео и Джульетта». Итальянский. Ершик «Ромео и Джульетту» уже читал, а Катя нет. Он ей пытался рассказывать, но она только смеялась. Травиться, колотья — она этого решительно не понимает и даже осуждает, потому что глупости все это, «страсти в клочья». На итальянское кино до шестнадцати лет не пускали. Но Ершик к восьмому классу вымахал под метр восемьдесят, а Катю уже давно называли на улице девушкой.

— Пойдешь? — спросил он, показывая ей билеты.

— Пойду.

— Я последний ряд взял.

Она повела плечиком.

Весь фильм Ершик краснел. Шевелил губами, шептал что-то про себя, пыхтел.

— Ты что все бормочешь?

— Ничего. Смотри, смотри, — и снова зашевелил губами.

Взять или не взять? А если взять, то как? Как бы невзначай? Или специальным уверенным жестом? А если обидится? Когда по экрану пошли титры, он взял ее за руку. Катя хмыкнула, но руки не отняла. На улице он снова шел сзади. Когда подошли к подворотне, спросил:

— Ну, как кино?

— Ничего.

— А ты не обиделась?

— На что?

— Ну... — Он посмотрел на свои руки.

— Дурак ты, Ершик! — и побежала во двор.

Влюбилась Катя сразу. Как будто захлебнулась, а откашляться не могла. Парень был, по мнению Ершика, весь слишком. Слишком высокий. Слишком волосатый. В слишком широких клешеных джинсах. Слишком взрослый. Познакомилась с ним Катя в каком-то институте на какой-то вечеринке. Ершик толком не знал где. Она теперь часто ходила без него на вечеринки. «Имеет право на личную жизнь», — говорил Ершик. И ждал у подворотни. Им тогда было по семнадцать лет.

Парень нарисовался так: одна рука на плече у Кати, другая в кармане джинсов. Шаг широкий. Катя за его шагом не успевала и почти бежала следом, он как будто за шкуру ее тащил. Подтащил к подворотне. Поставил. Наклонился.

— Кто это? — спросил не глядя.

Ершик топтался поодаль в тени.

— Ершик.

— Он тебе кто?

— Никто.

— Не отсвечивай, Ершик, — посоветовал парень.

— Как это? — спросил срывающимся фальцетом Ершик.

— Не высовывайся, вот как, — и поцеловал Катю.

Встав на цыпочки, Катя тянулась к парню лицом, плечами, руками. Ершик не высовывался. Парень взял Катины волосы в горсть, потянул назад, поцеловал запрокинутое лицо, шею. Подумал, отпустил, развернул Катю, подтолкнул в спину:

— Ну, беги, малыш!

Катя побежала. Парень сунул руки в карманы, посвистел, покачался с носка на пятку и пошел прочь. Ершика он больше не замечал.

На следующий день после уроков Ершик выполз из-за школьного крыльца. Катя стояла на ступеньках, поводя плечиком.

— Катя... что теперь будет?

— Ты о чем?

— Ну... мне тебя больше не провожать?

— Почему? — Она смотрела не понимая. Летели черные волосы. Косил зеленый глаз.

— У тебя же теперь этот...

— Ах, Ершик! — пропела она. И еще два раза: — Ершик, Ершик! — и провела тыльной стороной руки по его щеке. — Ничего ты, Ершик, не понимаешь! Я его лю-блю! Лю-блю! А ты — совсем другое дело. Кстати, мама просила молока и хлеба. Зайдешь?

Она полезла за деньгами, но он уже выгребал из кармана мелочь и махал у нее перед

лицом рукой — не надо, не надо, не надо!

— Так все по-прежнему? — крикнул на бегу.

— Конечно!

Парень провожал Катю не часто. Раз в неделю, по выходным. Подводил к подворотне, целовал, подталкивал в спину, уходил, насвистывая. Ершик отклеивался от стены, шел за Катей до подъезда. Однажды она вернулась одна. Он увидел ее издали и не узнал. Крошечная сторбленная фигурка шла, загребая землю носками туфель. Подошла, встала под фонарем, отбросив на стену огромную сторбленную тень.

— Вот так вот, Ершик, — сказала фигурка Катиним голосом и заплакала.

— Хочешь, теперь я буду тебя целовать? — спросил он.

Катя всхлипнула, высморкалась, повела плечиком и улыбнулась.

Когда Катя решила поступать в педагогический, Ершик пошел вместе с ней. Все было как раньше, разве что Катя остриглась и теперь штриховала глаза еще гуще — французской тушью в длинном фиолетовом флакончике. А челку оставила. Значит, сама Катя тоже осталась прежней. В институте они все время были вместе. На лекциях, в читалке, в столовой, на картошке, в спортзале. На вечеринки тоже ходили вместе. Только Ершик был не с Катей, а при ней. И все это знали. Когда входили в зал, Катя легко отделялась от Ершика, как шлюпка от корабля-тяжеловеса, и устремлялась вперед, раздвигая толпу острыми локотками. Кто-то ее там, в толпе, подхватывал, обнимал, кружил. И она подхватывалась, обнималась, кружилась. Ершик стоял у стены, сцепив за спиной руки, и смотрел вперед требовательным немигающим взглядом, как будто нащупывал глазами свой блуждающий огонек. От жары конопущки на его лице загорались, и весь он пылал красным пожарным светом. Катя выскользывала из толпы, обмахивалась ладошкой, тянула за собой нового кавалера. Проходя мимо Ершика, легонько касалась его рукой — мол, пошли, Ершик, нечего здесь больше делать. И он шел.

Катини кавалеры делились на три категории. Так Ершик определил для себя. Одни — приличные. Эти провожали Катю до подворотни, целовали в щечку, а то и вовсе пожимали руку и сдавали Ершику с рук на руки. Вторые — прилипалы. Эти тянули ее в подъезд, прижимали к стенке, шумно дышали, лезли под юбку. Катя хохотала, отбивалась, бормотала: «Да ну тебя, дурак, пусти!» Наконец вырывалась и убегала. Были третьи. Самые страшные. Их Катя брала за руку и вела вверх по лестнице, домой. Ершик оставался внизу, в подъезде. Садился на батарею. Ждал. Батарея была горячая и ребристая. Ершику на ней не сиделось. Он вскакивал, выбегал на улицу, кидал в лицо снег, возвращался обратно. Батарея прожигала насквозь. Однажды он принес с собой старое ватное одеяло. Постелил на батарею, лег и уснул. Проснулся от стука двери. Катя с кавалером спускались по лестнице вниз. Сквозь разводы на пыльном окне падал солнечный луч. Ершик понял, что наступило утро.

— А, Ершик! — сказала Катя, и из ее глаз, как от бенгальского огня, посыпались зеленые искры. — Молодец, что дождался. Ты на первую пару пойдешь?

Он кивнул.

— Скажи там, что я заболела, — и потянула кавалера обратно.

Когда они закончили институт, Ершик пошел работать в школу учителем русского и литературы. А Катя никуда не пошла. Потому что замуж вышла. И родилась у нее дочка.

Муж Кате достался совсем никудышный. Не то чтобы она сама так считала, но по всему

выходило, что нукудышный. Звали его Гогой, но Катя называла его на грузинский лад — Гоги.

— Огонь девка! — говорил Гоги, шлепая Катю пониже спины. — Ты там пойдй сообрази.

Катя шла соображать. Гоги поворачивался к Ершику, щурил круглый совиный глаз.

— Ну, ты-то знаешь.

Ершик пожимал плечами.

— Да брось! Правда не знаешь? Ну ты даешь, братец! Да-а, жаль, что так получилось.

Ершик не знал, что у них там такое получилось, чего жаль Гоги, но кивал сочувственно.

В день свадьбы он явился с утра пораньше — вдруг что понадобится, а его нет. Катя выскочила в расстегнутом платье, с белой тряпкой в руках. Подскочила к зеркалу, стала прилаживать тряпку к голове.

— Пойди, пойдй... — бормотала Катя.

Ершик хотел выйти, но Катя замычала что-то невнятное, замахала рукой.

— Да стой ты! Пойди цветы купи! Гоги спит, а невеста без цветов, сам понимаешь.

— Я купил, — сказал Ершик и протянул Кате букетик ландышей.

— Господи, Ершик! Розы купи! Белые розы!

Ершик побежал за розами. Потом за такси. Потом за бабушкой на Казанский вокзал. Потом за шампанским. Потом за хлебом. Потом гости разошлись. Бабушку положили в гостиной. Гоги отнесли в спальню. Ершик налил Кате чаю.

— Ты его любишь?

— Смешной ты, Ершик. Любишь — не любишь. У нас ребенок будет.

Ребенок был похож на клюквенное мороженое. Что-то серо-буро-малиновое, сбитое в маленький сморщенный брикетик. Ершик приподнял краешек одеяла, посмотрел в белесые младенческие глазки и наклонился, чтобы лизнуть фруктовый лобик.

— С ума сошел! — сказала Катя. — Бактерии.

Ребенка звали Аленушка.

Выращивать Аленушку Ершик начал месяцев за шесть до ее рождения. После уроков ураганом проносился по магазинам, сметал все фрукты и соки, прибегал к Кате, грел ей обед.

— Ты опять не съела ни одного банана! — говорил страшным голосом, появляясь на пороге комнаты с гроздьё подгнивших бананов.

— Только не падай в обморок! — советовала Катя.

Потом Катю засовывали в старое мамино пальто и вели на бульвар. На бульваре сначала водили по дорожкам, потом сажали на скамейку, чистили апельсин, вкладывали по дольке в ладошку. Катя ела апельсин охотно. А все остальное не ела совсем. Тяжело переносила беременность. За месяц до родов она почти перестала выходить, лежала на вытертом кожаном диване, закутавшись в пуховый платок, смотрела на ледяные разводы на стеклах. Ершик сидел за круглым обеденным столом, покрытым плюшевой бахромчатой скатертью, и проверял тетрадки. Когда приходил с работы Гоги, Ершик аккуратно складывал тетрадки, разогревал ужин и уходил домой. Накануне родов — как чувствовал! — упросил Катю поставить ему в гостиной раскладушку.

В «скорую помощь» его брать не хотели. Говорили — не положено. Но он отбилса от санитаров, примостил длинные ноги под Катиными носилками и стал для нее дышать.

— Глубже! — говорила врачиха. — Глубже дыши, дура!

И Ершик дышал. Катя лежала совершенно синяя. Ему казалось — ледяная. «Если машину тряхнет, она рассыпется», — подумал он, взял ее за руку и стал дышать в ладонь.

— Если что, звони, — сказал Гоги, закрывая за ним дверцу. — Я очень волнуюсь.

Но звонить было неоткуда. В приемном покое телефона не было, а к своему дежурная не пускала. Катя рожала долго. Ночь прошла, и день прошел, а она все рожала. Ершик сидел в приемном покое и тихонько поскуливал.

— Экий ты, папаша, неугомонный, — сказала дежурная на второй вечер, вынося ему чашку жидкого чая.

— Папаша? — встрепенулся Ершик. — Значит...

— Значит, значит. Дочка у тебя. Три двести.

— Три двести — это что?

— Килограммов это, вот что. Шел бы ты домой, а то самого придется госпитализировать.

Встречать Катю из роддома он отправился в новом сером костюме, белой рубашке и темно-сером галстуке. По дороге купил пять гвоздик. А пакет с розовым атласным одеяльцем он еще утром передал. Катя была совсем прозрачная и еще немножко синеватая, и Ершик опять испугался, как бы она не споткнулась и не разбилась прямо здесь, на кафельном полу. Следом за ней нянечка несла розовый сверток, перевязанный лентами, как почтовая посылка — крест-накрест.

— Вот, принимай, папаша! — пропела нянечка и сунула ему посылку.

— Да я не... — начал Ершик, но Катя неожиданно резко развернула его и подтолкнула к выходу.

Так ребенок Аленушка оказался у него на руках.

Дома их ждал Гоги. Шумел, хохотал, хлопал себя руками по бокам, кричал: «Ну, мать! Ну!» Потом пришли гости. Катя покраснелась, бегала из комнаты в кухню, строгала бутерброды, тихонько заглядывала в спальню, где сидел Ершик с ребенком Аленушкой, на цыпочках заводила гостей, отворачивала край атласного одеяльца.

— Ну как? — кричал Гоги из гостиной. — Мое дите?

— Твое, твое, — отвечала Катя и закрывала дверь.

А молока у нее не было. Совсем. Она сначала поплакала, а потом ничего, успокоилась и даже говорила, что искусственное вскармливание лучше — мало ли какую гадость она съест, а тут все проверено, продезинфицировано и ребенку никакого вреда. Ершик приходил в семь тридцать, брал бутылочки, бежал на молочную кухню, возвращался, мчался на уроки. После уроков был час гуляния. Ребенка Аленушку заворачивали в атласное одеяльце, клали в коляску и везли на улицу. По дороге Ершик заходил в магазины, а Катя ждала его у входа. После гуляния коляску вместе с Аленушкой поднимали на руках домой и начинался час кормления. Пока Катя разогревала бутылочки, Ершик замачивал пеленки. Он наострился стирать так, чтобы одним глазом глядеть в ванну, а другим — на табуретку. На табуретке у него обычно лежала газета, иногда конспект с завтрашним уроком. А тетрадки он у Кати не проверял. Не успевал.

Домой он возвращался поздно. Домашние уже спали. В большой комнате — Сашка с женой. В спальне — мать. Отец давно с ними не жил. Однажды позвонил, как обычно, вечером, долго говорил с матерью по телефону, и больше Ершик его не видел. Как-то услышал — мать рассказывала подруге, — что отец, оказывается, заходил, взял свои вещи и

ушел, «даже слова детям не сказал!». После того как отца в их жизни не стало, оказалось, что в одной квартире живут три семьи. Бывает так — человека вроде и не видно почти, а исчез, и все развалилось. У трех семей — три полки в холодильнике, три сахарницы на столе, три стаканчика для зубных щеток на полочке в ванной. Ершик заходит в ванную, моет руки своим мылом, перемещается на кухню, ставит чайник на газ (чайник общий, три чайника в пятиметровой кухне не помещаются), достает хлеб из своего пакета, масло со своей полки и раскладывает на кухонном столе тетрадки. Проверив тетрадки, кладет их в портфель, складывает кухонный стол, а раскладушку, наоборот, расставляет. Заводит будильник на полседьмого и засыпает.

Гоги исчез внезапно. Собственно, так же внезапно, как и появился. Вечером сказал Кате: «За сигаретами выйду». И вышел. В тапочках. Через год от Гоги пришло письмо, где он давал свое согласие на развод. Где он весь этот год хоронился, Катя не знала. А куда собирается, об этом он не писал. Катя прочла его письмо холодно — все уже было пережито, переплакано и передумано. В милицию она заявлений не подавала. Знала внутренним знанием, что с Гоги все в порядке, и даже очень в порядке. «Козел!» — цедила сквозь зубы, но жалости к себе не испытывала и брошенной женой себя не считала.

— Проживем! — кидала беспечно. — Правда, Ершик?

— Правда, — отвечал Ершик.

— И ребенка вырастим, — говорила уверенно. — Правда, Ершик?

— Правда, — отвечал Ершик.

— А я еще замуж выйду, — тянула мечтательно. — Правда, Ершик?

— Правда. За кого?

— Ну мало ли. Народу много.

— Много, — соглашался Ершик.

В то время Ершик готовил Аленушку в первый класс. Она уже умела складывать и вычитать, а палочки с крючками выводила — просто загляденье. Сидели они обычно в уголке старого кожаного дивана. Ершик — привалившись спиной к валику, а Аленушка — к нему. В руках Ершик держал картонку, на картонке — листок в косую линейку. Наклон старался держать правильный — как на парте. Аленушка высовывала толстый розовый язык, упиралась им в теку и начинала писать. Каждая буква сопровождалась музыкальным дивертисментом. «У-у-у!» — глубоким басом гудела Аленушка, вывода букву «у». «О-о-о!» — переходила на колоратуру. «Р-р-р!» — как будто катала во рту пластмассовый шарик. Читать она начала рано, ей еще пяти не было. Ершик помнил тот день. Аленушка лежала со свинкой. Утром Ершик заскочил в поликлинику, к своему участковому, выпросил бюллетень на неделю, забежал за молоком, по дороге прихватил с лотка «Денискины рассказы». «Рановато, — подумал. — Ну да ничего, пусть будет». Катя была недовольна, нервничала. Она уже год как работала в роно и даже занимала там какую-то маленькую должность — вроде завсектором. Опаздывать ей было никак нельзя. Ершик бросил сумки, принял ценные указания и пошел к Аленушке.

— Ер-р-ршик, — сказала Аленушка, раскатывая букву «р». — Что пр-р-ринес?

— Вот. — Ершик положил ей на кровать «Денискины рассказы».

Аленушка попыталась повернуть голову, но не вышло. Поскребла пальцами компресс, но тот держался крепко. Взяла книгу, раскрыла, скосила зеленый глаз, громко и внятно произнесла:

— «Пожар-р-р во флигеле, или Подвиг во льдах».

Ершик остолбенел. Аленушка посмотрела на него хитро из-под прямой черной челки и повела плечиком.

Развели Катю быстро. Гоги какими-то хитрыми путями все же удалось найти и даже отсудить алименты. Алименты были крошечные — слезы, а не алименты. Катя подозревала, что Гоги крутит совсем другие деньги, но сделать ничего не могла. Через полгода после развода она вышла замуж. Много народу не нашлось, однако один сыскался.

Новый Катин муж был выдающимся человеком, особенно выдающимися были черты лица и некоторые части тела. Нос у него был выдающийся, голос, живот. Звали его Валериан Аристархович, и он настоятельно просил Катю, которая сунулась было к нему с каким-то чахлым Лериком, никаких уменьшительных имен и домашних кличек ему не придумывать. Так она его и звала: «Валериан Аристархович». Возраст Валериан Аристархович имел солидный, должность приличную. Из-за этой должности Кате пришлось уйти с работы. Валериан Аристархович полагал, что жена большого начальника должна сидеть дома. Въехал он не один, а с обстановкой. Обстановка тоже была солидной: горки красного дерева, спальный гарнитур карельской березы, плюшевая мягкая мебель. Катя протирала мебель специальными тряпочками и жидкостями. Для каждого сорта дерева предназначалась своя тряпочка и своя жидкость. Валериан Аристархович считал, что жена должна сама вести хозяйство, и неукоснительно следил за количеством израсходованных средств и качеством продуктов. За тряпочками тоже следил. Перед сном Катя давала ему отчет: что, почему и в каких количествах куплено. Стягивая носки с белых отечных ног, Валериан Аристархович слушал доклад, кивал, потом брал Катину расходную книжку и, если бывал доволен, ставил внизу страницы плюс, а если нет — минус. Минус означал, что в своих личных нуждах Катя будет урезана. У Валериана Аристарховича еще со времен первой жены была разработана подробная система урезаний и поощрений, в которой Катя так и не разобралась. А Аленушке взяли няню.

Свадьбу справляли солидно, в хорошем ресторане. С Катиной стороны был Ершик и мать, которая давно уже — со времен Гоги — жила круглый год на даче. После свадьбы Катя отозвала Ершика в сторонку.

— Ты вот что, Ершик, — прошептала она, оглядываясь на Валериана Аристарховича, который рассаживал гостей по такси. — Ты к нам больше не ходи. Я тебе сама позвоню, когда можно будет. Валериан Аристархович много народу не любит. Ему отдыхать надо. И вообще, что подумают...

С тех пор Катя звонила Ершику раз в неделю и церемонно приглашала на воскресный обед. Обедали в большой комнате, за круглым столом, под абажуром. Для каждой перемены блюд полагался новый прибор. Катя за столом почти не сидела. Как взведенный курок, готова была каждую минуту вскочить, убежать на кухню, принести, унести, подтереть. Неотрывно следила за выражением лица Валериана Аристарховича — вдруг бровью поведет, вдруг носом покрутит. Она его понимала не с полуслова — с полужеста. Был у них свой особенный язык, на котором Валериан Аристархович отдавал указания. Поведет рукой — пора нести второе. Постучит ладонью по столу — немедленно устранить непорядок! Побарабанит пальцами — кто-то сказал что-то не то. У Кати делалось испуганное лицо, взгляд становился напряженным.

За столом Валериан Аристархович вел беседу.

— Ну, — говорил он. — Как там, в средней школе?

— Ничего, — отвечал Ершик.

— Да уж, — говорил Валериан Аристархович. — Ничего. Ничего хорошего, вот что я вам скажу, молодой человек. А молодежь? Какие умонастроения?

— Никаких, — отвечал Ершик.

— Вот именно, — говорил Валериан Аристархович. — Никаких. А должны бы быть!

— Должны, — соглашался Ершик.

— Вот Катерина зовет вас, кажется... — Валериан Аристархович мучительно морщился. — Кажется... ммм... Пескариком?

— Ершиком.

— А почему, позвольте спросить?

Ершик виновато улыбался и легонько похлопывал себя по рыжему жесткому ежику волос.

— Нехорошо это, Сергей Александрович. Очень плохо. Все-таки не мальчик уже. Педагог. Что о вас ученики подумают?

Ершик пожимал плечами. Катя под столом наступала ему на ногу: не возражай! Он не возражал, но ей все равно казалось, что Валериан Аристархович недоволен.

С годами Катя не то чтобы подурнела, а как-то огрубела, будто на прежнюю Катю натянули новую кожу не очень тщательной выделки. Она снова отрастила волосы, но забирала их теперь вверх и закалывала на макушке пучком, похожим на набитую капроновую авоську. Глаза больше не штриховала, а подводила жирными черными линиями. И тщательно запудривала морщинки вокруг глаз. Иногда под глазами у нее образовывалось два белых пятна, как будто в муке извозилась. Она давно уже была не Катей, а Екатериной Андреевной, но пока об этом не знала. А Ершик знал. Потому что сам был Сергеем Александровичем с двадцати двух лет — по школе. Но этого Катя тоже не знала.

Аленушку он почти не видел. Во время воскресных обедов она влетала в комнату, плюхалась на краешек стула, быстро плотала суп, хватала кусок хлеба, приклепывала сверху котлетой и уносилась. Валериан Аристархович укоризненно качал головой. Катя выскакивала за Аленушкой в прихожую.

— А компот! Компот!

— Сама выпей! — кричала Аленушка, скатываясь по лестнице.

После обеда Валериан Аристархович шел отдыхать, а Катя с Ершиком мыть посуду.

— Ты его любишь?

— Смешной ты, Ершик! Любишь — не любишь! У нас...

— Ребенок будет?

— С ума сошел? Какой ребенок? У нас дом, семья, общность интересов. Вот в Чехословакию летом собираемся. Аленку надо в институт определять. Ты что так смотришь? Валериана Аристарховича, между прочим, очень на работе уважают. Это тоже надо учитывать.

«Интересно, — думал Ершик. — А меня на работе уважают?»

Определять Аленушку решили на филфак. Помочь с определением Ершик не мог, но взял на себя роль репетитора. Высунув язык и упершись им в щеку, Аленушка писала под диктовку длинные пассажи, бормотала что-то под нос.

— Ты что там бормочешь?

— Слова повторяю.

«У-у-у!» — вспоминал Ершик.

— Эй, Ершик, ты что, спишь? Очнись! Ты как думаешь, что было бы, если бы Онегин и Татьяна поженились?

— Только не спрашивай об этом у приемной комиссии! — пугался Ершик.

— Ладно, не буду. А сам-то ты как думаешь?

— Думаю, ничего хорошего бы не было.

— Почему?

— Слишком разные.

— Как вы с мамой? Вы поэтому не поженились?

— Мы не поженились, потому что твоя мама любила твоего папу.

— А потом?

— Потом Валериана Аристарховича.

— Ой, не смей меня, Ершик! Вы не поженились, потому что вы неправильные.

— Как это?

— Мама первая, а ты второй. А надо наоборот. Ты со всеми был второй, Ершик?

— Ни с кем я не второй!

— Ни с кем, потому что не с кем?

В институт Аленушка поступила с первого раза. В конце первого курса вышла замуж за дипломника, перевелась на заочный и уехала в какую-то тмутаракань. В освободившейся комнате Катя устроила для Валериана Аристарховича кабинет. Перенесла старый кожаный диван, купила в антикварном письменный стол с резными колоннами. За столом Валериан Аристархович не сидел, а на диване лежал охотно. На этом диване он и умер, пожив в своем новом кабинете совсем немножко — меньше года. Катя поплакала, сшила черное платье, запудрила морщинки под глазами, подобрала волосы и пошла устраиваться на работу в роно. Завсектором ее, конечно, не взяли, но место методиста нашлось. Теперь ей снова нельзя было опаздывать. Начальница Кате досталась — жуть! Катя звала ее Кошелкой. У Кошелки был зад и две авоськи. Этим задом она плотно заполнила Катину жизнь. Катя говорила о Кошелке двадцать четыре часа в сутки. Подробно рассказывала, как та была одета, как не пустила Зиночку к врачу, как намекнула Калерии Палне, что, мол, пора бы и пенсию оформлять, а ей, Кате, указала на курицу, проживающую на окне в полиэтиленовом пакете.

— «Он с именем этим ложится и с именем этим встает», — усмеялся Ершик.

Катя надувалась и замолкала, но через полчаса заводила старую песню.

— Ты посмотри, посмотри! — говорила она, раскладывая на кухонном столе листы, плотно исписанные мелким ровным почерком. — Вот я пишу методичку по детскому празднику. Где тут... Ага. Слушай. Пункт пятый. Зайцы. Дети выходят на середину комнаты, образуя круг. Начинают осуществлять подскоки на двух лапах. Прыг-скок, прыг-скок. В скобках — восемь раз. Тебе все понятно?

— Мне все понятно, — отвечал Ершик.

— А ей непонятно! Она слов не понимает! Может, мне в гороно сходить, а?

— Не надо. Напиши «скачут на двух ногах», и дело с концом.

— Так они же зайцы!

Начав необъявленную войну, Катя не заметила, как стала жить по правилам противника. Перестала подводить глаза, отпустила юбку ниже колен и вместо крепкого чая начала пить слабенький растворимый кофе.

— Ты что? На кофе перешла? — спросил Ершик, заметив на столе круглую металлическую банку.

— А! — махнула Катя рукой. — Кошелка пьет и нас приучила. Выключи! Немедленно выключи эту гадость! — глядя на экран телевизора и дергая Ершика за рукав, с птичьим испугом клекотала она.

— Зачем? Хорошее кино.

— Хорошее? Да там один секс! Это же верх неприличия!

— Это кто так говорит? Кошелка?

— Я, между прочим, работаю в отделе народного образования, чтоб ты знал! И прекрасно понимаю, что прилично, а что неприлично! — И Катя захлопывала дверь в кухню.

В голосе у нее все чаще появлялись сварливые интонации, она раздражалась по пустякам, гремела на кухне кастрюлями, и на скулах ее выступали коричневые пятна. Лицо стало широким и почти квадратным. Длинные глаза больше не убегали за его пределы, а группировались вокруг носа. Когда Ершик глядел на Катину лицо вообще, то глаза терял и каждый раз боялся, что больше не найдет. Тогда он концентрировался на переносице, отыскивал два бутылочных осколка и был счастлив. Переводил взгляд на зеркало. В зеркале сидел длинный тощий субъект с жестким седым ежиком и рыжими пуговицами в красной оправе бессонницы. Катя многозначительно смотрела на часы:

— Девять. Тебе пора.

Ершик натягивал ботинки. Однажды попытался было возникнуть, что, мол, куда пора, детское время! Но Катя резко его прервала:

— А ты подумал, что обо мне соседи будут говорить?

— Кать, я сюда тридцать лет хожу.

— Вот именно! — И она вытолкала его за дверь.

Ершик спускался вниз и вспоминал кавалеров. Проходя мимо батареи, коснулся ее рукой. Батарея была горячая и ребристая.

Теперь Катя носила войлочные ботинки на резиновой подошве — боялась гололеда. Ершик, как обычно, ждал ее у подворотни, пряча нос в воротник пальто. Брал сумку и, поддерживая под локоть, вел в подъезд. Катя поднималась на свой третий этаж долго, часто останавливаясь и переводя дух. На последний пролет сил у нее уже не хватало, и Ершик иногда брал ее на руки.

— Я, наверное, умру скоро, — говорила она и подробно рассказывала о спазмах в груди.

Она вообще стала говорить подробно и мелко — о том, как ночью спала, сколько раз вставала и зачем, как в боку у нее закололо, а потом отдалось в спину, вот тут, у поясницы, нет, чуть-чуть левее, господи, какой же ты бестолковый! Разговоры ее были похожи на хлебные крошки — вот одну склевала, вот еще одну, и ничего не осталось, да вроде и не было ничего. Часто плакала от жалости к себе, сморщив лоб и подвывая высоким бабьим голосом.

— Ты что! — пугался Ершик и бросался за пуховым платком. — Никуда ты не умрешь! — бормотал, кутая ей ноги. — На вот, выпей!

Катя пила чай, и лицо ее постепенно розовело.

— Никто мне не пишет! И не звонит! И внуков не рождает! — спокойно говорила Катя, имея в виду бесстыжую Аленку. И макала в чай сухарик.

Ершик глядел на красное дерево, запорошенное пылью, брал тряпочку, флакончик с

жидкостью и начинал протирать полировку.

В конце зимы решили, что надо бы все-таки сходить к врачу. Врач Катю послушал, постучал, помял и отправил на рентген с кардиограммой.

— Да вы, Екатерина Андреевна, здоровей нас всех! — говорил он, разглядывая снимки в просвет окна. — Ничего у вас нет, попейте успокоительное, и все будет в порядке.

Катя вышла из кабинета. Ершик остался.

— У нее правда все в порядке?

— Правда, правда. Истеричка немножко, а так все хорошо. Вы ей кто? Муж?

— Друг.

— Ну вот видите, и друг есть.

— Я не в том смысле...

— А надо бы в том. Ей сколько лет? Пятьдесят? Молодая еще женщина!

На 7 марта Ершик взял билеты в театр. Катя вдруг как-то загорелась, будто старый фитиль перестал коптить, заштриховала глаза, в театре поводила плечиком, обтянутым зеленым шелком, ловила мужские взгляды. Волосы ее, еще совсем почти черные, вдруг выскочили из шпилек и потекли вниз по спине. Катя встряхнула головой и засмеялась.

Домой шли медленно.

— Знаешь что, — сказал Ершик. — Давай поженимся.

— Зачем? — спросила Катя.

— Будем жить вместе.

— Мы и так вместе.

— Это я с тобой вместе.

— Какая разница? Давай я лучше завтра пирог испеку. С грибами. Приходи к обеду.

Утром Катя встала поздно, долго плескалась в душе, потом вышла на кухню. Повертела в руках круглую банку с растворимым кофе и с наслаждением зашвырнула в помойное ведро. Заварила чай. Пирог получился такой, что Катя не удержалась — отрезала край и съела прямо тут, у плиты, перебрасывая кусок из ладошки в ладошку, дуя на пальцы и высовывая обожженный язык. Потом завернулась в пуховый платок и легла на кожаный диван в кабинете Валериана Аристарховича. Проснулась, когда часы пробили девять. Потянулась, закинув руки за голову, вспомнила про пирог. «Приходил, наверное, — это уже о Ершике. — А я, дура, проспала. Надо ему ключи дать. Ну ничего, завтра придет, дам».

Но завтра Ершик не пришел. И послезавтра тоже. Десятого Катя взяла телефон, сняла трубку, положила обратно на рычаг, полезла за старой записной книжкой. Телефон Ершика она когда-то помнила — во времена воскресных обедов с Валерианом Аристарховичем, но последнее время, помилуйте, зачем ему звонить, он и так тут. Трубку сняла мать.

— Ершика... Простите, Сергея будьте добры!

— Кто его спрашивает? — Голос у матери был тренькающий, как у расстроенной балалайки.

— Катя.

— А он умер, Катя. Седьмого вечером умер. Сегодня хоронили.

Катя положила трубку, взяла в руки карандаш и, ломая грифель, зачеркнула фамилию и телефон Ершика толстой спотыкающейся чертой. Потом подумала и вырвала страницу из записной книжки. Стянула с плеч пуховый платок, подошла к шкафу карельской березы. Увидев пятнышко, подышала на него, потерла пальцем, подняла платок — повесить зеркало.

Из зеркала на нее смотрела старость.

БОЛЬШОЙ МАЛЬЧИК

Первым делом следовало завезти холодильник. Цепочка выстраивалась такая: у младшего брата была жена, а у жены родители, чудные, между прочим, люди, раритеты. Никому ни в чем не могли отказать. У чудных людей был лишний холодильник, тоже раритет. Пузатый допотопный «ЗИЛ» с порядковым номером 007 звался, разумеется, Джеймсом Бондом и стоял в комнате, набитый консервными банками. То есть для чудных людей он, может, был и не совсем лишним, но, вы же понимаете, одно дело — когда нелишний, но второе, и совсем другое, — когда вообще ни одного. К тому же они действительно никому ни в чем не могли отказать.

— Так вы правда переезжаете? — радостно спросила теща младшего брата, когда Марк позвонил по поводу холодильника. — И что, хорошая комната?

Комната, если честно, была отвратительная. Метров девять, вытянутых вдоль унылой масляной стены мышинного цвета. Комната, похожая на дистрофика: профиль есть, а фаса не наблюдается. Но ему-то — какая разница? Ему главное, что он один. И с холодильником. Этот холодильник стал уже навязчивой идеей. Ему казалось, что, если будет холодильник, все каким-то чудесным образом повернется и пойдет по другой колее. Без кровати можно жить. Брось на пол матрас и спи. Без стола можно. Поставь на подоконник тарелку и ешь. Вот без холодильника нельзя. Холодильник —местилище жизненных сил. Куда поместить кусок колбасы в сорокаградусную жару? За окно, пожалуй, не вывесишь. За батарею тоже не запихнешь. Нет, без холодильника начинать новую жизнь решительно невозможно.

Когда холодильник привезли, он велел поставить его посреди комнаты. Сел на пол и стал на него смотреть. «Буду жить!» — думал.

Любовь, конечно, была. Нет, правда. Он точно помнил — была. Помнил даже, какого цвета. И на ощупь помнил. Сливочная, мягкая, с рыжеватыми кудельками, с носиком курносом, с милыми редкими конопушками. Он тогда не знал, что любовь бывает разная. Он думал, она всегда такая. Еще не знал, что любовь всегда одна, что две в него не помещаются, что придется их чередовать — иногда встык, чаще с пробелами, а внахлест не получится. Даже не старайся. Любовь звали Любочкой. Когда Любочка выходила из заводской проходной и шла к нему через улицу, кудельки прыгали в такт шагам, как резиновые мячики. Ситцевое платье в мелкий розовый цветочек так плотно обтягивало грудь, что вызывало у него, глядящего издали, легкий приступ удушья. Не потому, что грудь такая, просто казалось — сейчас она выдохнет, а вдохнуть не сможет. Некуда. Он за Любочку первое время вообще очень боялся. За коленки, например. Коленки были абсолютно круглые, будто циркулем прочерченные. По этой причине Любочка ими очень гордилась и даже в лютый мороз держала открытыми. Юбки у нее всегда были чуть короче, чем надо, а чулки — самые дорогие, по два двадцать пара. Рейтузы она не признавала, и зимой коленки становились похожи на две красные детские щечки. Он смотрел и умилялся. В этом умилении было все: желание погладить, укутать, поцеловать, отругать за то, что так безалаберно к себе относится. Потому что еще чуть-чуть, градуса два-три, — коленки возьмут и отвалятся. И с чем он тогда, скажите на милость, останется? А летом, конечно, дежурное ситцевое платье в мелкий розовый цветочек. Ее страсть к розовому, так шедшему к курносому носику и редким конопушкам, с годами не прошла. Он сначала не замечал. Потом увидел: сидит на кухне немолодая женщина в коротеньком розовом халатике и кудельках, коленки, как брыли у

породистой собаки, сползают вниз, посреди щек — пимпочка. Это его жена. Смешно.

Работали они вместе, но уходили всегда порознь. Весь завод знал, что он ждет ее на другой стороне улицы, но Любочка все равно стеснялась. Говорила:

— Ты образованный. Молодой специалист. У тебя родители. А я что? Я ничто.

Образование у него действительно было. Три месяца как из автодорожного. Красный диплом. Молодой специалист, и тут она права. Инженер. Родители тоже имелись. Не так чтобы сильно страшные, но Любочка все равно их боялась. Мать со своим библиотечным образованием уже лет десять как сидела дома. Брат-шалопай. Отец. Отец — это да, это отдельная статья. Отец, большой специалист закройного дела, еще Вертинскому на воротник бобра сажал. И разным крупным советским писателям тоже. От этих крупных писателей в доме остались книжки с автографами. Отдельных денег за своих бобров отец никогда ни с кого не брал, шил в рамках прейскуранта того маленького ателье, в котором трудился с послевоенных времен и в котором известные величины пользовались его исключительными услугами. А книжки — это да, это можно. Книжки заполняли несколько полок в шкафу, и куда их девать, что с ними делать, никто придумать не мог. Не читать же. Любочка ходила вдоль полки. Отец шел сзади, поджав узкие губы.

— Вот личный автограф писателя Соболева. Он у меня в 56-м году строил костюм. Замечательного качества шевиот. Очень известный писатель. Вы слышали?

— Слышала, — пищала Любочка, но всем было ясно, что ни о каком писателе Соболеве она слыхом не слыхивала и, как на него реагировать, не представляет.

Марк шел за отцом и понимал — катастрофа. То, что катастрофа, стало ясно сразу, как только Любочка появилась на пороге вся в свой розовый цветочек. Мать — умница, друг детства — сделала вид, что ничего не происходит. Увела Любочку на кухню, начала рассказывать про какое-то мясо в кляре. Но отец и туда проник.

— Что ж ты гостью у плиты держишь! Вы, Люба, в гостиную идите, располагайтесь. Там мы с вами и поговорим, — и посмотрел специальным взглядом.

После приглашения располагаться Любочка совсем оцепенела и на вопросы отца отвечала придушенным голосом. Нет, институт не кончала. И техникум тоже. Десятилетка. Отца нет, мать одна растила. Кассирша в продуктивном магазине. Да, зарабатывает неплохо, а живут в коммуналке, у них там комнатка двенадцать метров.

Отца все эти подробности занимали, как занимали любые подробности любой жизни. Он вообще подробности любил и сам со вкусом в мельчайших деталях рассказывал случаи, происшедшие с ним лет двадцать назад. Не в подробностях дело. Не в десятилетке. Не в коммуналке. Не в маме-кассирше. Отца такие мелочи смутить не могли. И вопросы он задавал дежурные, ненужные, неживые. Потому что сразу поставил диагноз — чужая. Не так он представлял невесту старшего сына. А чужих не любил. Любочка — простая душа, но все поняла. Когда шли к метро, вдруг расплакалась.

— Ты что? Что? — переполошился Марк. — Не понравились они тебе? Не понравились? Скажи!

— Мам-м-м-ма у тебя хоро-о-ошая!

— Значит, отец.

Любочка молчала, всхлипывала и жалась к нему.

— Ты — еврей, — сказала наконец.

— Ну да, — засмеялся он. — Я знаю.

— Не смейся. Я тебе не гожусь.

— А я тебе?

Любочка слабо улыбнулась и прижалась к нему плечом.

— Мне все равно, — прошептал он ей на ухо, но это была неправда.

Отец молча поджимал губы. В упрямстве у него дома соперников не было, и в этом деле они его тоже не переупрямили. Это потом он помягчел. Приезжал к ним раз в месяц, инспектировал хозяйство. Учил Любочку жизненным принципам.

— Кран течет. Надо водопроводчика вызвать.

— Уже вызвали.

— Вот тебе тетрабочка. — Он протягивал Любочке крошечный, в четвертушку тетрадного листа, блокнотик. В таких блокнотиках школьники обычно ведут словарь иностранных слов.

— Зачем?

— Запишешь, кто приходил, когда, что сделал. Имя, фамилия, число. А как иначе? А вдруг опять потечет? А кому претензии предъявлять? И пусть распишется. Слышишь? Пусть обязательно распишется!

Любочка кивала, тетрабочку брала, клала на видное место. Когда приходил водопроводчик, о том, что велено взять его на карандаш, забывала и весь день чувствовала себя виноватой.

Но все это было потом. Потому что на свадьбу отец так и не пришел. А свадьба получилась хорошая. Очень хорошая. Мама плакала. Теща-кассирша просидела весь вечер за столом, ни разу не встав и не сказав ни слова. Любочка была похожа на нее фотографически, как будто никакой отец там вообще не ночевал. В белом платье с короткой — по моде — пышной юбкой, с легкой газовой накидкой на плечах она была как лютик в хрустальной вазе. Отца она быстро простила. Почти сразу. Завела обычай — каждый день утром и вечером — звонить свекру и свекрови. Докладывала подробно: сколько, почему, что на обед, когда легли, с кем говорили, что у мамы. Марку, конечно, от этого большое облегчение выходило, но вот чего он понять не мог: как можно такое простить? Будто ничего и не было? Будто самый любящий свекр и самая послушная невестка души друг в друге не чают? Что это — Любочкина великая к нему, Марку, любовь, или незлобивость характера, или простота, которая не желает понимать очевидного, или жизненная мудрость? Наверное, и то, и другое, и третье. Много разных сложносочиненных свойств оказалось намешано в ситцевой Любочкиной душе. Отец — добрейшей души человек, всю жизнь как щитом прикрывавшийся строгостью и принципами, — после своего демарша чувствовал себя неловко, пакостно чувствовал, если честно. И с Любочкой был особенно ласков. Так и повелось: Любочка — лучшая жена, лучшая невестка, лучшая дочь. А всяких ненужных разговоров про еврейских родственников, уехавших в Америку и Израиль, про то, как в уездном детстве ходил в хедер, отец при ней никогда не заводил. То есть так-то он не стеснялся и всякие непонятные словечки на мертвом языке идиш подпускал в речь с большим удовольствием, но при Любочке — ни-ни. Не хотел подчеркивать ее чужеродность. Марк был ему за это благодарен. А Любочка, кажется, и не замечала ничего.

А жили очень хорошо. Ну просто очень. Сначала — в постройке барачного типа, но это не считается. Когда родилась Лялька, на заводе произошло какое-то движение, и однажды утром они неожиданно оказались втроем в двухкомнатной квартире. Не ближний свет. Но это уж как водится. Сначала по узенькой дорожке, протоптанной между деревьями, до

станции, потом на электричке полчаса до Комсомольской площади, минут двадцать на метро, а там автобусом до конечной — считай, до заводских ворот, очень удобно. Если грамотно рассчитать время и точно следовать расписанию, не больше полутора часов в одну сторону. А то и час двадцать. Через год Марк купил горбатый подержанный «Москвич», и жизнь потекла под колесами, как хорошо утрамбованное шоссе.

С рождением Ляльки Любочка перешла с первого лица единственного числа на первое лицо множественного. «Мы гуляли», «мы покушали», «мы плохо спали ночью», «у нас поносик», «нам завтра к врачу». А Марка стала звать «папочкой».

— Вот и папочка пришел! А мы картошечку сварили! У нас сегодня зубик режется!

При чужих тоже:

— Папочка, хлеба передай!

Марк дергался. Ему казалось, что этим своим «мы» она стирает себя как ластиком. И нет уже Любочки — только кормяще-производящая приставка к Лялке. Кормящей приставке не полагалось ни мыслей, ни чувств, ни желаний. Странно, что имя осталось. А что ей еще оставалось делать, кроме как пеленки стирать, попку мыть, зубки считать в слюнявом ротике? Хорошая мать. Но его это как-то не вдохновляло. А «папочку» он просто ненавидел. Какой он ей к черту папочка! Здоровый мужик, двадцать семь лет и — «папочка»! В этом «папочке» ему чудилось что-то бесполое, уничтожающее его молодость и мужскую самооценку. А он никаким придатком ни к кому быть не собирался. Однажды намекнул Любочке, что, мол, хорошо бы она звала его по имени, как раньше. Она кивнула, но через минуту он уже слышал, как она говорит кому-то по телефону:

— Сейчас у папочки спрошу. Может, и приедем.

Видимо, других слов у Любочки для него больше не было.

Когда Лялька подросла, Любочка снова перешла на первое лицо единственного числа, а «папочка» так и остался.

Денег он ей почти не давал. Когда она еще работала, жили на ее зарплату контролера ОТК. Потом — декрет. К декретным он выдавал строго отмеренное количество на питание и квартплату. Так еще отец поступал. Мать билась, экономила на своих женских штучках — хотя слово «штучки» к ней вовсе неприменимо, никаких «штучек» у нее отродясь не было, а женское было. Ощущение. Вот на этом ощущении она и экономила. В Любочке женского было меньше. Она сначала была матерью, потом хозяйкой, а на десерт — женой и любовницей. Винегрет резала — загляденье! Меленько-меленько, кусочек к кусочку, как он любил. Рыбку сама солила. В садово-огородный ландшафт родительской дачи вписалась так, будто выросла среди лука-порей и картофельных клумб — отцовской неизбывной гордости. Каждую пятницу они загружали в «москвичок» Ляльку с пеленками и сосками, в багажник — провиант и ехали на трудовую вахту. Любочка бралась за дело сразу. Ему иногда казалось, что, еще сидя в машине, она начинает делать руками странные движения, будто что-то полет или вскапывает. Август и сентябрь посвящались заготовкам. Любочка в своем стареньком ситцевом платье, с каждым годом все туже обтягивающем ее сливочную плоть, возвышалась над этим изобилием, как царица плодородия. Консервировали все — яблоки, сливы, черноплодку, клубнику, вишни, кабачки, чеснок, огурцы-помидоры, само собой. Даже груши-дички, которые в рот никто не мог взять, шли в дело, на компот, довольно, кстати, безвкусный. На банки наклеивались кусочки лейкопластыря с надписями, выполненными отцовским каллиграфическим почерком, по образу жизни ему мало приходилось писать, и оттого каждое написанное слово приобретало для него особую

ценность. «Сироп черноплодный. Сбор урожая 1972 года», — писал отец и потом, года через два, вытаскивая бутылку с сиропом перед очередным семейным праздником из холодного шкафа, сооруженного под кухонным окном, горделиво показывал собравшимся — вот, мол, два года, а как живая черноплодочка-то. Сейчас разбавим, и будет питье. Свое. Вкусное. Полезное. Такое, как нигде. Очень он любил эту черноплодную и прочую фруктово-овощную живность.

— В 72-м десять бутылок сиропа сделали. А в 71-м только семь, — вспоминала мать.

— А в этом? — вмешивался отец. — Нет, ты им скажи, скажи! Двенадцать! Двенадцать бутылок сиропа!

— А зачем вам двенадцать? — подавала голос жена младшего брата. Она хозяйства не вела и от заготовок дистанцировалась сразу, так что ее даже привлечь не пытались. В семье она числилась на правах внучки. — Вы же старое еще не выпили.

— Вам дадим, Марку с Любочкой, родителям твоим. Плохо? Нет, ты скажи, плохо?

В конце июля уезжали на Валдай. Вот куда уходили недоданные на хозяйство деньги. А байдарка? А палатка на шесть персон? А спальные мешки финские? А мангал? А покрышки для новой «Волги»? А рыболовные снасти? Крючки, лески, наживки? Спиннинг у него был лучший в компании. А в трехэтажном ящичке, разделенном на множество крошечных ячеек, лежали металлические рыбки всех цветов и размеров. По вечерам, открыв ящичек, Марк перебирал этих рыбок. Гладил пальцами, подносил к глазам, перекладывал из ячейки в ячейку. На металлических рыбок он ловил живую рыбу. Между прочим, было чем похвастать. Любочка эту рыбу солила, коптила, вялила, укладывала ровными слоями в переносной холодильник, а в Москве, на следующий день после приезда, везла на дачу, родителям. Однажды Марк услышал, как она говорила подружке:

— Нужна мне эта байдарка! Лучше бы стиральную машину купил.

— Что же ты ему не скажешь? — спрашивала подруга.

— Не-е-ет, — тянула Любочка. — Ты что, нельзя!

— Почему нельзя?

— Ему нужнее.

Лялька подрастала и становилась похожа на Любочку. Однажды отец принес ей шоколадку «Аленка». «Вот, — сказал, — смотри, какая девочка нарисована. На тебя похожа». С тех пор Лялька свято верила в то, что на шоколадке «Аленка» нарисована именно она.

— Шоколадка ты моя молочная! — смеялся Марк.

Лялька важно поводила рыженькой Любочкиной головкой, хлопала голубыми Любочкиными глазенками и перебирала передник молочной Любочкиной ручонкой. С годами она тоже стала сливочной. Только Любочка была мягкой, а Лялька — твердой. Как подмороженный кусочек масла, только что вынутый из холодильника.

Счастье их длилось долго. Ровно десять лет.

Сначала никто ничего не заметил. Потом пошли разговоры, но он о них не знал, да и не мог знать. Потому что знание еще не пришло. То самое — о самом себе, а не о разговорах. Дружок Витька как-то спросил:

— Ты чего туда ходишь?

— Куда? — удивился Марк.

— В контору.

Так на заводе называли дирекцию.

— А я хожу?

— Ты что, дурак? Весь завод знает.

— Что знает?

— Н-да... — Витька покрутил пальцем у виска и демонстративно вздохнул.

И цвет жизни. Цвет жизни, между прочим, менялся. Уходили пастельные тона, рыжина, солнечность, яркость куда-то уходила. Появлялось все больше темных пятен. Не мрачность, но сумрачность заливала жизнь, как черная тушь заливает белый лист бумаги. Получалось так, что раньше жизнь была одноцветной, а теперь разделилась на две части, никак между собой не связанные. Еще получался парадокс. Светлая часть жизни — такая простая, ясная, ситцевая — его отталкивала, а темная влекла, как влечет самоубийцу черный провал окна. Скучно ему было на свету, а в темноте кружилась голова. Ведь в темноте не знаешь, куда поставить ногу. Кажется, ступишь — и провалишься в яму со всеми своими потрохами.

А дела в дирекции всегда можно найти. Самые неотложные. Бумажку подписать. Узнать, не собираются ли давать премию. Выяснить, когда детей вывезут на дачу. Про премию можно, конечно, в бухгалтерии справиться. Про детей — в месткоме. Но ведь и в дирекции не возбраняется.

Нина сидела у окна. Темные гладкие волосы. Темные гладкие костюмы. Темные гладкие глаза. Глаза, ничего по поводу его, Марка, не выражающие. Говорили, что она полугрузинка, что полжизни прожила в каком-то горном захолустье, что вышла замуж «в Москву», что муж в конце концов сбежал, потому что жить с ней — все равно что целоваться со стенкой. Достоверно никто ничего не знал. Нина про себя не рассказывала. Других не расспрашивала. Дружб не заводила. Даже курила одна. Точно было известно, что не замужем. Так значилось в учетной карточке отдела кадров. Что имеется дочка, Танечка. Один раз она приводила ее на заводскую елку. Нина сидела у окна, но казалось, что стекло находилось не за ней, а перед ней. Вечерами она сливалась с густой, как похлебка, темнотой, и о ней забывали. Потом включали свет и с удивлением обнаруживали, что в комнате имеется еще один человек, о котором чуть было не начали сплетничать. Как только удержались? Нина была создана для сплетен. Казалось, она сама их провоцирует. Испытывает окружающих на прочность. Однако сама об этом не догадывалась.

А тут еще он. Приходил перед концом работы, вставал в дверях, смотрел на слившуюся с окном Нину — в то лето каждый день шли грозы и за окном с утра было темно, — на белые ладони, похожие на бумажные листки, на длинные белые пальцы, похожие на бумажную бахрому. Думал: «Если окно распахнется и ветер сдует пальцы на пол, они не упадут, сначала полетают немножко на сквозняке и пошелестят. Может, в крылья превратятся?»

В ту пятницу он ждал ее у проходной. Увидел знакомый зонтик. Подошел.

— Давайте я вас подвезу.

— Зачем?

— Ну... дождь... холодно...

— Спасибо. Не надо.

— Давайте, а?

Он чувствовал, что говорит как-то не так — с какой-то просительной, даже умоляющей интонацией, так ему не свойственной, но поделать ничего не мог.

— Ну хорошо. — Она пожала плечами. — Подвезите.

Ехали молча. Он уже знал, где она живет, поэтому ни о чем не спрашивал. На

перекрестке она тронула его за рукав:

— Вот здесь остановите. Дальше я сама.

— Так далеко же. Я лучше к подъезду. Я знаю, тут есть проезд, — засуетился он, выдавая себя с головой.

— Не надо. Мало ли что...

Это «мало ли что...» он потом слышал каждый день. Вдруг соседи увидят, или на работе узнают, или... мало ли что.

— Пойдем в кино?

— Ой, нет! Мало ли что!

— Что?

— Ну, ты сам подумай. Последствия... а если...

У нее всегда было маленькое «а если...». Любая житейская ситуация — поход в кино, поездка за город, визит к врачу или — не дай бог! — смена работы — обрастала массой привходящих обстоятельств. Она просчитывала варианты, предугадывала последствия и всегда находила причины. Причины невозможности. Их встречи сопровождалась массой подготовительных маневров. Оставить Танечку в детском саду. Позвонить маме, чтобы сама не звонила. Выйти из машины за квартал от дома. Первой взбежать по лестнице и махать ему сверху рукой, мол, давай, проход открыт, только — тссс! тихо! И прикладывать пальцы к губам.

В первый вечер, когда она выходила из машины, он вдруг схватил ее за руку:

— Я вас завтра буду ждать. У проходной.

— Не надо!

Но назавтра он стоял на том же месте, где десять лет назад ждал Любочку. Нина вышла последней. Конторские дамы уже давно разошлись. Увидела его, поспешно раскрыла зонтик и побежала вдоль забора, смешно подняв одно плечо, будто этим плечом хотела себя отгородить. Он дал два гудка, но она еще больше ссутулилась, еще быстрее застучала каблучками, словно, спотыкаясь, играла какую-то неумелую неловкую гамму. Он догнал ее у поворота, выскочил из машины, запихнул в салон. Больше она от него не бегала.

Она определила ему понедельник, среду и пятницу. Сидела у окна, сливаясь с темнотой, чуть наклонив голову, так что освещенной оказывалась только щека. Улыбалась одной стороной лица. От этого казалось, что на лицо надета асимметричная маска. Одна половина — с опущенным ртом — в тени. Другая — с приподнятым — на свету. Улыбаясь, вертела в руках карандаш. Молчала. Потом вставала, ставила на стол чашки. Чашки скрипели в руках — она их мыла каким-то зверским порошком. Боялась микробов. Он смотрел на улыбку, на щеку, на карандаш, на чашку и чувствовал, как внутри поднимается глухое раздражение. Что он здесь делает, в этой сумрачной комнате, где единственный источник света — торшер — и тот прикрыт толстой вязаной шалью? Вскикивал. Начинал мерить комнату шагами. Остановливался возле ее кресла:

— Как дела на работе?

— Как сказать...

Это было еще одно любимое выражение — «как сказать...». Она никогда ничего не говорила прямо. На все существовало два мнения. Везде был свой минус. «Как дела на работе?» — «Как сказать. Может, ничего, может, не очень». «Интересная книга?» — «Как сказать. Может, да, может, нет». Чаше выходило, что нет. Свои отношения с миром она строила по принципу отрицания. Мир отвечал ей взаимностью.

На день рождения он принес ей духи. Торжественно развязал нелепый елочный бант, развернул хрустящую бумажку, вынул коробочку, встал на одно колено и на раскрытой ладони — как драгоценность — поднес ей. Она взяла, прочитала надпись, и лицо ее вдруг приобрело какое-то странное трагическое и упрямое выражение.

— Ты меня убил! — прошептала она.

— Убил? — Он ничего не понимал.

— Убил, — повторила она, глядя на него так, как будто он принес известие о чьей-то смерти. — Это же настоящие французские духи!

— Ну да. Настоящие. Французские. Духи.

— И как, ты думаешь, я должна относиться к тому, что ты тратишь такие деньги?

— Не знаю. Отнесись как-нибудь. Может, спасибо скажешь?

— Спасибо, спасибо. — Она помолчала. — Больше никогда этого не делай.

Больше он никогда этого не делал. Смотрел на нее с отчаянием, сжимал кулаки, разворачивался, хлопал дверью. Через день приходил снова.

А с Танечкой она его так и не познакомила.

— Почему? — допытывался он.

— Ну как ты не понимаешь! Такая травма для ребенка! Я даже не знаю, как она переживет!

— А на пятидневку не травма?

— Тсс! Тихо! — палец к губам. — Как я ей объясню?

— Зачем объяснять пятилетнему ребенку?

— Ну как ты не понимаешь?

— Если бы у тебя была собака, ты бы и ей не знала, как объяснить, — говорил он и устало тер переносицу.

Однажды не выдержал:

— Ты же всех мучаешь! Всех! И меня, и себя, и... — хотел сказать Танечку, но к тому времени имя дочери уже было под запретом.

— Человек должен мучиться.

— Зачем?

— Затем, что если не мучиться, то не переживешь жизнь. Так, проскользишь по поверхности.

— Идиотские бредни! Ты это нарочно? Нарочно, да? Скажи! — Он схватил ее за плечи, затряс.

Она улыбнулась одной стороной лица и приложила палец к его губам.

— Ну, ладно, ладно, — зашептал он, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал в опущенный уголок рта.

С ней хорошо было мучиться.

Любочка встречала его в коридоре, забирала зонтик, отводила глаза. Кстати, именно тогда он впервые заметил: сидит на кухне немолодая женщина в коротеньком розовом халатике и кудельках, коленки, как брыли у породистой собаки, сползают вниз, посреди щек — пимпочка. Это его жена. Смешно. Иногда, хлопая входной дверью, он слышал обрывки разговора. Потом — быстрый шепот, звяканье телефонной трубки. Любочка выходила в коридор. «Матери звонила. Жаловалась», — неприязненно думал он, так и недодумав до конца, какой матери — своей или его. Какая разница?

— Ты знаешь... Я вот что... Я, наверное...

Господи, как трудно взбираться по этим ступенькам! Любочка наклоняла голову — ниже, ниже. Теребила пуговку на розовом халатике. Складывала ноги крест-накрест. Прячала под табуретку. На лбу у нее вздувалась вена — раньше ее не было, — некрасивая такая вена, как пеньковая веревка. Он обрывал себя на полуслове, уходил на балкон курить. Через несколько дней начинал снова. Последнее слово никак не давалось. Ему хотелось, чтобы Любочка сама сказала последнее слово, помогла ему, освободила от этой мучительной обязанности, и он злился на нее за то, что решает и никак не решится ее бросить. Он ложился на диван в гостиной, укрывался с головой и отворачивался к стене. Водил пальцем по обоям. Обои были старенькие, серенькие, в лиловую крапинку, десятилетней счастливой давности. «Машка дура», — было выведено на обоях Лялькиным первоклашечьим почерком. Машка была лучшей подружкой Ляльки. «Надо делать ремонт», — думал он и пугался этой мысли. Потому что ремонт делают для того, чтобы жить, а не уходить. «Не надо делать ремонт! — строго говорил он себе, усилием воли направляя мысли по отводному каналу. — Пусть сами делают!» И снова водил пальцем. Натыкался на чернильное пятно. «Надо делать ремонт», — думал, прорываясь сквозь сонную изморозь, и, наконец, засыпал.

Любочка еще долго шуршала в спальне, и сквозь сон ему казалось, что оттуда тянет прогорклым луком.

Когда он, стоя у окна, собирал сумку, была осень. Любочка уже заклеила рамы, и ему приходилось курить в форточку. В сумку он бросил зубную щетку, бритву и книгу «Фольксваген-гольф. 3-я модель. Пособие по эксплуатации». Потом отнес сумку в машину и снова поднялся в квартиру.

— Ну вот и все, — сказал он, глядя в стену.

Любочка теребила в руках кухонную тряпку. Он подошел и наклонился, чтобы клюнуть ее в щеку. Любочка дернула шей, как раненая курица, и вдруг цыкнула зубом. Он резко повернулся, хлопнул дверью и сбежал вниз.

Он увидел ее сразу. Она выходила из проходной в своей доисторической шляпке, похожей на конфету сливочная помадка. Торопливо натянула перчатки, оглянулась — нет ли поблизости знакомых, все-таки она многих знала на этом заводе, — споткнулась на последней ступеньке и побежала прочь, низко опустив голову. Сердце сделало сальто-мортале и повисло, оторвавшись от спасительной лонжи здравомыслия. Нина вышла через несколько минут. Увидев его, медленно пошла через улицу. По тому, как она идет, он уже знал, что ему предстоит услышать. Даже слова приблизительно подобрал. «Ты вот что... Ты больше не надо...» — скажет она.

— Ты вот что... Ты больше не надо... — сказала она.

— Почему? Почему?! — Он не заметил, что начал кричать, размахивая руками, как на производственной гимнастике.

Она приложила палец к губам и криво улыбнулась.

— Она права... Ты же знаешь, она права.

Он не видел ее лица.

Вечером он позвонил к ней в дверь.

— Открой! — сказал тихо, но она услышала. Стояла с другой стороны, дышала. Потом тихонько отошла от двери, и больше он не слышал ее дыхания.

Мать сидела очень прямо, сложив руки на столе и глядя перед собой сухими, колючими глазами.

— Ты!.. Ты!.. Зачем ты это сделала?! Зачем ты к ней ходила?!

— Марк! — строго сказала мать, и он осекся. Перед ним сидела не его, Марка, мать, а Любочкина свекровь и Лялькина бабка. Да что там свекровь, бабка. Не свекровь и не бабка, а просто — Любочкина и Лялькина. Не его. Он вдруг отчетливо понял, что никто здесь его слушать не будет, что здесь есть одни интересы и одни права и принадлежат они не ему. — Отдаю ей должное, она очень достойная женщина. Я, честно говоря, ожидала другого. Она прекрасно меня поняла, — продолжала между тем мать, но, махнув рукой, он уже брел к двери.

Дома он распаковал сумку, сунул в стенной шкаф и прошел в спальню. Любочка лежала, отвернувшись к стене. Он лег рядом и тут же уснул.

Счастье их длилось долго. Целых десять лет.

На двадцатилетие свадьбы сняли ресторан.

— Вот видишь, — сказала Любочка.

— Что видишь?

— Мы снова вместе.

Он понял. После истории с Ниной все в их жизни шло по-прежнему. Лялька. Рыбалка. Дача. Осенние заготовки. Валдай. Одно только изменилось. Раньше они все делали вместе, а теперь врозь. Например, Любочка моет после ужина посуду, а он быстренько сует все со стола в холодильник. Он строит на даче сараюшку, а Любочка — на подхвате. Стоит рядом, подает гвозди, молоток, вот тут, говорит, левее, а тут хорошо, как это только у тебя так получается? Это у них получалось, а после истории с Ниной получаться перестало.

Сразу после своего возвращения Марк затеял ремонт. Делал все сам — как привык. Любочка крутилась тут же, задавала вопросы, давала советы.

— Папуль, а давай обои в спальню купим цветастые, знаешь, с розами такими... розовыми.

— Давай, — отвечал он, морщась на «папулю». — С розами, — и покупал в полоску.

— Пап, а пап, а у тебя тут что, дырка? А заделывать что, не будешь?

— Буду, — отвечал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать.

Нет, вместе никак не получалось. Теперь у них в доме были дела Любочки и дела Марка. Любочка мыла посуду, он уходил в комнату. А сунуть масло в холодильник ему в голову не приходило. Так и жили.

Накануне юбилея поехали по магазинам. Надо было спиртное купить — в ресторане дорого, — заодно чего-нибудь в дом, заодно...

— Я ведь тебе еще... еще подарок не сделал. — Слово «подарок» почему-то далось ему с трудом. — Ты что хочешь?

Любочка шла, уцепившись за его рукав и с какой-то девчоночьей гордостью поглядывая по сторонам. Мол, вот я, а вот мой муж, и мы идем в магазин, вместе идем, под руку, а как же иначе? У прилавка она долго топталась, перебирала какую-то ерунду, совала ему под нос картонные полоски, пропитанные сладкими резкими запахами.

— Тебе нравится? Нет? А это?

— Нравится, — отвечал он. — И это. И это тоже.

— Главное, чтобы тебе нравилось, — шептала Любочка.

— Мне? Почему?

— Глупый! — улыбалась Любочка, но он уже сам понимал свою оплошность и злился, как будто кто-то заставил его выдать сокровенную тайну. Действительно, что ему до ее духов!

Духи все-таки купили, Марк повертел в руках коробочку, коротко кивнул, одобряя. Любочка засветилась, ухватила его покрепче под локоть, потащила к другому прилавку. «Настоящие французские духи, — вспомнил он. — Никогда так больше не делай!» Встреть он ее сейчас на улице — не узнал бы. А глупости всякие, как осколки битого стекла, царапают до сих пор. Больно.

Гостей встречали у парадного входа. Марка засунули в черный костюм. В нагрудном кармашке — маленький белый платочек. Он от этого платочка долго отбивался, но ничего не вышло, пришлось стоять с платочком. Любочка в красно-белом платье с широкими косыми полосами была похожа на флаг неизвестной, но дружественной державы. Платье развевалось на ветру, открывая круглые белые, как булки, колени. Марк старался на эти колени не смотреть.

А годовщина получилась очень хорошая. Ну просто очень. Мама плакала. Теща весь вечер просидела поджав губы. Лялька носилась по залу, крутила круглой попкой. Витька — старый болван! — привел девчонку. Девчонка эта почему-то все время попадалась Марку на глаза. Он на нее как будто все время натыкался. И спотыкался. У девчонки всего было много. Глаз, ресниц, рта, зубов, волос. Попка, такая же круглая, как у Ляльки, обтянутая коричневыми брючками, мелькала в разных концах зала — он не успевал поворачивать голову.

— Как зовут? — спросил у Витьки, когда они вышли покурить на улицу.

— Майка.

— Откуда взял?

— Из института повышения квалификации.

— И что она там квалифицирует?

— В основном коллекционирует. И классифицирует.

— Ага, ясно. Сколько лет?

— Тридцать пять.

— Сколько?!

— А ты что думал? Восемнадцать? — Витька хохотнул и саданул его лапицей по спине.

— У вас серьезно?

Витька с удивлением посмотрел на него:

— Серьезно — несерьезно... А ты что это вопросы задаешь?

— Да так.

— Так... ты вот что... ты не забывай, у тебя сегодня все-таки годовщина свадьбы. Большой, между прочим, мальчик.

— Большой, — согласился Марк. — Но глу-у-упый!

Подошла Майка, положила руку на Витькино плечо, чмокнула его в щеку, глянула на Марка мохнатыми глазами. «Пчела Майя», — подумал Марк.

У Майки были легкий характер и тяжелая семейная ситуация. Во-первых, ребенок. Ребенок шести лет по имени Ванька жил с бабушкой. Во-вторых, бабушка, Майкина мама. Бабушка жила с Майкой. Вроде бы они жили втроем, но почему-то так выходило, что Майка

жила сама по себе, а Ванька с бабушкой — сами по себе. Еще у Майки был Котэ, старый грузинский друг. Старый грузинский друг возил Майку на курорты, кормил сациви и жареным сулугуни, по выходным лежал на ее диване, почесывая волосатое пузо, однажды купил шубу и кольцо. Майка считала его номером один. Бабушка мечтала, чтобы она вышла за Котэ замуж. Еще у Майки был Витька. Витька таскал Майке картошку, возил ее с Ванькой на подмосковные лужайки и кормил мороженым. Еще он часами трепался с ней по телефону, в рабочие, между прочим, часы, и хохотал так, что время от времени на него падал кульман. Майка считала его номером два. А замуж Майка так ни разу и не сходила. Просто не успела. Недосуг.

По дороге домой Витька рассказывал Марку о старом грузинском друге:

— Ты представляешь, он, когда у нее остается, Ваньку с бабкой к соседям отправляет!

Говорит, не могу при ребенке!

— Она что, тебе это рассказывает?

— Ага.

— И ты терпишь?

Витька пожимал плечами. Ему было все равно. Через месяц Марк позвал его на футбол. Можно было, конечно, и на работе поговорить, но футбол — это все-таки очень мужское, очень личное, когда только вдвоем и никто, кроме них двоих, не имеет права на этот дележ. Витька размахивал руками, вскакивал со скамейки, орал всякие глупости, приставив ладони ко рту и выпучив глаза. Марк поглядывал на него искоса, тоже поднимал руки, чтобы помахать, прикладывал ладони ко рту, издавал какие-то звуки. По полю бегали люди в полосатых майках. Пинали мяч. Он смотрел на них и не видел. «Два — ноль!» — орал Витька и пихал его в бок.

— Знаешь... — сказал он, когда они уже брели к метро.

— Знаю, — ответил Витька. — Мне уйти?

— Уйди.

— Ты точно решил?

— Я ничего и не решал.

Витька вздохнул, вытащил сигареты, сунул Марку под нос. Они постояли, покурили. А Витька что? Витька ничего. У него таких Маек... И еще будет.

С Майкой было легко. После работы он мчался к институту повышения квалификации. Майка выбегала из крутящихся дверей, неслась через дорогу, теряла шлепанец, возвращалась, поддевала его большим пальцем, ловким клоунским жестом закидывала обратно на ногу, притопывала каблучком, подпрыгивала, снова неслась через дорогу, плюхалась на переднее сиденье и впечатывала губы в его щеку. Они ехали за Ванькой в детский сад, потом по магазинам, потом вдаряли по мороженому, потом домой, быстро жарили картошку или варили макароны, пили «Хванчкару», оставшуюся после старого грузинского друга. Запасы «Хванчкары» кончались. Старый грузинский друг больше не появлялся. «И не появится!» — думал Марк, с наслаждением вытягиваясь на Майкином диване, застланном пестрым желто-оранжевым одеялом. У нее все было желтое и оранжевое. Оранжевая жизнь. Как в песенке.

Когда он впервые остался у нее ночевать? Через неделю? Две? Он точно не помнил. Помнил только, как позвонил Любочке.

— Я не приду, — сказал коротко.

— Ты у Вити?

— Нет.

Любочка задышала, приготовилась плакать. Но он молчал, и она затихла тоже. Марк подождал и, не дождавшись отклика, аккуратно положил трубку на рычаг. Больше он ей не звонил. У Майки оставался все чаще. Домой приходил все реже. Любочка наклоняла голову, теребила пуговку на розовом халатике, складывала ноги крест-накрест, прятала под табуретку. Он ложился на диван в гостиной, укрывался с головой и отворачивался к стене. В доме пахло прогорклым луком. Однажды он поймал себя на том, что водит пальцем по обоям. Обои были старые, он сам их клеил десять лет назад, когда вернулся от Нины. «Надо делать ремонт», — подумал он и испугался. Ему вдруг показалось, что история пошла по второму кругу. А еще одного такого забега он бы не выдержал.

Утром он вышел на кухню, положил на стол сберкнижку — ту самую, где и палатка, и байдарка, и спиннинг, и металлические рыбки в трехэтажном ящичке, — придавил сверху ключами.

— Ну, я пошел! — сказал весело и хлопнул дверью.

Он стоял за углом дома и ждал, когда она появится. Еще пять минут... Три... Одна... Майка выныривала из метро, и он каждый раз поражался тому, как меняется пространство вокруг нее. По бокам — нет, не серое, даже цветное, но слегка выцветшее, что ли, обыкновенное, докучливое. Майка шла среди этого докучливого, будто заключенная в капсулу с расплавленным янтарем, облитая сладким растопленным медом. За ней тянулся такой же медовый след. Все — люди, дома, машины, собаки, пыльный июльский асфальт, мусорный бак в соседнем дворе, валяющийся поодаль хвост селедки — вдруг наливалось янтарным медовым светом. Он выступал из-за угла, протягивал руку и окунал ее в этот теплый поток. Рука тяжелела, пальцы щекотало, в голове начинало звенеть.

— Пойдем, — говорил он. — Пойдем! — и тащил ее в подъезд.

Майка хохотала, делала вид, что сопротивляется, упиралась ладонками ему в грудь, он хватал ее на руки и нес наверх.

— Мы тут! — кричала Майка, когда они, распаренные и пыхтящие, вваливались в квартиру.

На крик выбегал Ванька, вис у них на руках, хватал Марка за ремень, Марк подхватывал его тоже, втроем они падали на диван, дрыгали ногами, задыхаясь от смеха, Марк прижимал их к себе — сильнее, сильнее... Потом Майка быстро вскакивала, хватала Ваньку под мышки, выставляла в коридор и плотно закрывала дверь.

По ночам они валялись просто так, курили, болтали, следили, как бродит по потолку лунная дорожка. Марк брал Майкину руку и водил указательным пальцем по своему лицу: от волос вниз по лбу, вдоль бровей и дальше — вокруг глаз, к носу, палец опускался ниже, он прикусывал острый коготок, Майка вскрикивала и хватала его за нос. Нос немедленно вспухал, из глаз катились слезы.

— Прекрати! — кричал он. — Мне же завтра на работу!

Почему-то это ужасно ее смешило.

И дыхание. Дыхание было легкое. Такое легкое, будто ему опять двадцать лет.

А самое страшное — субботнее утро. Он просыпался, уже зная, что увидит на кухне Майкин затылок. Вставал. Полз в ванную. Долго чистил зубы. Выходил на кухню. Приваливался к косяку.

— Ну, Май... — говорил он. — Ну, Май...

Майка, не оборачиваясь, жарила яичницу. Затылок ее с подколотыми кверху утренними выходными волосами выражал какое-то суровое презрение.

— Ну ты же знаешь... — мямлил он и шел одеваться.

В машине долго сидел с включенным мотором. Медленно выезжал со двора. Медленно ехал. Долго парковался. Медленно выходил. Медленно поднимался по лестнице.

Любочка ждала его в прихожей. На полу — сумки с продуктами. Смена постельного белья.

— Так, — говорила деловито. — Еще в хозяйственный за порошком и мать просила валокордину. Да, отцу газеты, не забыть бы.

Он запикивал сумки в багажник и тоскливо глядел на тюк с бельем, Спали они на втором этаже. То есть второго этажа, как такового, не было. Был чердак, где отец хранил всякую дребедень. Когда они с Любочкой поженились, на чердак втащили старый бабушкин диван, забросали сверху спальными мешками, получилось ничего, даже спать можно. Диван был двукрылый. Крылья от старости стояли стоймя, и во сне они, как с горки, скатывались в ложбинку между двумя половинками. В этой ложбинке на пыльном дачном чердаке они спали свое двадцать первое лето.

С утра Любочка выходила на садово-ягодные работы. Мать вставала к плите. Отец раздавал указания. Марк возился в сарае, что-то там строгал, пилил, точил. Старался не попадаться им на глаза. Обедали на терраске. К обеду приезжал младший брат с женой. Лялька, проводившая на даче последние школьные каникулы, прибежала от подружек. Отец поднимал рюмку с домашней наливкой. Строго окидывал взглядом стол. Мать делала незаметный знак, мол, кончайте жевать, слушайте.

— Не все ладно в нашей семье, — размеренно начинал отец.

Любочкино лицо наливалось томатным цветом, надувалось, распускалось и начинало мелко дрожать. Младший брат украдкой переглядывался с женой. Лица вдруг становились постными и какими-то неживыми. «Глупость какая!» — думал Марк и отворачивался к окну.

— Не все ладно в нашей семье! — повысив голос и как бы призывая всех собравшихся проникнуться важностью момента, продолжал отец. — Не так я представлял себе жизнь своих детей. Ну и пусть, что я, я уже свое отжил, а у вас еще все впереди. И вот что я вам скажу! — Отец делал паузу, строго смотрел из-под кустистых бровей. — Вот что я вам скажу! Никогда у нас в семье разводов не было. И не будет! — Отец взмахивал рюмкой, будто кому-то угрожая. Наливка выплескивалась на скатерть. Мать хваталась за тряпку. Любочка всхлипывала и цыкала зубом. — Так что постарайтесь это понять. А тебя, — он оборачивался к Любочке, — мы с матерью как родную дочь любим.

Любочка мелко кивала. Марк вставал, уходил в сад. В саду долго курил, прислонясь к яблоневому стволу. Вечером забирался под спальный мешок, закрывал глаза. Рядом, в ложбине, тяжело ворочался Любочкин бок. 15 сентября он перевез родителей в Москву. Лялька пошла в одиннадцатый класс. Надо было как-то устраиваться.

— Надеюсь, все останется по-прежнему, — сказала мать, когда он выгрузил из багажника последнюю банку с огурцами.

— Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду твою жизнь. Ляля заканчивает школу, ей поступать надо, а она на нервах вся. Ты не видишь, не хочешь видеть, а мы с отцом ее истерики все лето наблюдали. И Любочка... Впрочем, до Любочки тебе дела нет. Тебе ни до кого дела нет, кроме себя и этой, твоей...

— Мама!

— Что «мама»? В общем, так. Как хочешь, но по воскресеньям чтобы, как обычно, были у нас. С Любочкой. И на неделе, будь добр, заезжай домой хотя бы пару раз.

Он был добр. Сценарий его жизни вырисовывался такой: после работы домой, то есть к Любочке. У него до сих пор как-то язык не поворачивался говорить «к Любочке», все — домой да домой. И не пару раз в неделю, а почти каждый день. Любочка ему готовила, как говорила Майка, «фронт работ». Фронт работ выходил обширный. Ляльке помочь с уроками. По магазинам. Починить там чего. Картошку на зиму купить пару мешков. У них почему-то при почти производственных заготовительных мощностях никогда не хватало до весны картошки. Морковки, впрочем, тоже. Для картошки он в своем — теперь уже бывшем — гараже вырыл специальный погреб. Несколько дней рыл, потом бетоном заливал, потом мешки туда перетаскивал. После рытья поднимался домой, мылся, Любочка кормила его ужином. Смотрели телевизор, сидя в креслах, симметрично поставленных по обе стороны дивана. Сидели ровно, держа руки на коленях. Молчали. Любочка любила игры, а он — спорт и детективы. Но желаний своих не высказывал. В чужом доме приходится принаравливать ко вкусам хозяев. Потом он начинал маяться. Поглядывал на часы. Дергался. Наконец вставал, натягивал куртку и начинал топтаться в дверях. Любочка дергала шеей, дрожала лицом. Лялька закрывалась у себя в комнате. Прощаться не выходила. Он выкатывался за дверь, мчался к Майке. Там все уже спали. Майка выбрасывала из-под одеяла сонную руку, тянула его к себе. Он утыкался ей в плечо. «Завтра надо починить Любочке кран», — думал, засыпая.

На день рождения он подарил Любочке колечко с крошечным фианитом. Справляли у родителей. Они всегда все справляли у родителей. И по воскресеньям — как велено! — садились за родительский стол в полном составе: Марк, Любочка, Лялька. На Любочкин день рождения мать назвала каких-то трухлявых старух. Черт ее знает, откуда она их брала. Говорила, отцовские кухни. Марк подозревал, что никаких кузин у отца отродясь не было, а была неумная жажда родственности, семейного клана, общих семейных забот и общих семейных радостей. Оба сына в эту общую семейственность не вписывались, даже между собой не очень-то дружили, так что приходилось сгребать в кучу всех имеющихся в наличии бедных родственников. Соседки тоже годились. Бывшие сослуживицы. Марк всю жизнь чувствовал вину за свою отдельность, поэтому с трухлявыми кухнями обращался с подчеркнутой любезностью. Ручки целовал. Стулья подвигал. Салатики накладывал.

— Не все ладно в нашей семье! — громко говорил отец, когда все рассаживались по местам, и поднимался во главе стола с рюмкой в руках.

Любочкино лицо опять наливалось томатным цветом. Соседки переглядывались. Марк вставал и уходил курить.

— Вы не поверите, Марьвасильна! — услышал он как-то из-за приоткрытой двери, когда курил на лестничной клетке. Две бабульки шушукались в коридоре. — Не поверите! Жену любит, просто не может! Кольцо подарил.

— Да что вы!

— Ей-богу, любит! А ночевать уходит к другой.

Марьвасильна качала птичьей головкой, причмокивала, ахала, всплескивала пигментными лапками. Марк появился в коридоре, бабульки посмотрели осуждающе и прошли мимо, гордо подняв цыплячьи хохолки в каком-то непонятном ему порыве всеобщего женского единения. «Они меня обложили, — обреченно подумал Марк. — Придется держать круговую оборону».

Он очень хорошо себе это представлял. Вечером, когда он уезжал, Любочка садилась к телефону. Звонила своей, потом его матери. Докладывала: что сделал, что сказал, что съел, во сколько пришел, во сколько ушел. Мать передавала отцу. Отец брал трубку, уточнял детали. Потом прорезалась теща, высказывала матери свое мнение. У них там целый штаб образовался по изгнанию неприятеля. Разрабатывали тактику и стратегию. Расставляли войска. Однажды Любочка позвонила Майке, сказала что-то обидное и положила трубку. Майка, как всегда, хохотала, называла Любочку «эта, твоя, кура-дура», а он разозлился. Разозлился и испугался. Они нарушили правила игры. Вступили на чужую территорию. Это было нечестно. Теперь, выходило, и ему можно не выполнять их требования. Не ездить на дачу, не спать с Любочкой в одной ложбинке, не сидеть рядом за родительским столом, не чинить кран, не молчать по вечерам перед телевизором. Вот только — они могли нарушить правила, а он нет. Потому что он виноват. А они правы. И не он устанавливал эти правила.

Как-то, подъезжая к Майкиному институту, он увидел, как в толпе мелькнула знакомая шапка с красным помпоном. Выскочил из машины, бросился на этот растрепанный маячок. Лялька стояла за киоском с мороженым, как гусенок вытянув тощую шейку, спрятав замерзшие руки в карманы куртки, переминаясь с ноги на ногу. Он схватил ее за рукав. Она обернулась, дернулась, попыталась вырваться. Лицо у нее стало жалкое — виноватое и испуганное одновременно. Лялька хлюпнула красным носом, опустила глаза и пнула ледышку носком ботинка.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего я тут не делаю!

— А если точнее?

— К подружке заезжала... за билетами... к экзаменам.

— Ах, к подружке, значит, за билетами. А ну-ка, пошли.

Он за шиворот подтащил ее к машине и впихнул в салон.

— Ты что творишь? Ты вообще соображаешь, что творишь? — Ему хотелось ударить по сливочной, слегка обвисшей щеке. Любочка сидела боком, упрямо наклонив голову, как будто бодала кого-то, видимого ей одной. — Ты зачем девчонку подсылаешь? Чтобы она следила? За отцом своим следила? Тебе мало? Нет, ты скажи, тебе мало? Ты же меня в тиски взяла! Ты же родителей против меня настроила, а теперь еще и Ляльку? Ты зачем матери каждый день звонишь, плачешься? Ты зачем Майке звонила? А мать твоя, ей что надо? Что она во все вмешивается?

— Ты не имеешь права! — вдруг отчетливо сказала Любочка.

— На что? На что я не имею права?

— Ни на что. Я твоя жена, законная. А она... она проститутка. Она чужого мужа украла! И квартиру ты не получишь, так и знай! Я тебе ребенка обездолить не дам!

— Значит, обездолить... Ты, наверное, хочешь, чтобы я вернулся, а, Любочка? — вкрадчиво спросил он. — Хочешь, хочешь, я знаю. Я вернусь. — Любочка дернула шей и сцепила пальцы. — Только ты об этом пожалеешь.

Повернулся и вышел. Возвращаться он никуда не собирался.

На Новый год они с Майкой собирались к Витьке на дачу. У Витьки нарисовалась новая пассия. Был он бодр, весел и безмятежен. «Счастливым, подлец!» — подумал Марк, кладя трубку. Они уже обо всем договорились: где, когда, кто шампанское, кто курицу. «Счастливым, подлец!» — и набрал номер родителей.

— Хорошо, что ты позвонил! — сухо сказал отец.

— Да как же... да я ж не мог... перед Новым годом... — забормотал Марк. Звонил он им нечасто. А от Майки — никогда.

— Хорошо, что ты позвонил! — со странным нажимом повторил отец. — Мать просила купить торт. И с вином какая-то ерунда. Захвати, пожалуйста, бутылку сухого, грузинского.

Марк молчал. Он не был потрясен. Он был раздавлен.

— Алло! Ты что молчишь?

— Папа, — медленно сказал Марк, набрал в легкие воздух, выдохнул и — еще медленней: — Па-па. Мы-с-Ма-йей-со-би-ра-лись...

— Мы ждем вас к десяти, — как будто не слыша, сказал отец. — Так не забудь вино, — и повесил трубку.

Майка на кухне жарила курицу. Он стоял у двери и смотрел на ее затылок с подколотыми вверх утренними выходными волосами. Затылок дрогнул и повернулся.

— Что? — спросила Майка. — Что смотришь?

Он молчал.

— Нет, — сказала Майка. — Не может быть. Или — да?

Размахнулась и швырнула нож в мойку. Нож зазвенел, и ему почудилось, что в голове у него что-то разбилось и осколки, звеня, раскатились по всей кухне.

— Иди ты знаешь куда! — кричала Майка, стаскивая фартук. Узел затянулся, и она все дергала и дергала за тесемку, и стонала от бессилия, и дергала снова. — Вместе со своими папочками, мамочками, любочками! Чтобы я тебя больше здесь не видела!

Он подошел к ней, взял обеими руками за голову и прижал к груди.

А Новый год получился хороший. Ну просто очень. Мама сделала фаршированную рыбу. Теща, не отрываясь, смотрела телевизор. Пили грузинское вино. И торт оказался свежий. «Абрикотин». В общем, праздник удался.

После Нового года что-то у них надломилось. Майка стала суше, исчезла ее леденцовая сладость. Мать ее поджимала губы, бормотала что-то под нос, закрывалась в своей комнате. Ванька дичился, втягивал в плечи голову, когда Марк протягивал руку, чтобы его погладить.

— Ты давай решай, что ли, — безразлично сказала Майка, пуская в потолок струйки дыма.

— Я решаю.

— Ага, давай, давай, не затягивай.

После работы он по-прежнему мчался к Любочке, возвращался посреди ночи. Майка больше не выбрасывала из-под одеяла сонную руку, лишь чуть-чуть отодвигалась, освобождая ему место, и поворачивалась на другой бок. Начинался дачный сезон. Отец все чаще говорил о том, что из подпола пора откачивать воду, и дорожки чистить, и новые доски покупать, и грузовик с песком, и... В первую весеннюю оттепельную субботу погрузили в машину сумки с продуктами, тюк с постельным бельем, потом за порошком в хозяйственный, потом за новой тяпкой, да, и гвозди. Гвозди не забыть. Любочка сушила на заборе спальные мешки, проветривала чердак, выметала из углов паутину, орудуя шваброй как штыком. Ночи были еще промозглые, влажные. Они лежали в своей ложбинке и дрожали, боясь прикоснуться друг к другу. Домой он вернулся в воскресенье ночью. Майки не было. Он на цыпочках обошел квартиру, заглянул в ванную и туалет, пошарил в кладовке, зачем-то открыл и закрыл духовку. Майки не было. Он постучал тихонько в Ванькину

комнату.

— Тамара Федоровна!

Майкина мать заворочалась в постели, щелкнул выключатель. В свете ночника ее кожа отливала нездоровой тусклой желтизной. Он посмотрел ей в лицо и увидел, что там живет ненависть.

— Что тебе?

— Вы не знаете, где Майя?

— Не знаю и знать не хочу, что там у вас происходит!

Ночь он провел на кухне. Все как положено в плохих фильмах: курил, пил воду из-под крана, вскакивал на каждый шорох, подбегал к двери, потом к окну, смотрел во двор, прислонясь лбом к холодному стеклу. Майка пришла в семь утра. Хлопнула дверью, бросила на тумбочку сумку, скинула сапоги. В руках у нее был сверток. Она прошла в кухню, не замечая его долговязой фигуры, торчащей посреди коридора. Развернула газету и поставила на стол бутылку «Хванчкары».

— Ты что? — Он захлебнулся словами и долго кашлял, пытаясь вытолкнуть из горла застрявший комок. — Ты что? У Котэ?

— Иди, — холодно сказала Майка. — Умывайся. На работу опоздаешь.

Он прошел за ней в кухню, пустил воду, залил недокурную сигарету и аккуратно выбросил в мусорное ведро. В комнате залез под кровать, вытащил свой старый матерчатый чемоданчик, покидал рубашки, белье, принес из ванной бритву и зубную щетку.

— Пока! — сказал он, натянув кепку и пальто, и бросил на тумбочку ключи.

— Пока! — ответила Майка, поймала ключи на лету и положила в карман джинсов.

Вечером после работы он приехал к родителям.

— Я у вас поживу, — сказал, затаскивая в квартиру чемодан.

Отец молчал. Надо было объясняться.

— Я у вас поживу, — повторил он, не зная, что еще сказать.

— Выгнали? — спросил отец.

— Сам ушел.

— Почему не домой?

— Не могу. Надо привыкнуть.

— Ну, живи пока, — сказал отец и отвернулся.

Мать бросилась застилать диван.

Через неделю жизни на родительском диване он стоял у входа в Майкин институт. Она выскочила из стеклянных дверей и, не замечая его, бросилась вниз по ступенькам. Пола длинного черного пальто завернулась и хлестнула его по коленям.

— Постой! — сказал он и поймал ее за эту полу. Майка затормозила на полном скаку и уставилась на него. Взгляд у нее был странный: нахальный, веселый и выжидающий. — Садись! — Он впихнул ее в машину.

— Ко мне нельзя! — быстро сказала Майка.

— Котэ? — усмехнулся он.

— Дурак! Мама. — Она протянула руку и провела тыльной стороной ладони по его щеке.

Он схватил ладонь и судорожно сжал. Ему казалось, что в руке у него трепыхается воробей.

— К Витьке? — спросил он.

Она кивнула.

...Отец встречал его в дверях. Стоял широко расставив кривоватые непреклонные ноги в выцветших тренировочных штанах.

— Нагулялся? — тихо спросил отец, и Марку показалось, что в руках у него сверкнула пряжка ремня. — Накувыркался со своей... — Отец запнулся, не найдя нужного слова. Мать тихонько плакала где-то в районе его локтя. Он слегка повернул голову, глянул сверху вниз, и мать прыснула в комнату.

— Я уже взрослый, папа, — тихо сказал Марк. — Я сам решу, как мне жить.

— Взрослый? Сам решишь? — очень спокойно и даже как будто равнодушно переспросил отец. — Когда у тебя дом свой будет, тогда и будешь решать. А пока у тебя дома нет. Пока ты тут живешь...

«Если скажет «из милости», ударю», — подумал Марк.

— Пока ты тут живешь, решать будем мы. И мы с матерью тебе не позволим использовать нашу квартиру как прикрытие для свиданий с... с проститутками. Не позволим, слышишь? — Он остановился, шумно перевел дух и вдруг закричал: — Вон! Вон! Слышишь? Немедленно вон!

Марк выскочил за дверь, бросился к машине, ткнул ключом в зажигание, еще раз, и еще, ключ срывался, руки тряслись, он сидел, уставившись в лобовое стекло, и не знал, что ему делать с этими трясущимися руками и с этим невключенным зажиганием. И с этим унылым мартовским вечером, похожим на старую растрескавшуюся черно-белую фотографию. И с этим чувством навечного сиротства. И с этой дурацкой любовью, сладкой, как медовый леденец. С тех пор он никогда не ел леденцы.

— Да брось ты! — сказал Витька. — Устаканится. Разводись давай.

— Не могу.

— Почему?

— Лялька несовершеннолетняя. Любочка меня два года будет мурыжить. Да и ни к чему уже.

— Что, Котэ?

— И Котэ тоже.

— А что еще? Боишься, она тебя не пустит?

— Боюсь. Только не она. Мать ее. Мать меня ненавидит.

— А ты что хотел, чтобы обожала? Ты ее дочке еще лет десять голову поморочишь, она тебя вообще убьет. Ну ладно. — Витька хлопнул беспечной рукой по его колену. — Поехали ко мне. Так и быть, пользуйся моей добротой, пока ничего подходящего не найдется.

Подходящее нашлось через месяц. Отвратительная комнатенка, похожая на дистрофика: профиль есть, а фаса не наблюдается. Девять метров, вытянутых вдоль мышинных стен. Теперь следовало завезти холодильник. Этот холодильник стал уже навязчивой идеей. Ему казалось, что, если будет холодильник, все каким-то чудесным образом повернется и пойдет по другой колее. Без кровати можно жить. Брось на пол матрас и спи. Без стола можно. Поставь на подоконник тарелку и ешь. Вот без холодильника нельзя. Холодильник — вместилище жизненных сил. Куда поместить кусок колбасы в сорокаградусную жару? За окно, пожалуй, не вывесишь. За батарею тоже не запихнешь. Нет, без холодильника начинать новую жизнь решительно невозможно. Холодильник тоже нашелся. Пузатый

допотопный «ЗИЛ» с порядковым номером 007, который тесть младшего брата, разумеется, называл Джеймсом Бондом. Холодильник был лишний.

Так вы правда переезжаете? — радостно спросила теща младшего брата, когда Марк позвонил по поводу Джеймса Бонда. — И что, хорошая комната?

Он правда переезжал. Он переехал в субботу. Сел на пол и стал смотреть на свой холодильник. «Буду жить!» — думал. В воскресенье утром приехала мать. Она прошлась вдоль стен, сняла с гвоздя две рубашки, вытряхнула окурки из треснувшего блюда, завернула в бумагу недоеденный кусок колбасы, собрала вещички в аккуратную старческую сумочку. Он сидел на полу и смотрел на холодильник.

— Вставай! — сказала мать. — Хватит дурака валять. Домой пора.

Она поставила его на ноги, засунула в пиджак, застегнула пуговицы, взяла под руку и повела вниз по лестнице. Во дворе, у такси, ждала Любочка.

Счастье их длилось долго. Всю жизнь.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ночь покрылась звездными мурашками, и сразу похолодало. А что вы хотите — уже август. Уже дымы от костров стелются по земле, уже яблоки падают с веток, и в темноте кажется, будто по саду топает кто-то чужой и страшный. И вечерний чай пьют уже не в открытой трухлявой беседке, запутавшейся в виноградных побегах, а на веранде, за освещенными окнами, — сцена, где разыгрывает свой спектакль театр семейных теней. Вот тень старухи с пузатым чайником наперевес. Старуха медленно качает головой, протягивает вперед руку, указывает, кому куда садиться, как Карабас-Барабас управляя своим кукольным царством. Вот тень мужчины. Он прихлебывает чай из высокого стакана, сидит низко опустив голову, уткнувшись в толстую книгу. Старуха поворачивается к нему, что-то говорит, властно стучит кулаком по столу. Мужчина поднимает голову, встает, подходит к этажерке, ставит книгу на место, вынимает другую, снова садится за стол. Вот тень женщины. Женщина стоит. Суетливо переставляет чашки, хватает чайную ложечку, роняет, берется нарезать пирог, не закончив, начинает раскладывать варенье. Старуха машет на нее рукой. Женщина садится, вскакивает, снова садится. Вот тень девушки. У нее тонкие руки. Она закидывает их за голову, тянется лениво, словно ветка, полная сирени, в лунном свете. Старуха протягивает ей чашку, гладит по голове, не отнимая руки, проводит пальцами по шее, поправляет воротничок блузки. Разноцветные стеклашки окон заполняются другими тенями. Тени в медленном танце кружатся вокруг стола. Одна приближается к окну. Раздается легкий треск. Окно распахнуто. Голоса, вырвавшись из стеклянного плена, разбегаются по саду. Сейчас один из них выкрикнет его имя, и придется откликнуться, идти на маяк, которым всегда была для него эта веранда, двигаться по курсу, который всегда прокладывала для него эта семья, причаливать к пристани, которой всегда был для него этот дом.

Михаил запрокинул голову и стал смотреть в звездное небо. Он стоял почти у самой калитки, в зарослях жимолости, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Вот Большая Медведица. Он стал считать звезды. Слева направо, от ручки к ковшику. Семь штук. Справа налево, от ковшика к ручке. Семь штук. Если сыграть в «любит-не-любит», то выпадет «любит». И справа налево, и слева направо. Если сыграть в «жениться-не-жениться», то выпадет «жениться». Он сорвал маленькую, еще не созревшую, ягоду жимолости, бросил на дорожку, придавил ногой. Ягодка тихонько крякнула, но хлопка не последовало. «Рано еще, — подумал Михаил. — В сентябре, нет, в октябре... В октябре, когда мы поженимся, они совсем спелые будут». Он представил, как они пойдут от калитки к дому, топая по осыпавшимся ягодам, а те будут взрываться под ногами свадебным фейерверком, и ему вдруг стало легко и ясно. Как будто не было последнего года, перелетов через всю страну за Уральский хребет, молчаливых встреч, молчаливых проводов, ночных телефонных звонков, молчания в трубку, Старухиных вопросов, молчания в ответ... Как будто не было этой тяготы с квартирой и с работой, и этого часа, когда, запрокинув голову и глядя в звездное небо, он решал то, что должен был решить давным-давно, тоже не было. Он засмеялся, повернулся к террасе, посмотрел на открытое окно. В окне Марина махала ему рукой.

Взглянув на нее впервые, он подумал: «Немолода!» И сразу: «Хороша!» Две эти мысли, столкнувшись, вызвали какое-то неприятное чувство. Будто ему суют никому не нужный

товар, а он берет, и рад, и нравится ему, что она так немолода и так хороша в своей немолодости. Вроде как сам себя обманывает. Ну, положим, все не совсем так. И он не мальчик — тридцать два года. Пора, брат, пора. И она не так чтобы... да не старая, не старая. Двадцать восемь лет — в этом возрасте женщина еще почти девушка. Просто внешность у нее такая — много всего, и глаз, и волос, и смуглоты. И возраста. Возраст был ее неотъемлемой принадлежностью. Такие женщины девчонками не бывают. Ножки-ручки цыплячи, грудка плоская, попка тощенькая — это не про них. Такие, как она, лет в тринадцать просыпаются одним прекрасным утром, откидывают одеяло и являются миру во всей своей женской зрелой прелести.

Михаилу нравилась ее смуглая цыганистая красота. Нравились яркие тряпки, юбки с косыми цветастыми клиньями, блузки, низко открывающие грудь. Нравилось, что на улице на них обращают внимание. Нравилось, что ее много — чуть-чуть больше, чем следовало. Не то чтобы она была ему не по размеру. В самый раз, если считать в сантиметрах. Одного роста, одних примерно габаритов, они даже размер ноги имели почти одинаковый. У него — сороковой, а у нее — тридцать девятый. Вполне пропорционально. Просто видно было, что с годами она станет больше его. Это ему нравилось тоже. Он был из тех мужчин, которые рядом с крупными женщинами чувствуют себя не меньше, а больше. Вроде защитной реакции — если такая женщина, да рядом со мной... Старуха, когда про нее рассказывала, качала многозначительно головой, цокала языком, причмокивала даже. Дескать — не дэвушка, пэрсик! Обращалась к сыну — мол, подтверди. Сын, вечно уткнувшийся в книгу, рассеянно кивал, выходил из комнаты, возвращался с другой книгой, садился в угол. Ему это было неинтересно. Невестка раздраженно гремела чашками, тянула скучным, лимонным голосом:

— Ну, мама, ну что такое вы говорите! Какая Марина! Ему что, на Урал ехать?

Старуха отмахивалась, вновь заводила старую песню. Старуха была ему почти бабкой. Если разобраться — седьмая вода на киселе. Жена двоюродного деда. Но никто не разобрался, и Старуха — никому не родня, никому не кровь — с годами заняла в семье положение английской королевы. С той только разницей, что и царствовала, и правила. Его, Михаила, она выдернула из кривобокого Подольска, как редиску из грядки. Приехала как-то в выходные, собирайся, говорит, едем в Москву. Когда? Сейчас. Надолго? Навсегда. И уехали. Он тогда в десятом классе учился. Через неделю уже ходил в престижную московскую школу, через год был определен в приличный институт согласно склонностям, способностям и возможностям семьи. Спал, правда, на раскладушке в Старухиной кухне, но ведь никто ему сладких коврижек не обещал, правда? Старуха вообще пустых обещаний не раздавала. Тихо и незаметно она натягивала ниточки, подкручивала колки, управляла, направляла, исправляла. Как-то так получалось, что все она делала правильно. Как-то таю выходило, что все были довольны. Препятствия устраняла мгновенно. Собственный сын чуть было не женился на акробатической девушке из конно-балетного техникума. Но Старуха покрутила длинным носом, пошевелила бородавкой, похожей на скорлупу ореха арахис, и акробатическая девушка исчезла в облаке цирковых сливочных стружек, а сыну была представлена новая кандидатура на роль жены — с лимонным голосом, застревающим в длинном тягучем горле. Сын был совершенно счастлив, а ведь заставить других думать так же, как ты, это, согласитесь, высший пилотаж.

— Гениальная вы моя Старуха! — Восхищенно восклицал Михаил после очередной Старухиной аферы. И, помолчав: — Ну как?

«Ну как?» относилось к очередной барышне, которых он с завидным постоянством приводил к Старухе на погляд. Барышни все были тоненькие, беленькие, с круглыми фаянсовыми глазенками. Хоро-о-ошенькие! Михаил различал их как матрешек — по росту. Чуть побольше, чуть поменьше. Старуха крутила носом, шевелила бородавкой, и в следующий раз он приводил к ней следующую барышню. К тому времени он был уже большим мальчиком. Жил один, в узенькой комнатухе в бывшем Мыльниковом переулке, что на Чистых прудах, писал диссертацию, раз в месяц навещался в Подольск, к родителям. Над Старухиным желанием быть в курсе всех его дел посмеивался, но звонил каждый вечер, докладывался, а по выходным, закупив в Столешникове пирожных «картошка», ехал на край Москвы, на Нахимовский проспект, где в трехкомнатном панельном кооперативе, среди плюшевых покрывал с бархатными шишечками и мебели красного дерева, с лимонной невесткой и пюреобразным сыном обитала Старуха. Почему-то ему казались важными все эти ее шевеления бородавкой, кручение длинным носом, вздохи, ахи, усмешки, хмыканье, многозначительное покашливание и финальный удар сучковатой палкой об пол — мол, все ты, Мишенька, дорогой мой, делаешь неправильно. А надо вот как. Мишенька слушал, веселился от души, целовал Старуху в шершавую щеку и уходил в полной уверенности, что его наконец-то поняли как надо. Он был у Старухи любимый внук. Она у него — просто Старуха. Не у всякого такая бывает.

Когда Старухиной внучке Лизаньке исполнилось семнадцать, Михаил вдруг поймал себя на том, что подсчитывает разницу в возрасте. Получалось ничего, очень даже нормальная разница — тринадцать лет. У многих такая разница. А у многих и побольше будет. Старуха заметила. Старуха все замечала. Кивала, жевала губами, косила хитрым глазом. Давала добро. Лизанька — тонкая, смуглая, красивая той грузинской красотой, которую Михаил почему-то привык считать «не своей», с глазами, похожими на кувшины, полные лилового терпкого вина, — тоже косилась, только испуганно. В этом испуге было, конечно, неосознанное женское кокетство, и Михаил отлично это понимал. Вместе с пирожными «картошка» он стал привозить на Нахимовский цветы. Выбирал попроще — ландыши, фиалки, ромашки. Цветы никому не дарил. Шел на кухню, брал вазу, наливал воду, ставил букет, нес в комнату. Вроде всем. Однажды пригласил Лизаньку на концерт заезжей знаменитости. Билеты доставал с боем. Переплатил... Лучше и не вспоминать, сколько переплатил. Лизанька просидела весь концерт, сжав в руках программку, не шевельнувшись. Даже в ладоши ни разу не хлопнула.

— Тебе нравится? Нравится? — допытывался Михаил. — А почему такая скучная?

Он брал ее за руку. Лизанька руку давала, но держала ее деревянным домиком. В антракте никуда не пошла, так и осталась сидеть с программкой в руках. После концерта Михаил поймал такси, довез ее до дому, поднял на одиннадцатый этаж, сдал с рук на руки Старухе.

— Оставайся! — сказала Старуха.

— Как? Как оставайся?

— Дурак ты, ей-богу, Мишка! Поздно уже, двенадцатый час. Куда тебе ехать? Ляжешь в гостиной.

С Лизанькой он еще пару раз сходил на концерты, в театр как-то сводил. В семье начали поговаривать — вот, мол, и пара, вот, мол, и жених. Лизанька нравилась ему ужасно, но он уже знал, что никакая не пара и никакой не жених, а добрый дядюшка и малолетняя

племянница.

А потом Старуха привезла Марину.

О Марине было много чего известно. Известно, что красавица. Известно, что умница. Что учится на филфаке Уральского университета. Потом декорации сменились. Из Свердловска Марина уехала домой, в крошечный заводской городок — то ли Ревду, то ли Салду, Михаил точно не помнил — учительствовать в средней школе. Говорили, что преподает она виртуозно, читает старшеклассникам лекции по Пушкину, завела в школе драмкружок, а домой без толпы восторженных учеников не возвращается. Михаил усмехался, но особо к этим разговорам не прислушивался — не любил, когда ему начинали нахваливать товар. Он и на рынки из-за этого не ходил. Нюх на обман у него был фантастический. Однако тут обманом вроде не пахло. Разговорчики возникали не просто так, а по поводу — с Урала шли в Москву письма. Маринин отец приходился Старухе младшим братом. Осенью 41-го он с молоденькой женой и месячной дочкой поехал на Урал разворачивать оборонное производство. Ехали целый месяц. По дороге похоронили дочку. Производство развернули. Город построили. Да так там и остались. Марина была у них третья, если считать ту, умершую в теплушке на степном перегоне. Письма приходили бодрые, громкие, комсомольские такие письма. Старуха зачитывала их вслух, фыркала, била клюкой об пол, а пальцем по лбу — мол, что взять с этих восторженных идиотов.

— Ну, это мы пропустим. Кружок юных следопытов он завел, теперь ползает с мальчишками по болотам, ищет гнилые портянки 20-го года. Боже мой, Изя — шестьдесят пять лет! Юный следопыт! И Софочка его малахольная, старая перечница. Нет, вы послушайте: «Мне доверили очень важное и очень волнительное дело — возглавить музей заводской славы». Вы поняли, очень волнительное дело ей доверили! Я не удивлюсь, если в этот славный музей она перетащит всю свою мебель. Ага, вот это уже по делу. Он ездил в Нижний Тагил, привез пять кило мяса. Семь часов в один конец. Представляю себе это мясо. А у Софы опять повысился сахар. Велели гречку есть. Гречки там, конечно, и в помине нет. — Старуха крутила носом, и Михаил понимал, что завтра придется бегать по магазинам, закупать гречку, везти на вокзал к фирменному поезду «Урал», совать проводнице десятку, чтобы довезла куль с гречкой в целостности и сохранности.

Старуха складывала листок и вздыхала:

— Да, надо ее спасать.

— Кого?

— Марину, кого же еще. Угробят девку. Что ей там делать, в этой глухомани? Стенгазету выпускать?

Михаил, прекрасно понимая, к чему клонит Старуха, пребывал после этих — разговоров в состоянии некоторого раздражения. Но и возбуждения тоже. Все-таки любопытно было посмотреть на эту прекрасную Марину.

Прекрасная Марина прибыла в конце августа, проездом, на два дня, по дороге на болгарский курорт Слынчев бряг, в цветастой юбке клиньями, в ситцевой блузке с низким вырезом, и сразу заполнила собой все имеющееся в наличии пространство вокруг Старухи.

Уговорено было так: в первый день приезда — чтобы второй, дополнительный день оставить на всякий случай свободным — вся родня собирается на Нахимовском. Собирать родню Старуха любила и умела. Сама ходила на рынок, придирчиво выбирала парное мясо, нежнейшую селедочку, делала еврейское жаркое в кисло-сладком соусе, селедочный форшмак, из оставшейся с весны мацы лепила мацедраи. В тот вечер, пригласив всех

мыслимых и немислимых, полузабытых и даже не вполне знакомых племянников и племянниц, она превзошла самое себя. О предстоящем знакомстве знали все. Михаил-то предпочитал, чтобы никто не знал. Особенно Марина. Но не в Старухином обычае было что-то утаивать. Раздраженный, он шел, медля шаг, находя по пути множество неотложных дел — сигареты купить, на афишу поглазеть, газетку проглядеть, пересмотреть объявления об обмене, приклеенные к фонарному столбу. Пришел, когда все давно уже были в сборе, съели закуску и Старуха, подволакивая ногу, тащила в комнату блюдо с изнывающим в свекольном соке, облепленным радужными луковыми чешуйками мясом. Первое, что он увидел, войдя, была цветастая цыганская юбка, цыганские волосы ниже плеч и цыганский смеющийся глаз, вынырывающий из-за черной пряди, заштрихованный по краю тонкими морщинками. Вот тогда он и подумал: «Немолода!» И сразу: «Хороша!» И еще: «Как же ее много!» Марина хохотала, вертела головой, рассказывала что-то смешное, цыганские ее космы летали над столом, она трясла головой, откидывала их назад, но они снова падали на плечи, снова взлетали над столом. Старуха смотрела на нее с обожанием. Так она даже на Лизаньку не смотрела. Увидев Михаила, Марина вышла из-за стола, протянула большую смуглую руку:

— Марина. Вот мы и познакомились, — обозначив тем самым свое сознательное участие в сватовстве.

«Не ломака», — подумал он и налег на сладкое мясо.

Весь вечер он смотрел на нее со смешанным чувством удовольствия и настороженности. То, что она ему нравится, он понял в первый же момент. Но вот эта ее изобильность... И телесная, и эмоциональная. Михаил сам был не из тихих, умел занять компанию, но с людьми, так легко и естественно ощущающими себя центром вселенной, чувствовал некоторую неловкость и подавленность.

За вечер они не сказали друг другу ни слова, но потом, когда гости разошлись, Старуха перемыла посуду и отбыла на свое плюшевое ложе, остались в кухне одни. Сидели друг перед другом, как на сцене, держали в руках чашки с крепчайшим Старухиным чаем, говорили. Почему-то казалось очень важным этой ночью рассказать все-все-все, до доньшка, до песчинки, до соринки. Марина рассказывала сосредоточенно, будто урок отвечала. О первой любви, институтской, детской еще, протекающей на продавленных койках общежития. О любви взрослой, с мальчиком из профессорской рижской семьи, который был ее младше на пять лет, к которому она три года моталась в Ригу на самолетах, который не приехал к ней ни разу и которого в прошлом году родители увезли в Израиль. От этой любви должен был остаться ребенок, но не остался, и никто, кроме Михаила, об этом так никогда и не узнал. О том, что со времени ее возвращения домой никого у нее толком не было, потому что городок маленький, все друг друга знают и вообще — с кем? В ее рассказах была какая-то упорная, придиричивая, окончательная и бесповоротная честность, не шокирующая, а, наоборот, успокаивающая. Как будто она уже все для себя решила и теперь давала ему право последнего слова. Он тоже что-то рассказывал, но больше слушал. Любви его сводились к беленьким барышням, а брать их в расчет было просто глупо. Женщин в его жизни было много, а женщины так и не случилось. Так они просидели до утра. С Мариной было легко молчать. Но еще легче с ней было разговаривать.

Утром завтракали со Старухой, пили кофе из тончайших фарфоровых наперстков, потом бегали по магазинам, покупали Марине какие-то тряпочки для Болгарии, потом поехали к нему, в Мыльников. От себя он повез ее в аэропорт. Когда через месяц Марина возвращалась из Болгарии, его не было в Москве. А потом, знаете ли, дела, делишки. В общем, за три

месяца он ни разу ей не позвонил. Старуха ни о чем не спрашивала, поджимала губы, шевелила бородавкой и письма теперь читала про себя.

В конце ноября у Михаила неожиданно выдалась свободная неделя. Что-то там с опытами не ладилось, диссертация стояла как заезженный конь, короче, решили сделать передых, поехать всей лабораторией к заву на дачу. Вечером накануне отъезда Михаил побросал в рюкзак вещички, банки с тушенкой — свой вклад в общий стол, — посидел, покурил, оделся, вышел из дому, зашел в соседний магазин, купил три кило гречки и поехал на вокзал. По дороге дал телеграмму: «Буду завтра вечером. Михаил». А когда — не уточнил. Адрес он наизусть знал.

Когда он вошел в комнату, большая усатая женщина, сидевшая за роялем, бросила руки на клавиши и запела густым басом: «Наш паровоз, вперед лети...» Михаил вздрогнул и попятился, но отступление было решительно невозможно. С тыла вел наступление взвод разномастных, перемазанных вареньем мальчишек. Мальчишки галдели. Усатая старуха надрывалась. Михаил в ужасе обернулся и увидел, что в кильватер с медлительностью и настойчивостью грузовой баржи заходит еще одна большая усатая женщина, только помоложе. Входная дверь распахнулась, он услышал на лестнице мужские голоса, знакомый громкий смех и вздохнул с облегчением. Кажется, ему на выручку шла Марина.

За стол сели семнадцать человек. Кое-кого Михаил уже различал. Большая усатая старуха оказалась Марининой матерью, Софой. Женщина-баржа — старшей сестрой Марины Дорой. Еще там были какие-то подружки, трое Дориных детей, их друзья, Дорин муж Слава, громко делающий замечания детям, и большой усатый старик с детским именем Изя, Маринин отец, похожий на свою жену как однойцевый близнец. Такого бестолкового ужина Михаил не помнил. Марина с Дорой бегали на кухню, метали на стол то масло, то хлеб. Дети орали. Изя подробно, теребя Михаила за рукав, рассказывал историю завода, на котором проработал с 41-го года. Про пироги забыли вовсе, и они тихо сгорели в духовке, выпустив в комнату прощальную струю паровозного дыма. Марина вытаскивала их на свет, громко хохотала и вместе с противнями тащила во двор — на помойку. Когда все съели, сообразили, что в холодильнике томится бутылка шампанского. Притащили. Вскрыли. Шампанское выстрелило в потолок и вылилось на скатерть. Михаил посмотрел вверх — потолок был испещерен оспинками от пробок. Отвратительный грузинский чай пили из тончайшего фарфора розовых чашек, похожих на перестоявшиеся лилии. На огромном блюде того же тончайшего фарфора Софа внесла в комнату громадный кусок подсолнечной халвы, отливающий зеленоватым мушиным цветом, — большой, между прочим, по тем временам дефицит.

— А это что еще за уральский самоцвет? — спросил Изя, и Михаилу впервые за весь вечер стало легко и свободно. Вдруг, в одно мгновение, он принял эту семью со всей ее бестолковостью, громогласностью, суетливостью, наивностью и абсолютной бытовой непригодностью. Вдруг, в одно мгновение, они стали ему своими. И он им стал своим. Он это знал.

Халву ковыряли тупыми кухонными ножами. Спать Михаила уложили в соседней, Дориной квартире, а на следующий день повели показывать город. Городок был крошечный — три улицы, два перекрестка, — но очаровательный, весь состоящий из двухэтажных разноцветных домиков, похожих на брусочки жженого сахара. На главной улице домики были побольше — трехэтажные, сталинского образца, с балкончиками и балюстрадами,

словно подростки, изо всех сил тянущиеся за своими взрослыми великолепными столичными собратьями. Изя важно вел Михаила мимо местных достопримечательностей: «Вот школа, где работает Мариша, вот Дом культуры, здесь Слава ведет филателистический кружок, а это наш книжный магазин, очень хороший, ну просто очень хороший магазин, такого выбора, как у нас, даже в Москве не бывает, сплошной дефицит». Каждые две минуты останавливался, снимал шляпу, к нам, мол, гости из столицы приехали. У них весь город ходил в друзьях. На Михаила смотрели заинтересованно, кивали понимающе. Было неловко. Но Марина, шедшая рядом, громко хохотала, кому-то трясла руку, кого-то целовала, кому-то кричала: «Приходите вечером, пельмени будем лепить!» — и все вставало на свои места. Все шло как должно. Ведь он сам этого хотел. Михаил поглядывал искоса на Марину и видел то, что еще три месяца назад понял в Москве: что она все для себя решила и теперь ждет решения от него. В ожидании ее не было ничего собачьего и тягостного, только спокойствие и легкость. Она оставляла ему право на свободное дыхание.

За неделю пребывания в маленьком уральском городке Михаил три раза ходил на лыжах, один раз съездил в Свердловск на премьеру местного драмтеатра, лепил пельмени, пять раз смотрел Славины кляссеры, изучил все его старинные монеты, неоднократно пел «Наш паровоз, вперед лети» и ни разу не остался с Мариной наедине. В день отъезда, когда во дворе уже стояло такси, чтобы вести его в Свердловск на поезд, а сам он накручивал в прихожей шарф, Софа вдруг метнулась в комнату, схватила с полки огромную хрустальную конфетницу, замотала в старый байковый халат и сунула ему в руки.

— Что это? Зачем? — Он совал конфетницу обратно, но Софа только махала руками и выталкивала его за дверь.

Двадцать пять часов в фирменном поезде «Урал» на верхней полке были посвящены тому, чтобы конфетница доехала до Москвы живой и невредимой.

— Ну? — спросила Старуха, когда он явился на Нахимовский с конфетницей под мышкой.

— Да, — ответил он.

— Когда? — спросила Старуха.

— Не все сразу, — ответил он.

— А это что?

Он развернул байковый халат.

— Пусть у вас поживет.

— А, узнаю Софины штучки. Это она тебя родственником определила.

Михаил усмехнулся, и разговор прекратился.

Общались они так: он звонил раз в неделю, она звонила раз в неделю. Дел у них общих не было. Трепаться просто так, о том, что в голову придет, за тысячи километров казалось почему-то неприличным. Трепета душевного от этих звонков Михаил не испытывал. Марина, видимо, тоже. Больше молчали. Пересказывали новости и молчали. Она ему — про школу, про Дориных детей. Он ей — про диссертацию, про неудачные опыты. Звонки эти оставляли ощущение неприятной недоговоренности, но казались Михаилу важными. Правильные были звонки. И вообще все, связанное с Мариной, было правильным. Потому что решение, уже вызревшее в нем, никак не хотело выйти наружу, и эти звонки были для него как крошечные, почти незаметные шажки друг к другу. Он чувствовал в Маринином молчании сдержанное ожидание, но торопить себя не торопил. Отношения, протекающие в разных временных поясах, были обречены на полужамороженное состояние. Михаил ждал

лета. Старуха задавала вопросы. В ответ он молчал. Потом появился маклер.

— Надо тебе, Мишка, комнату менять, — решила Старуха, и дело закрутилось с необыкновенной быстротой.

Теперь, вместо того чтобы ездить по воскресеньям на Нахимовский и заниматься барышнями, он бороздил льды и океаны московских окраин. Все эти Старухины приготовления были шиты белыми нитками, однако квартира действительно являлась насущной необходимостью. При любых раскладах. Когда подходящая квартирка отыскалась — небольшая совсем, но толковая, две отдельные комнаты, кухня восемь метров, пять минут от метро, это вам, конечно, не Мыльников переулок, но тоже ничего, вполне в пределах Кольцевой автодороги, — так вот, когда квартирка отыскалась, выяснилось, что доплата за нее немалая — полторы тысячи рублей, десять его зарплат. Старуха слушала про квартирку, кивала, а на словах «придется отказаться» вдруг нырнула рукой в байковый вырез халата и из плиссированной от старости груди извлекла на свет маленькую синюю коробочку.

— Деда твоего, двоюродного, — сухо сказала она.

В коробочке лежали бриллиантовые запонки, которые Михаил помнил с детства. Дед надевал их на семейные торжества, а перед сном очень подробно, мелкими точными заботливыми движениями выкручивал из манжет и укладывал в бархатную постельку. Михаил, когда оставался у них со Старухой ночевать, всегда канючил — просил, чтобы дали запонки подержать. Дед осторожно вкладывал их ему в ладошку, и Михаил протягивал запонки к настольной лампе, вертел в разные стороны, глядел на разноцветные лучи, которые пускали камни, и ему казалось, что он сейчас обожжется. Он до сих пор с закрытыми глазами мог нарисовать каждый изгиб оправы, каждую грань камней.

Он открыл было рот, но Старуха быстро захлопнула коробочку, сунула ему в руку, повернулась и, стуча клюкой, вышла из комнаты. Доплата состоялась. Денег хватило, чтобы купить еще стенку, тахту и шкафчики на кухню. Старуха приезжала с инспекцией. Заглядывала в шкафчики. Пила чай. Кивала одобритительно.

Весной Михаил опять поехал на Урал. Все повторилось. Впечатление дежавю смазывалось исключительно тем, что для лыж было уже поздновато. И Маринино ожидание стало еще напряженней. И все смотрели на него как на оратора, который никак не начнет свою речь. И в аэропорту, когда она его провожала, то все молчала и молчала и отклоняла голову, когда он хотел ее поцеловать.

Он улетел в Москву с уверенностью, что лето все расставит по местам. Летом будут цветастые юбки клиньями и ситцевые блузки, низко открывающие грудь. Летом можно сказать то, на что зимой не хватает пороку. И жить в новой квартирке с веселенькой клетчатой тахтой, белыми, как палочки ванильной пастилы, пластиковыми кухонными шкафчиками, такой чистенькой, такой нетронутой, такой пригодной для старта, летом будет естественно и приятно.

Две летние недели пролетели, разметав время разудалым павлиньим хвостом. Дни походили на разноцветные стекляшки. Вот желтая — жаркий химкинский пляж, пережаренная небесная глазунья, капли воды на смуглой Марининой коже, как капли раскаленного подсолнечного масла. Вот зеленая — на даче у Старухи, под растрепанным кустом барбариса, в промытых дождем травяных волосах они собирали последнюю землянику. Вот красная — красных много. Это их июльская страсть. Вот лиловая — это ночь на Чистых прудах. Они ходили смотреть на дом в Мыльниковом переулке, где любили друг

друга в первый раз и куда никогда не вернется, а потом сели на бульварную скамейку и просидели до утра. Вот белая — их будущее, о котором они пока не говорили, которое еще неопределенно, но скоро — совсем скоро — меняет свой цвет.

...Он стоял почти у самой калитки, в зарослях жимолости, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Повернувшись к террасе, посмотрел на открытое окно. В окне Марина махала ему рукой. В лунном свете рука отливала серебром, и ему вдруг показалось, что это не рука, а длинное гибкое щупальце с шевелящимися на конце пятью цепкими отростками. Марина выкинула вперед вторую руку, и это тоже было щупальце с остренькими шустрými отростками. Она наклонилась ниже, и он увидел ее лицо, залитое лунным светом. Лицо хохотало, выкликало его имя, звало ко всем, на террасу, но Михаил видел огромную круглую рыбу, которая плещется в тугих волнах черного ночного воздуха. Рыба беззвучно открывала рот, похожий на яму, и готовилась его проглотить. В стеклянном аквариуме террасы плавали другие рыбы — большие и маленькие, беззвучно открывающие рты-ямы.

На следующий день он отвез ее в аэропорт.

Женился он через год, на одной из своих беленьких барышень. О Марине больше ничего не слышал. То есть какие-то сведения, конечно, доходили. Но он так и не понял — вышла она замуж или нет. Ему это было неинтересно. Старуха вскоре умерла, и на Нахимовский он больше не ездил. На оставшиеся от запонок деньги они с беленькой купили новый телевизор «Рубин».

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Ольга ШУМЯЦКАЯ

ТЕТКИНЫ ДЕТКИ

Красивые сказки непременно заканчиваются свадьбой. А ведь самое интересное после свадьбы как раз и начинается! Когда сказочный принц становится мужем, главное место в твоей жизни мгновенно занимает его... многочисленная родня. Как быть? Татьяна выросла без отца, в их небогатом женском царстве верховодили мама и бабушка. Выйдя замуж за Леонида, девушка стала частью шумной московской семьи. У Татьяны появились свекровь и две тетки, любимая сестра Аяля и другие родственники: мудрые и не очень, добрые и не слишком, остроусловы и зануды, миротворцы и скандалисты. Кое-кто принял Татьяну в штыки, и теперь все зависит от нее — устоит ли она в ежедневной борьбе за маленькое женское счастье?..

ISBN 5-9524-0958-X



9 785952 409583

ЦЕНТРОЛИГРАФ

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ

Ольга ШУМЯЦКАЯ

ТЕТКИНЫ ДЕТКИ

Красивые сказки непременно заканчиваются свадьбой. А ведь самое интересное после свадьбы как раз и начинается! Когда сказочный принц становится мужем, главное место в

твоей жизни мгновенно занимает его... многочисленная родня. Как быть? Татьяна выросла без отца, в их небогатом женском царстве верховодили мама и бабушка. Выйдя замуж за Леонида, девушка стала частью шумной московской семьи. У Татьяны появились свекровь и две тетки, любимая сестра Ляля и другие родственники: мудрые и не очень, добрые и не слишком, острословы и зануды, миротворцы и скандалисты. Кое-кто принял Татьяну в штыки, и теперь все зависит от нее — устоит ли она в ежедневной борьбе за маленькое женское счастье?..

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

notes

Цвет само — нежно-розовый; буквально — цвет семги (*устар.*). По техническим причинам разрядка заменена болдом (*Прим. верстальщика*)